



МАКОВЫЙ ХОЛМ

МАКОВЫЙ ХОЛМ



54

МАКОВЫЙ ХОЛМ

МАКОВЫЙ

ХОЛМ

(о жизни в кибуцах)



ХАКИБУЦ ХАМЕУХАД
БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1978

גבעת הפרגים

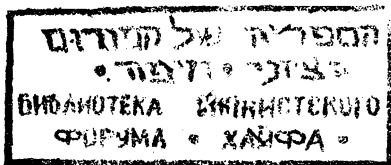
THE HILL OF POPPIES

עיריית חיפה
מערכת תרבות חסנאי
מרכז תרבות לענלים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

435

Составитель сборника и автор предисловия
Н. Шахам

Редактор
А. Гинзай (Газов-Гинзберг)



1581

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

להוצאת הקיבוץ המאוחד

וספריית עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

בסיוע האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן-זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, январь 2020 г., Хайфа

Любой сборник художественных произведений, составленный по тематическому принципу, таит в себе некоторую опасность — не будет ли принесен в жертву этому принципу эстетический критерий отбора. У автора данного слова есть основания надеяться, что ему удалось избежать этой опасности ввиду широких возможностей для отбора. Представленные здесь произведения большой группы израильских литераторов не только дают возможность читателю разобраться в уникальной теме — жизни кибуца, но и помогут ему составить представление о творческих поисках и достижениях современной прозы в Стране. Особо следует отметить трудности, с которыми сталкиваются писатели, обращающиеся к теме кибуца.

В западной прессе, в большинстве стран Европы и Америки слово "кибуц" публикуется без перевода и подстрочных примечаний — предполагается, что понятие это достаточно известное. Так оно и есть, и это свидетельствует о популярности во всем мире нового образа жизни — кибуцнианского, хотя в Израиле им охвачено немногим более трех процентов населения.

Что же отличает кибуц от всех форм человеческого общежития?

Прежде всего — абсолютные добровольность и демократизм. Отсюда уже ясно, что сопоставление кибуца с советским колхозом было бы совершенно неправомерным. Демократическое начало в кибуце настолько всеобъемлюще, что иногда представляется граничащим с анархией, вызывает недоумение — как вообще может функционировать эта хозяйственная единица при таких порядках. Например, общее собрание кибуца, поддавшись определенным эмоциям, может игнорировать экономические соображения, и основанные на точных расчетах решения руководства кибуца могут быть надолго парализованы.

"Власть" руководителей не превышает двух лет, — по ис-

течении этого срока члены секретариата обращаются в рядовых членов кибуца.

Основное средство воздействия на членов кибуца — убеждение: здесь нет места ни наградам и поощрениям, ни выговорам и наказаниям. "Навязать свою волю" кибуц может членам содружества лишь выражая симпатию тем, кто живет и работает в соответствии с принятыми им моральными нормами, и молчаливым осуждением тех, кто ими пренебрегает. И именно эти морально-нравственные категории, лишённые видимого материального значения, обладают огромной силой, более действенной, чем премии, знаки отличия и всякого рода награды — с одной стороны и строгий дисциплинарный надзор и разного рода наказания — с другой.

В настоящее время никто не подвергает сомнению высокий производственный потенциал кибуца, при том, что те его члены, которые работают прилежнее других, не извлекают из этого личной выгоды. В период же установления кибуцов экономисты твердили: идея возвышенная и неэффективная — без такого стимула, как прибыль, производство будет находиться на самом низком уровне.

Хотя кибуц все еще трактуется как "экспериментальная лаборатория" израильского общества, но надо думать, — испытательный период завершился. Есть кибуцы, в которых живут четыре поколения. Четыре поколения евреев на одном земельном наделе — это бесспорно качественный сдвиг в жизни народа — вечного странника. И кибуц в настоящее время гораздо больше озабочен конкретными проблемами, возникающими в ходе его развития, чем решением вопроса о соответствии его модели неким априорным теориям.

Роль кибуца в строительстве израильского общества, попытка в основу человеческих отношений поставить сознание — как фактор, определяющий весь образ жизни людей, возможность проследить развитие человеческих отношений в равноценном трудовом коллективе — все это, казалось бы, — золотая жила для художественного воплощения темы — кибуц. И действительно, на первых порах существования кибуцов почти каждый еврейский писатель пробовал свои силы в изображении кибуцианского быта. Но затем все больше писателей стало избегать этой тематики.

Оказалось, что как раз в том, в чем для читателя заключался основной интерес и смысл этого явления — кибуца, — в его попытке признать приоритет сознательности, в организации жизни на основе высоких идейных принципов, —

именно в этой сфере возникали художественно-эстетические трудности. Сознательно либо подсознательно писатель ощущает на себе критический взгляд читателя, который прежде всего ждет от него прямого ответа на вопрос, — одобряет ли он, художник, кибуц как образ жизни. Эстетические проблемы отходят на второй план. Те читатели, которые симпатизируют кибуцу, требовали, чтобы герой рассказа являлся живым воплощением устава кибуца. С течением времени эти требования стали меняться — по мере того, как раскрывалось, что в течение одного поколения кибуцник не стал "новым человеком".

Отношение противников кибуца к литературному герою тоже было довольно сложным. Оно колебалось между открытым скептицизмом по отношению к тем, кто дерзает "изменить человеческую природу", и признанием того факта, что кибуц — это своего рода рассадник "служилого дворянства" и не больше; решить проблемы, связанные с широкими массами, он не в состоянии. Поэтому в нем нет ничего поучительного для других, и, следовательно, то, что происходит в кибуце, не представляет особенного интереса. Противники кибуца видели в рассказах и романах на кибуцянскую тему адвокатские панегирики и испытывали разочарование, если не находили в художественных произведениях милых их сердцу резко критических ноток. В критике же, исходившей от участников рабочего движения, можно было найти все приметы пресловутого метода "социалистического реализма", хотя его предпочитали не называть по имени. Во всяком случае, если писатели, отклонявшиеся от "генеральной линии", и не предавались анафеме, и практически каждый волен был писать так, как хотел, всегда существовало требование, лежащее в основе социализма (если не в виде спущенной свыше директивы, то в форме пожелания): "Следите за историческим процессом и не обращайтесь внимания на неприятные детали, игнорируйте печальные случаи, ошибки, "детские болезни" роста, бытовые неурядицы. Верно, в жизни все это существует. Мы не просим вас рисовать одной розовой краской. Но все это сущие мелочи, они теряют значение перед великим историческим смыслом нашей жизни".

И сами кибуцники — преданные и чуткие читатели-энтузиасты — проявляли повышенную чувствительность к близкой им теме. Читая новеллу, имеющую к ним какое-либо отношение, они не спрашивали себя: "А есть ли здесь что-

либо поучительное, касающееся человеческой природы, меня лично?" Они задавали совсем другие вопросы: "А таковы ли мы на самом деле? Таково ли большинство кибуцев? Соответствует ли это исторической правде? Не изображает ли писатель второстепенный и нетипичный случай, вместо того, чтобы повествовать о главном и самом характерном?"

Выше я уже отметил, что у "власть предержащих" — кибуца, кибуцианского движения, партий — практически не было никакой возможности навязать писателю свою точку зрения. Большинство книг о кибуце, имеющих явно критическую направленность, опубликовано издательством "Ха-кибуц Хамеухад", принадлежащим к кибуцианскому движению. Но если бы, паче чаяния, это издательство отказалось публиковать книги, которые не отвечают взглядам руководителей движения, легко бы нашлись другие издательские возможности. Однако всюду, где действуют идеологические факторы и существует идеологическая критика, есть опасность возникновения идеологической автоцензуры, а она опаснее любой критики извне. Тогда перед писателем встают вопросы: разве его личные чувства и переживания важнее нашей общей стройки? Не является ли литература, в самом деле, лишь инструментом, который вручен ему, чтобы он содействовал строительству? Не мешает ли он, не тормозит ли, не причиняет ли вреда общему делу, не подвергает ли его чрезмерной критике? Не становится ли невольным соучастником опасного процесса подрыва устоев общества, пламенно и свято верящего в свои моральные ценности, но еще не созревшего для того, чтобы увидеть себя в зеркале истины, без прикрас? Появляются и другие опасные вопросы. Писатель, который задает их себе, забывает, о чем он думал, когда положил перед собою чистый лист бумаги: я должен писать только правду, это мой единственный долг перед читателем.

У ряда израильских литераторов сложились личные, глубоко субъективные отношения с кибуцами. В свое время многие писатели были членами кибуцев, но оставили их в период, когда там было очень трудно решить проблему гармоничного сочетания физического и умственного труда. В долгие годы весьма трудного положения в кибуцах самым необходимым был в них, естественно, физический труд, и попытки отдаться литературному, художественному или научному творчеству сопровождались угрызениями совести: а не являюсь ли я паразитом, живущим за счет трудово-

го народа? Писатели, распрощавшиеся с кибуцом, опасались, как бы их не заподозрили, что в самом факте критического освещения кибуцнианской действительности есть нечто личное, вроде стремления оправдаться. И предпочитали молчать. Есть и такие писатели, которые всегда жили в кибуце, живут в нем и поныне, но опасаются, что читатель не поверит в их способность смотреть на кибуц объективно, глазами художника, полагая, что уже сама принадлежность к кибуцу обязывает их выступать в роли его апологетов — и они пишут на другие темы.

И все же, несмотря на все эти специфические обстоятельства, на протяжении многих лет было написано немало хороших книг о кибуце. Можно смело утверждать, что многие литераторы с честью устояли перед скрытым и явным давлением и оказались верны своему писательскому призванию, так, как они его понимали. В последние годы и наша "внутренняя" критика стала более либеральной и терпимой. Сильный, материально окрепший, процветающий кибуц может не беспокоиться о том, правильно ли он изображен в литературе.

Собран немалый литературный урожай, но мне кажется, что наибольшие успехи достигнуты на ниве короткой новеллы. Были написаны и большие полотна — значительные романы о кибуце, но, по-моему, форма рассказа более оперативно отражает быстротекущую жизнь. Поэтому большая часть этого сборника состоит из законченных небольших новелл и лишь меньшая — из фрагментов романов и повестей. Время действия произведений, включенных в сборник, — от тридцатых годов ("Эфраим возвращается на люцерну" С. Изхара) до наших дней (рассказы Ализы Амир, Цви Луза и др.). Антология в целом несомненно отражает те перемены, которые произошли за эти десятилетия и в самих кибуцах, и в отношении к ним окружающих. Но все это имеет лишь второстепенное значение. Художественно созданный рассказ — это прежде всего человеческие чувства, которые волнуют всех. И хотя каждый рассказ "привязан" к месту и времени, время бессильно состарить его.

Натан Шахам

АЛИЗА АМИР

АЛИЗА АМИР родилась в 1932 году в Чехословакии. В 1933 году ее семья переехала в Иерусалим; здесь она закончила среднюю школу. Является одним из организаторов кибуца Барам (на границе с Ливаном), в котором живет и работает с 1951 года. Публикуется в периодической печати. Автор книги "Зеленый, как мрамор" (1967).

КОНЕЦ... КОНЕЦ...

"Конец, конец, конец, конец...". И так без конца. Весь листок уже исписан "концами" всевозможных видов и форм. Так всегда делает Зезвик, пытаюсь сосредоточиться. Он весь внимание, а рука механически выводит на бумаге: "конец, конец, конец"... Зезвик уже не помнит, когда начал мазюкать, он давно перестал отдавать себе в этом отчет. Зезвик слушает, а рука его что-то выводит, вот и все. Буквы кривятся, вздрагивают, неровные и разные. Уже рука онемела, веки воспалились, а он все слушает, слушает и выводит "концы".

— Вот что, товарищи, я не люблю громких слов и хочу, чтоб вы знали с самого начала. Не стану я общаться... И никуда не пойду.

Это говорит Купер. Он продолжает:

— Конечно, это страшно, но ведь не я это сделал. Это само случилось со мной... Я не утверждаю, что такое могло случиться с каждым. Факт, что это слу-

чается лишь с некоторыми. Но я не должен вам представляться. Вы прекрасно знаете, сколько лет я мотаюсь по дорогам и как вожу машину, с каким чувством ответственности. Знаете не хуже меня. Но вот случилась беда, и именно со мной. Можете не объяснять мне, что это страшно. Я его увидел у самых своих фар, и если проживу на свете еще сто лет, то и тогда не забуду этой минуты. С меня хватит. Больше мне не полагается, и я ничего предпринимать не собираюсь. А если вы хотите это сделать, пожалуйста, телефон перед вами.

Тишина была жуткой и настороженной. Несколько минут назад эти люди стояли или сидели, читали газеты, листали журналы, спорили о соседской собаке и пересказывали смешные словечки своих детей. Теперь это позади, исчезло, испарилось. Теперь эти люди в совокупности образуют новое качество, лишённое индивидуальных черт и именуемое секретариатом. Несколько минут назад это была просто группа товарищей, а теперь это уже заседание. Такая четкая и зримая, почти демонстративная перемена всегда происходит на заседаниях секретариата, и Зеэвику все это хорошо знакомо. Сейчас никто не скажет: "Послушай, Купер, ты должен сам понять, что так не пойдет". Так они не скажут, а начнут изрекать, примерно следующее: "Я уверен, что Купер не прав в своем подходе..." Они будут говорить о нем в третьем лице, будто он здесь и не присутствует...

Но ведь он присутствует! Стоит поднять голову, и ты увидишь его — широко расселся, курит папиросу за папиросой и следит глазами за клубами дыма. А глаза эти затенены длинными ресницами, неожиданными на таком мужественном лице.

Своих глаз Зеэвик, однако, не поднимает, чтобы никто в них не заглянул. У него лично нет сомнений в том, что и он, Зеэвик, здесь присутствует. Сухость во рту, путаница в мыслях и учащенный

пульс — все это прямые результаты его присутствия здесь.

Судя по покашливанию, сейчас возьмет слово Дов, но в данном случае от его выступления нельзя ждать чего-нибудь путного. Только Дов открыл рот, как Зеэвик увидел, что Купер посылает тому уголком глаза блестящую шпильку, как бы желая проколоть надутый сверх меры шар... Нет, Дов не тот человек, который может служить для Купера моральным авторитетом.

— Я полагаю, что Купер, несмотря на свои большие заслуги, всем нам хорошо известные, в данном случае обнаруживает трусость, и больше ничего. Неужели он думает, что мы ради него пойдем на то, чтобы вконец запутаться в юридических параграфах? Он ничем не отличается от других шоферов и не пользуется особыми привилегиями, а быть членом кибуца — вовсе не значит гарантировать себе безопасное убежище, когда свершилось преступление.

Ашер поспешил успокоить готовые разбушеваться страсти.

— Дов, проблема сама по себе достаточно трудная и сложная, и незачем ее еще более усложнять.

— Я не знал, что вы такие вегетарианцы. Об этом говорят у нас везде и всюду, а тут, оказывается, надо действовать в шелковых перчатках.

Какая наивность! Дов пытается испробовать на Купере свой решающий, неотразимый, апробированный аргумент: все говорят. Но того этот аргумент даже не царапнул, он скользнул по Куперу, как капля масла по бронзовой статуе.

— Я повторяю, — скандирует Дов, — то, что Купер требует от нас, — невозможно и не соответствует нормам кибуца. Товарищ не может требовать от целого коллектива, чтобы тот действовал помимо закона и в явном противоречии с ним.

— Я ничего не прошу у кибуца, и ты это хорошо знаешь, Дов. Что ты так жмешь на принципы? Я ничего не прошу, это вы от меня требуете, чтобы успо-

коить свою деликатную совесть, а я отказываюсь.

— Купер, — вмешался Ашер, — я предлагаю тебе снизить тон. Ты хорошо знаешь, о чем идет спор. Отлично понимаешь, перед каким выбором мы стоим. Ты знаешь, как нам тяжело сделать этот выбор, и лучше бы ты относился к нашим тревогам и сомнениям с большим уважением.

Снова воцаряется тишина, слышно, как мухи бьются о сетку окна и как звякают спицы в руках у Сарины. Глаза ее опущены, губы сжаты, а годами натренированные руки делают сейчас свое дело с трудом, их движения неточны и напряжены. Не так уж ей приятно за всем этим наблюдать, и руки, которые вяжут, рассказывают о том, что скрывает гладкое, розовое лицо. Озлобленная женщина, всегда застегнутая на все пуговицы, привыкшая скрывать разочарование и неудовлетворенность, сейчас невольно выдает свои чувства неловкими движениями пальцев.

Руки у нее красивые, пальцы — длинные, тонкие, суставы крепкие и нежные. Но сейчас, словно сведенные судорогой, они выглядят безобразно и отталкивающе. И лицо ее — гладкое, ясное и круглое — замкнуто, только опущенные глаза кое-что открывают тому, кому удастся в них заглянуть. Чаще всего они прикрыты веками с короткими ресницами или подернуты тонкой непроницаемой пленкой.

Трудно понять, откуда у нее эта затаенная горечь. Если сделать "инвентарную опись" ее жизни, мы обнаружим там полный комплект — семья, дети, работа, которую она сама для себя избрала, почетное положение среди женщин кибуца. Ведь это немало, чего же еще ей нужно? Трудно сказать. Может быть причиной всему муж, на которого она в свое время возлагала большие надежды? Сейчас он с трудом ковыляет где-то на периферии кибуцной жизни. Разумеется, в глазах своей жены он равный среди равных, но в действительности чуть поменьше, рангом пониже, как говорят.

Это выражение почему-то всегда раздражает Зезвика. Почему он всегда выходит из себя, когда к этой формуле прибегают "спецы", пытающиеся проанализировать причины явного снижения славы нашего кибуца. Может быть, именно потому, что в этих словах есть большая доля правды, которую не улавливают сами "спецы", так любящие разглагольствовать. А правда заключается в том, что, несмотря на полное равенство во всем, люди из плоти и крови (а не марионетки из плоского картона и жестких сочленений) не могут быть равными. Они могут в равной мере потреблять хлеб, одежду и обувь, им можно выделить одинаковое количество квадратных метров жилья и равное количество отпускных дней. Но нельзя наделить всех одинаковой мерой любви, счастья, воображения или боли. Как же они могут быть равными? Какова цена чулок или кресла по сравнению с Ольгой, в черных волосах которой засверкала седина, а глаза погасли? На наших глазах она сохнет, превращаясь в невзрачную старую деву. Разве можно взять немного у Купера и передать это Ольге? Или, быть может, взять у Сарины, у которой есть как будто все (но не хватает чего-то очень существенного, и потому лицо ее замкнуто и в уголках рта притаилась горечь)?..

Нет, ничего у Сарины для Ольги не возьмешь. А Сарина тем временем все вяжет с полузакрытыми глазами, и на данном этапе нет шансов узнать ее мнение по обсуждаемому вопросу. Она еще собирает обрывки чужих фраз и мыслей, чтобы переварить их, так сказать, с помощью собственной слюны. В конце концов у нее получится кашлица — гладкая, скользкая, не горячая и не холодная, тепловатая и невкусная... Можно надеяться, что она найдет спасительное компромиссное решение. Остается лишь терпеливо ждать, пока кашлица будет готова...

Зезвик опасается, что сегодня у него не хватит сил принять участие в ритуале по всем правилам

игры, хоть он и знает их наизусть. Пожалуй, он может безошибочно сказать, что, когда и как произнесет каждый из присутствующих. Вот сейчас настала очередь Мордехая.

— Мы стоим перед проблемой, которая касается самой сути нашей жизни. Является ли кибуц обычным обществом или компанией, как все прочие общества и компании? Разве мы собрались здесь только для того, чтобы каждый построил свой собственный дом? Нет! Мы пришли сюда, чтобы создать справедливое общество, базирующееся на самых прогрессивных идеях, какие начертали люди на своих знаменах. Только поэтому возник и действует наш кибуц, и в ту минуту, когда мы перестанем быть верны этим ценностям, мы не сможем удержаться на своих позициях. И все, что мы создали, рассыплется в прах.

Оратор на минутку замолчал, словно подыскивая нить, которая связала бы столь высокопарное вступление с обсуждаемым вопросом. После некоторых усилий он эту нить нашел.

— Я повторяю: мы стоим сегодня перед тяжелым испытанием. Не отдельный принцип подвергается проверке, а высшая ценность — ценность человека из кибуца. Нас просят взять под защиту одного из наших товарищей, стать для него надежным тылом и прикрытием, хотя мы и осуждаем его поведение. Водитель-убийца, который удирает с места происшествия, подлежит наказанию общества, — и совершенно справедливо, — по всей строгости закона. Хотелось бы знать, распространяется ли этот закон и на членов кибуца? Отвечаю: распространяется, да еще с большей строгостью, чем на всех прочих членов общества. Кибуцник не вправе бежать с места катастрофы. А если бежал — не вправе быть членом кибуца.

Воцарилась мертвая тишина. Кажется, видишь, как поникли спины. Каждый сосредоточился в поисках своей правды. Когда выступает этот Морде-

хай, не знаешь, что чувствовать — то ли гордость, что принадлежишь к элите, к столь возвышенному и чистому "мы", то ли вину и стыд, что он и тебя включает в это "мы", в то время, как ты лишь простой смертный, не такой уж возвышенный и не столь безупречно чистый.

Голос Купера показался чужим, будто говорил кто-то другой. Он был ниже и сдержанней, чем обычно, и было ясно, что так, по его мнению, должен говорить человек, сильно травмированный.

— Слушай, Мордехай, я тебя уважаю и знаю, что ты живешь так, как говоришь. Ты живешь с принципами, но не живешь с живыми людьми. Прости, я не хотел тебя задеть (но уже задел, да еще как! Он коснулся самой чувствительной струнки этого всеми почитаемого идеолога кибуца, у которого нет в жизни большей мечты, чем хоть в чем-то походить на Купера, который всегда окружен живыми людьми). Но живые люди не всегда в точности соответствуют принципам. Я бы мог сейчас обидеться и сказать: хорошо, не хотите меня, я стал для вас "проблемой" — так я уйду и кончим с этим. Но я этого не скажу, потому что не хочу играть словами, и моя жизнь — не кубик в игре чести. Я строил этот кибуц не в меньшей мере, чем вы, и он настолько же мой, как любого из наших говорунов. Были и другие, создававшие проблемы. Ну и что? Мы их так или иначе решали — и продолжали жить. Я не просил вас вмешиваться, защищать меня или прятать. Вы вообще могли бы об этом не узнать (это верно, черт побери, но слишком поздно. Теперь-то мы знаем и не можем притвориться неведающими). Вы и на этот раз найдете путь, как все уладить. Я не намерен уступать. Это мой дом.

Последние слова немедленно вызвали бурную реакцию. Это — привычная и любимая тема, хорошо распаханная и ясная каждому, кому дорого учение о кибуце. И все приняли участие в разъяснении той истины, что кибуц — это не только дом. Кибуц —

это дом плюс принципы. Ашер же ловко ввернул в самооправдание:

— Мы все действительно товарищи Купера. Но в нашем образе жизни есть нечто такое, что побуждает нас вести себя не только как его друзья.

Кто-то призвал на помощь законы физики. Мы, мол, как любая материя во вселенной, теплота молекул которой резко отличается от теплоты вещества в целом. В физике это закон природы, а в нашей жизни — закон, который мы сами возложили на себя.

— Верно, — подтвердила мадам Сарина. — С этим явлением я не раз встречалась во время бесед в кибуце, когда принятые нами решения казались многим неожиданными и находились в полном противоречии с тем, что нам доводилось слышать из уст отдельных товарищей. Так бывает. Когда мы собираемся на собеседования и от нас требуют решения, возникает какая-то сила, которая побуждает нас действовать в соответствии с принципами, названия которых мы давно позабыли...

— Да. И это, видимо, то единственное, что отличает нас от другого общества, — заключил кто-то.

... Купер точно знает, куда метит, — думает Зезвик. И что ты с ним сделаешь? Что, по сути, можно с ним сделать? Та сила, которую кибуц приводит в действие, чтобы повлиять на своих членов, в данном случае дает осечку. Общественное порицание, выговор и все прочее, что давит и подминает многих, на таких людей, как Купер, не оказывает влияния. Он не подвластен общественному мнению, он даже не знает о его существовании. Никогда никто не видел его виноватым, не слышал, чтобы он извинялся, каялся, пытался объяснить свое поведение. Это одна из его притягательных черт, может быть, даже самая пленительная и редкостная. И его умение очаровывать поможет ему и на сей раз. Мы только разинем рты, полные горечи и ощущения жгучей обиды из-за нашего вопиющего бессилия.

Это бессилие вызывает у Зезвика бешеный гнев, который, однако, не выходит наружу и превращает все его бытие в ад. Но ничего не поделаешь. Ничего, абсолютно ничего. Что ты сделаешь с Купером? Что ты, черт побери, можешь с ним сделать? Даже после всего, что ты знаешь о нем, после того, как ты мысленно твердишь: подлец, подлец, бессовестный жалкий трус, бессердечный, наглый лжец...

Смотришь на него, и видишь все того же Купера. Ни одна морщинка не изменилась на его лице, которое вчера казалось таким сияющим, таким искренним в своей всепобеждающей жизнеспособности. И ты знаешь, что ничего не можешь ему сделать. Он пока остается для тебя тем, кем был. Ты не в состоянии освободиться от его чар, даже после всего, что узнал. И другие не могут. Так что нет смысла в дебатах. К чему эта говорильня? Поговорим, пожуюм, будем биться над формулировками, пофилософствуем о разных абстракциях — и все впустую.

Что мы ему сделаем? Он скажет то, что уже сказал — разве не все слышали? А сказал он ясно: не пойду! И он в самом деле не пойдет выполнять наше решение и сознаваться в своей вине. И не уйдет отсюда, не уйдет и все. Что поделаешь? Образ нашей жизни — для людей совсем другого склада. Тонкие определения и деликатные нравственные категории ничего не говорят его уму и сердцу.

Купер твердит — "я строил этот дом", имея в виду скалы, которые он дробил, и камни, которые убирал, чтобы обнажить целинную землю. Он имеет в виду те ведра, которые таскал дотемна, когда заливали фундамент, ставили стены, крыли крыши. Он имеет в виду свою огромную машину, которой искусно маневрировал, доставляя сюда тракторы и плуги. Он имеет в виду силу и мудрость своих рук и то рабочее мастерство, которым наделен и которое щедро расходовал на все, что здесь делалось. Он действительно строил. Этот дом действительно его. Так что же можно с ним сделать? Ничего не по-

делаешь. Пойдешь на компромисс, один из глупых и пошлых компромиссов, лишаящих вкуса ту соль земли, которой ты себя лишил, о которой так мечтал. Правда, нет жизни без компромиссов, и только смерть абсолютна и цельна. Но эти бесконечные компромиссы, ставшие жизненной необходимостью, делают саму жизнь настоящей, малозначащей, невзрачной и бедной.

— Удивляюсь вам, товарищи... — Это говорит Нафтали. — Вы здесь рассуждаете так, будто рассказываете новичкам азбуку кибуцной жизни. Разве мы не знаем принципы, лежащие в основе нашей жизни? Какой наш вопрос на повестке дня? Сегодня мы говорим о товарище, о нашем дорогом товарище. Купер — один из самых любимых и самых симпатичных наших ребят. Неужели так легко и просто им пожертвовать? А его семья? И не только Купером собираемся мы пожертвовать, но и Нирит, и прежде всего Дафной, в ее нынешнем положении. Как вы можете быть столь жестоки? Чего стоит весь кибуц и все заложенные в нем великие идеи, если в такую минуту он не станет на защиту своего члена? Какое будет доверие у товарища к его кибуцному дому, если он будет знать, что в любой момент его могут вышвырнуть, выбросить, как разбитый горшок? И именно в ту минуту, когда человек больше всего нуждается в понимании.

”От этого человека заболеть можно, — думает Зезвик. — И как это мать догадалась дать ему такое имя?* Да, ты изрядный путаник, друг Нафтали. Занятный ты человек, полный неожиданностей. Никогда не угадаешь, что он скажет”. Обычно нет связи между тем, что он говорил однажды, и тем, что излагает спустя некоторое время. Нельзя найти никакой закономерности в его мыслях, кроме одной: постыдной неискренности. ”Как только слышу этот нудный голос, чувствую, что краснею от стыда за него.

* В корне имени ”Нафтали” лежат понятия ”путаный”, ”извилистый”. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

Взглянуть бы на Купера, интересно, как он реагирует на это сочувствие”.

Нафтали не числился среди близких друзей Купера, никогда не был для него авторитетом; Купер разрешал себе даже потешаться на его счет, рассказывая анекдоты и байки, которые того сильно задевали. Отличительный признак Нафтали — полное отсутствие чувства юмора. Но сейчас Купер заинтересован в любой поддержке, он, кажется, принял бы защиту самого Асмодея*. Поэтому он так странно улыбается.

Тут Зезвик заметил, что на шее у Дова набухла артерия, как у петуха, который собирается кукарекать, и понял, что тот решил вмешаться и расстроить идиллию.

— Нафтуля, — мы здесь не яичницу жарим, и нет нужды так обильно мазать сковороду жиром. ”Нирит...” ”Дафна в положении...” ”Наш дорогой товарищ...” и все прочее. Я ведь слышал тебя за обеденным столом накануне вечером, когда Ами сообщил нам эту добрую весть... Хочешь, я напомню, о чем ты говорил?

Сильно подавшись вперед, с жилами на шее, натянутыми, как канаты, Дов выжидает. Может быть, Нафтали съежится, стушует, растеряется?.. Куда там! Тот сидит спокойно, как ни в чем не бывало. Лишь в глазах появляется их естественное холодное выражение, обычно хорошо маскируемое. Зезвик заметил, как глаза Ашера блеснули под густыми бровями в сторону Дова; по взгляду было видно: он понимает все, что здесь происходит. Однако не собирается вмешиваться. Да и нельзя уже приостановить дальнейший ход событий.

— Ты, Нафтуля, не хочешь, но я скажу, — продолжал Дов голосом, переходящим в визг. — ”В конце концов стукнут и его”, — сказал ты. Так или не так?

Дов разъярен, он как бы вращает невидимую руч-

* В талмудических легендах — царь бесов.

ку, все усиливая приток крови к голове.

— Хватит шуметь, — как ни в чем не бывало сказал Нафтали. — Чего ты кипятишься? Не меня обсуждают. Хочешь — привлеки меня к ответу за лицемерие. А сейчас от тебя требуется только одно — выразить свое отношение к мнению, которое я высказал. Но и это можешь не делать.

”С ним не о чем говорить, но его наглость просто восхитительна”, — с неприязнью подумал Зезвик. Но тут вмешался Ашер, сдерживая Дова, который едва не рычал. И снова всех поразил Купер, сказав тихо, без свойственных ему шутливых интонаций.

— Я не собирался возбуждать вашей жалости к себе, но то, что сказал Нафтуля, — сушая правда. Может быть, случись такое дело несколько лет назад, я встал бы и пошел в полицию без долгих размышлений. В самом деле (в его глазах зажглась искорка), и кутузка — это тоже переживание и жизненный опыт, но (он еще понизил голос) и тогда, когда это произошло, и все время с тех пор, — а для меня это была целая вечность! — я знал, что Дафна не из тех, кто сможет выстоять, тем более сейчас. И есть у меня Нирит, я ее отец, и никакие авантюры или кутузки сейчас не в счет. Поймите: того, что случилось, я уже не в силах изменить. Не вижу причин, почему я должен сейчас сообщать в полицию и нести наказание сполна. Кому это сейчас поможет? Я свое наказание могу отбыть иными путями.

Он тихо выдохнул струю дыма и продолжал:

— Я понимаю, что ставлю вас в неловкое положение. Но, как я уже объяснил, мое положение сейчас такое, что я не могу поступить иначе. И не намерен.

В его голосе зазвучал металл, и он поднял глаза, до тех пор прикованные к какой-то невидимой точке на столе. Казалось, он исчерпал всю силу своего долготерпения, и заключительная бунтарская нота прорвалась помимо воли.

Зезвик чувствовал, как у него сами собой сжи-

маются челюсти, словно удерживая слова, готовые произвольно вылететь изо рта. Он заставил себя промолчать, и только из руки, выводившей каракули, выпало перо, звякнув о каменный пол. "Вот это формулировка, — подумал он. — Будто и не было в его жизни никаких авантур, а есть только моральные и нравственные категории — "целая вечность", "Дафна"... "Отец Нирит"... Речь главы семьи, несущего моральную ответственность за ее счастье и благополучие. И даже то, что он, Зеэвик, находится рядом, сидит напротив Купера, ничуть на него не действует и не мешает представлению. Есть актеры, которые теряют самообладание и не могут играть в присутствии определенных лиц. Куперу же все нипочем.

Но кого-то из публики он не убедил, ибо с места вскочил Дов и, kloкоча от гнева, бросил:

— Не верю, Купер, ни одному твоему слову!

У Дова побагровело лицо. В такие минуты он просто опасен. Дов продолжал:

— Я тебя знаю не с сегодняшнего дня, и уж мною ты не сможешь вертеть, как другими. Ты на всех начхал. Начхал на нас и на наши сомнения, которые тебя лишь смешат. Ты начхал и на Дафну... и на...

— Дов, ты преувеличиваешь, — Сарина плеснула кружку холодной воды на пылающие уголья его гнева, и они зашипели, угасая. Всем известно, какое сдерживающее влияние имеет Сарина на буйную натуру Дова.

— Ладно... Но я просто ему не верю. И у меня, и у вас есть для этого причины. Не надо тянуть меня за язык. Я повторяю и настаиваю, что Купер вел себя как человек, лишенный совести и чувства ответственности. Он должен за это отвечать, а не заставлять нас прятать его и служить ему убежищем.

Дов отказывается простить его. И не только за это дело, что на повестке дня. Он не может простить ему тех далеких дней в маленькой, окруженной песками колонии, где так баловали и любили Гиди,

он же Гидеон, он же Купер в своей последней метаморфозе. Гиди был сыном поварихи Фани и столяра Полека. Милый, веснушчатый, белобрысый Гиди, цвет волос которого напоминал мамины косы, а матовые глаза удивительно походили на отцовские (тот был вылитым цыганом). Гиди из пестро окрашенного барака, всегда полного голосами молодых, энергичных людей, наслаждавшихся проделками своего любимца. Дов же был сыном бухгалтера Давидовича, к которому все относились, в общем, безразлично. И Дов не может простить Гиди его золотых рук, которые впоследствии так прославились, мудрых и проворных рук, пригодных для любого дела. Не может простить огромной кабины, в которой тот сидел, и того, как он — прямой, широкоплечий — легко управлял могучим телом своей оглушительно-грохочущей машины. Он был полон богатырских жизненных сил и расточал их легко, изящно, как бы играючи. И на дорогах он был такой — огромный, сильный, непостижимый, как стихийные силы природы. Так он вел себя, так он жил. Легко и просто, без особых усилий, он черпал полными пригоршнями все, что давала жизнь, а потом, случалось, подносил кое-что и другим с небрежной щедростью. Он брал без малейших угрызений совести и бесплодных самоковыряний. Он брал и наслаждался в полной мере.

А Дов был рядом. Так угодно было судьбе. Дов был рядом, он был, в общем, недурен и неглуп, но... такой нерешительный, медлительный и серый. До чего же он казался невзрачным, неказистым и безликим рядом с Купером — воплощением полноты и устойчивости бытия, которое не нуждается в оправданиях и доказательствах. А вот Дов нуждался в доказательствах, нуждался в подтверждении того, что и он чего-то стоит. Кое-чего. И он время от времени воспламенялся, то по одному, то по другому поводу, вскакивал, пылал — и сгорал, превращаясь

в серый пепел. И вот сейчас все это рвется из него, как ураган.

Но ураган этот проявляется черными молниями да глухими раскатами грома. И явственней всего в пустоте этой комнаты, вся мебелировка которой состоит из стола и стульев, звучит тишина.

Каждый, кто знаком с заседаниями секретариата меньше Зезвика, может поддаться иллюзии. Кажется, что среди людей, непринужденно сидящих вокруг стола, царит равнодушие и незаинтересованность. Ашер листает журнал, Нафтали решает кроссворд, Сарина вяжет, а Дов своими нервными пальцами пытается разжечь погасшую трубку. Иной, пожалуй, вообразил бы, что эта тишина означает успокоение. Иной, но не Зезвик. Он хорошо знает, что кроется за тишиной, которая обычно воцаряется в секретариате после первого тура кратких речей при обсуждении важных вопросов. Это многозначительная тишина: она чревата импровизациями, неизмеримо более яркими, чем упорядоченные и заранее подготовленные выступления.

Пальцы Зезвика сжимают синюю ручку. Его "концы" переплелись между собой, закрыли всю поверхность листа, не оставив ни одного чистого уголка. Теперь он с силой выводит поверх синих пятен новые "концы", которые невозможно стереть. Рука болит от напряжения, но Зезвик не в силах прекратить это занятие. Куда он денет глаза, если оторвет их от бумаги? Раз он на мгновение поднял глаза и встретил взгляд Купера. Ему почудилось, будто звякнули скрестившиеся мечи.

Нет, ничего не произошло. Потому что у нас слова никогда не разят, они лишь шевелятся, порхают, шепчутся, шипят, как уголья под слоем золы. Никогда у нас слова не разражаются бурей с громом и молниями. В хорошо организованной общественной структуре всегда есть факторы, призванные служить громоотводом. Они поглощают то небольшое, что вырывается наружу под воздействием внутрен-

них сил, которые не удается обуздать, порывы страстей, что бушуют под влиянием первозданных сил. Поглощают и впитывают, переваривают и тормозят, обрабатывают и укрощают, переводя все потрясения в длинную и сложную систему труб, по которым драматические ситуации жизни поступают в центральные инстанции в виде однообразного концентрата, вполне приемлемого для всех. А в центральных инстанциях эти проблемы обсуждают, пользуясь проверенным кибуцианским стилем, тщательно и скрупулезно соблюдая все правила игры, а те исключают появление на сцене голой правды.

Остаются тлеющие в глубине угольки пылавших некогда страстей. Потом и они гаснут, тускнеют и застывают, превращаясь в часть каменного фундамента. Камень ложится на камень. Камни — это навеки застывшие и окаменевшие страсти.

Там, где страсти могут разрядиться, где вовсю гремит гром и сверкает молния, воздух затем удивительно чист, насыщен озоном. У нас так не бывает. У нас никогда не доходит до драмы. Никогда, и на сей раз тоже. Зеевик присутствует сейчас при работе пресса, и она в самом разгаре. Тут, в эту минуту и в этой комнате идет хорошо освоенный процесс расплющивания и размешивания.

Процесс этот начался не здесь. Он начался на улице, на фермах, в комнатах, на машинах, шедших в поле, в столовой во время завтрака, на лестницах — во всех уголках кибуца. Все занимались этой темой, обсуждали ее, ворочали и так, и этак, возились с ней непрестанно. Будто обуял их бес. Будто в них вселилась нечистая сила, не дающая покоя. Все копошатся, шевелятся, выдвигают предположения и теории. Потревожены принципы, десятилетиями лежавшие недвижимо — их сейчас основательно и громкогласно проветривают при свете дня и всенародно. Идет горячая дискуссия, она все разгорается, вовлекая всех, и причастных, и непричастных. Пиршество слов. Они звенят и гнутся под тяжестью са-

мых противоречивых значений, вопят, пугаются, испытывают боль.

Что это все вдруг ухватились за одно дорожное происшествие, когда у нас их сотни, и происходят они ежедневно? Потому что дело вовсе не в нем. Они занимаются не этим несчастным случаем и всем, что с ним связано. Они занимаются собою. Они заботятся о себе, о чистоте и красоте своих душ. Они хотят быть достойными тех званий, которые носят с честью и гордостью. А это дорожное происшествие путает все карты и отнюдь не подходит для роли доски, на которой можно вывесить ходовые девизы и лозунги. Человек погиб, а лозунги здравствуют.

Зезвик чувствует, что его покидает ясность рассудка. Глаза воспалены, голова отяжелела. Рука, лихорадочно выводившая бесконечные "концы", вспотела и обмякла. Он задыхался, хотелось бежать отсюда.

Но не эти абстрактные мысли — причина такого настроения. Он хорошо знал, что преувеличивает и что весь мир кажется ему сейчас низким и грязным лишь по одной причине. Он также знал, что не прав в своих суждениях и ведет себя, как ребенок, которому испортили игру. Зезвик помнил, что, когда был в добром настроении, все выглядело по-другому, даже здесь, на заседаниях секретариата. Но сейчас все это не могло помочь. Где-то внутри образовалась трещина, и туда проникли капли ядовитой иронии. Не верилось, что еще есть на свете честность и порядочность. Остались только вздор и глупость...

Зезвик видел, что Купер непрерывно курит, и он знал наверняка: тот боится минуты, когда он, Зезвик, возьмет слово. Но он его не взял. Зезвик тоже боялся...

Каждое выступление на таких заседаниях стоит ему больших усилий. Трудно избавиться от тягостного ощущения, что его голос — решающий. Глас судьбы. Но кто поставил нас судьями? По чьей ми-

лости именно мы творим здесь суд и расправу? И откуда мне, Зезвику, всю жизнь ходящему на костылях, взять силы, чтобы вынести приговор? Ведь первый, кто приподымет мою судейскую мантию, обнаружит, что у меня вместо ног — протезы. А остальные? Остальные то ли привыкли за много лет, то ли окостенели, но, видимо, для них эти длинные часы обсуждения не так тяжелы, не столь мучительны. Ведь не станет же он, самый молодой по стажу и возрасту, учить их, как, по его мнению, следует вести дело.

Но сегодня все ждут от Зезвика его вклада. Ведь его считают другом Купера. С тех пор, как тот прибыл сюда с друзьями, Зезвик был в числе тех, кто чаще других заходил в его комнату. Никогда он не скрывал своего восхищения Купером, но причины его утаивал — все равно этим никто не интересовался.

Пока что и Сарина не выступала. А потом, конечно, наступит его черед. Что он скажет? Что он им скажет? Поведает ли, почему не мог спать все эти ночи? Расскажет ли, как перед его закрытыми глазами снова и снова проходят точные, как при замедленном показе, кадры тех кошмарных секунд? И о чем рассказать им? О том, как ругался Купер? Как сыпал проклятиями на своем родном русском, на языке соседей-арабов и друзей-турок? Как он проклинал этого кретина, который повис прямо на бампере его машины? Как Купер даже не оглянулся, чтобы узнать в точности, что произошло? Ему и в голову не пришло выйти из кабины, помочь, может быть — спасти. Нет, он удрал, удрал, удрал, как трусливый заяц. И не существовало для него тогда ни Дафны, ни Нирит, ни "целой вечности"... Все это сладкая ложь. Он думал только о своей шкуре, за нее дрожал и ее спешил спасти. Вот и все. И не осталось тогда ничего от обаятельного Купера. Он не взорвался — он растаял и растворился, как мягкое масло в кипящем молоке...

Как можно такое выдержать? Он видел в свете

фар искаженное страхом лицо, услышал истошный вопль. Это был жуткий вопль человека, объятых смертным ужасом. А рядом он видел лицо Купера — холодное, ничего не выражающее. В ту минуту он, Зезвик, изумился хладнокровию, находчивости, ясности рассудка и четкости действий этого человека. Без малейших колебаний Купер продолжал ехать прямо; только потом он круто повернул могучую машину обратно, чтобы снять с себя всякое подозрение. Он хочет посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь этому несчастному, — пояснил он Зезвику, безукоризненно выполнив этот хорошо обдуманый маневр. Никакие угрызения совести не давили на него, не мучили головы...

Но разве не за эти его качества ты, простофиля, всегда восхищался им? Что в нем так выпукло проступало, выделялось так наглядно, ярко, без искажений? Цельность (качество редкое в наших местах). А в чем заключалась та истинная, удивительная цельность, которую ты видел в нем, если не в полном отсутствии совести? Ведь нет на свете человека, который мог бы спокойно жить со своей совестью, если она у него имеется. Откуда же возьмет тогда человек эту абсолютную цельность?

Но, видимо, до сих пор ты считал его прегрешения мелкими и незначительными и потому даже уважал его способность грешить безо всяких колебаний и угрызений совести, которые так искажают жизнь обычных людей. Однако на сей раз... На сей раз ты увидел его в зените простоты и цельности, начисто лишенным сдерживающих центров, когда он всеми силами стремился к одной ясной и определенной цели — увильнуть.

Надо следить за Купером, за его речами, так как в голове сейчас путаница. Он ведь уже объяснил, и по-своему довольно логично: я уже ничем не могу помочь, так что за польза от того, что я сам запутаюсь? Но он не осмелился прямо попросить Зезвика, чтобы тот промолчал. Видимо, в его смятенных глазах

он увидел нечто такое, что счел за благо от просьбы воздержаться.

Какой же смысл рассказывать им сейчас об этом? Для присутствующих Купер никогда не был легендой, и не похоже, что они будут потрясены ее крушением.

— Я хочу кое-что сказать... (наконец-то заговорила Сарина). Не хочу прибегать к резким выражениям, но мое мнение совпадает с мнением товарищей, которые видят в поступке Купера дело очень серьезное и крайне антигуманное. Я просто не в состоянии понять, как можно так поступить. Удрать, бросив человека на произвол судьбы? Но если это не понятно самому Куперу, мы ничем не сможем ему помочь. Поздно его воспитывать, он человек взрослый и должен отвечать за свои поступки. Думаю, что мы обязаны принципиально решить: человек, поступивший таким образом, не может быть членом кибуца. Но мы не вправе игнорировать положение Дафны. Насколько мне известно (тут последовала маленькая пауза, чтобы дать возможность всем переварить и понять это попутное замечание), она должна родить в ближайшие недели. Нельзя ставить ее под удар в таком положении. И есть еще Нирит, наша доченька, а ее вся эта история может так потрясти, что оставит след на всю жизнь. Мы не можем с этим не считаться.

Молчание. "Неужели кончила?" — удивился Зеэвик. Странная манера выражать свои мысли. Отметила две возможные позиции и поставила точку. Глаза у нее прикрыты, и не знаешь, что у нее на душе. Можно лишь догадываться. А память подсказывает, что сия первая дама нашего маленького государства в свое время тоже заглядывалась на этого баловня судьбы, Купера. Но он не смел и взглянуть на нее — так высоко стояла эта дама, одинокая и неприступная, — и продолжал забавляться с другими, минуя ее.

— Так что же ты предлагаешь, Сарина? — удивляется Ашер.

— Я предлагаю оставить его в покое.

— Оставить в покое, будто ничего не произошло? — не верит Дов своим ушам.

— Да, — отрезала она. Сарина не любит ясных вопросов, обязывающих давать четкие ответы. И на ее щеках заиграл румянец, который украсил бы ее, если бы не плотно сжатые губы, выражавшие скрытую досаду.

Приправив свои слова горьким обжигающим перцем, она все-таки его амнистировала. Но если отнестись к ее речи без неприязни, которую к ней испытываешь (собственно говоря, почему?), то обнаружишь, что это, пожалуй, единственный возможный компромисс.

Теперь остался только он, Зезвик. Ладони у него влажные и холодные. Он чувствует биение пульса в висках и конвульсии в горле, в желудке. Ему показалось, или Купер действительно бросил какой-то странный, летучий взгляд в его сторону? Или он его боится? Зезвик ответил Ашеру жестом отрицания, когда тот взглянул на него, как бы спрашивая: "Ну, а ты что скажешь?" Ашер недоуменно пожал плечами, но, не задерживаясь, поспешил перейти к итогам.

— Буду краток и постараюсь не повторять слов товарищей и то, что я уже говорил Куперу раньше. Хочу так сформулировать мое предложение. Я согласен с Мордехаем, что к кибуцнику требования строже, чем ко всем прочим людям. Во всяком случае, не удирать с места катастрофы — это тот минимум, который требуется от каждого. Мы осуждаем поведение Купера, вопреки всем его объяснениям, и ничего не предпримем, чтобы прикрыть его, если следствие сюда доберется. Вместе с тем мы обеспечим его юридической защитой, если дело дойдет до этого. Учитывая положение Дафны, мы не требуем от Купера, чтобы он немедленно явился в по-

лицию, но я предлагаю, чтобы секретариат рекомендовал устранить его от вождения машины.

Из окна виднеется дорожка, ведущая от жилых помещений к столовой. На дворе уже чувствуется канун субботы. По каким признакам? Трудно сказать, но это так. Вот школьники шагают на спортивную площадку в ослепительно белых рубашках и с тщательно вымытыми головами. Вот Ами несет груду чистой одежды на некотором расстоянии от своей спецовки, пропитанной запахами хлеба. А вот и Дафна пересекает лужайку: она несет халы и молоко. Из окна кажется, будто она плывет по небу, бледнеющему за ее спиной. Дафна старается ходить выпрямившись, но ей мешает живот. Ее голову украшают тяжелые медовые волосы; прическа, как всегда, слегка сдвинута на бок. Она идет медленно, спокойно и вскоре исчезает из виду.

Зезвик украдкой смотрит на Купера: заметил он или нет? Да, заметил, но выражение его лица не изменилось. За окном пусто, дневной свет начал меркнуть, стал фиолетовым, потом совсем поблек, приобрел сонливую прозрачность тихих предвечерних сумерек. Мир затаил дыхание. Травы не шевелятся, сосны не шумят. Ветер запутался в верхушках деревьев и приумолк. Люди двигаются бесшумно и неторопливо. Воцаряется прозрачная хрустальная тишина, которая откликается, как серебряный колокольчик, на каждый случайный звук. Это час большой благодати.

После заключительных слов Ашера воцарилось тягостное молчание. Почему Купер не встает? Всегда тяжелы последние минуты заседания, когда обсуждаются персональные дела. Купер, видимо, не удовлетворен, он еще не успокоился, а возможно, и не сообразил, что разбор его дела кончился. Даже если мобилизуешь всю свою вежливость, ты невольно обижаешь товарища, провозглашая: вот и все. На том и порешили. Почему же все-таки Купер сидит и не уходит?

— Прости меня, Ашер, но, если ты разрешишь мне употребить непарламентское выражение, я скажу, что ты мамзер*. Я тебя понимаю, но это был запрещенный прием, удар ниже пояса. Ничего, устроимся... Будьте здоровы.

С этими словами Купер вышел.

— Он слишком много себе позволяет, — взорвалась Сарина. (В этом взрыве нет ничего неожиданного. Она всегда предпочитает высказаться начистоту после того, как опущен занавес.)

— Он ведет себя, как мальчишка, лишенный всяких сдерживающих центров. А мы все должны тут сидеть и ломать ради него голову! В самом деле, если бы не Дафна (ну как же, все мы знаем, как она близка твоему сердцу... Дафна — красивая, изнеженная, такая мягкая и ласковая, милая хохотушка. Дафна — умиротворенная, для которой во всем мире существуют лишь ее Купер, ее Нирит, ее будущий ребенок, ее палисадник, ее квартира. Дафна — без амбиций и претензий, такая женственная в своей избалованности. До чего же ты, Сарина, ее любишь!..) и главным образом Нирит, которая ведь наша доченька, я бы сказала, что мы должны потребовать от него убраться от нас подальше. Нет для него ничего святого на свете. Я вообще не понимаю, что ему нужно в нашем кибуце.

— Это действительно наглость так реагировать, — изрек ко всеобщему изумлению Нафтали. — Этот парень слишком много себе позволяет. Пора уже стать ему человеком и научиться жить в общепринятых рамках.

Теперь в его голосе звучала истинная неприязнь. Какие же, черт подери, были у него раньше побудительные мотивы, заставлявшие так обильно мазать сковороду жиром, как выразился Дов?

Ашер лишь снисходительно улыбнулся, прикрыв усмешку огоньком спички, которой зажег очеред-

* Буквально — незаконнорожденный. В данном контексте — хитрая бестия, плут, ловкач.

ную папиросу. Дов демонстративно хлопнул себя по лбу в знак удивления, но не сказал ни слова. Наф-тали был выше его понимания.

А Зеэвик все еще держал перо на листе бумаги, исписанном и истерзанном со всех сторон, но не бросал его, хотя уже невозможно было прибавить ни штриха, что вызывало в нем глухую тревогу: чем ему теперь заняться? Он очень устал, усталость давила на веки и туманила сознание. Как в полусне он слышал разговоры о мере стойкости Купера. Свалит ли его с ног этот удар ниже пояса, как тот выразился, или он устоит? Взвешивая все "за" и "против", Зеэвик внимательно слушал, но с трудом понимал, о чем идет речь. Он думал о том, как будет жить этот кибуц с его буднями и праздниками, днями и ночами, без Купера — и не мог себе этого представить.

— Это неверно, — вмешался в разговор Мордехай, растягивая слова. — Купер — хороший товарищ. Дружба и подлинный коллективизм у него в крови. Это его врожденное, а не приобретенное свойство, как у многих из нас. Я убежден и уже говорил об этом, что он ведет себя легкомысленно и должен за это понести наказание. Но неверно, что не место ему среди нас. Он настоящий друг.

Последнюю фразу Мордехай произнес тихо, как бы выражая сокровенную мысль. Высокий лоб и густые, зачесанные кверху волосы придают его лицу одухотворенное, даже чуть патетическое выражение. Со смешным и немного трогательным упрямством он следит за тем, чтобы сохранить это выражение, особенно тогда, когда посещает регулярные дружеские "посиделки" у Купера. Он приходит, садится и пытается раствориться в компании, добавить что-то свое в общую беседу и вкусить радость принадлежности к избранным, группирующимся, как ему кажется, вокруг Купера. Но это ему только кажется. Нет там избранных, нет даже дружеской компании. Люди входят и выходят, перебрасываются

несколькими фразами, задерживаются на минутку, чтобы проглотить чашку кофе, выяснить кой-какие вопросы, связанные с завтрашней работой, или рассказать последнюю новость. И только Мордехаю эта малость кажется чем-то значительным, и его заветная цель — стать здесь "своим в доску", что делает его самого предметом язвительных насмешек.

— Во всяком случае, Ашер, — продолжает Мордехай, немного подумав, — я уверен, что эта беседа имеет большое воспитательное значение. Не помешает, если мы обновим и немного провентилируем наши представления об идеальном облике кибуцника. Может быть, стоит даже воспользоваться этим поводом и произвести сопоставление идеала и реальной действительности.

"Как раз то, о чем я мечтал..." — с горечью подумал Зеэвик, и его голова склонилась на переплетенные руки, лежащие на столе. Весьма подходящий повод... Лучше и не придумаешь. Старика раздавили насмерть. Погиб человек, чей-то дедушка, а может быть, муж. Уничтожено живое человеческое существо. Его умертвили не таинственные потусторонние силы, а другой человек. Человек раздавил и уничтожил величайшее из чудес земного бытия — человеческую жизнь. Человек умертвил нечто абсолютное и совершенное, не поддающееся воспроизведению. Человек сделал то, что находится в исключительной компетенции Бога. Случилось нечто такое, перед чем все мы стоим в растерянности, не в силах понять, объяснить, исправить. Так давайте же не упустим подходящего случая и организуем воспитательную беседу, сопоставим идеал с действительностью и все прочее...

Неужели мы так оторвались от настоящей жизни, от могучего потока бытия, в котором есть и уродство, и грязь, и глупость, и страх, и борьба страстей, и ложь, и бездны, но также взлеты, вершины верности, чистоты и человеческого гения? Оторвавшись от всего этого, мы продолжаем жить своей замкнутой, стерильной жизнью.

А может быть, все дело в пропорциях? В пропорциях между бесконечными компонентами жизни. Может быть, искажены лишь пропорции и соотношения? И тогда та рука, что высоко вздымает нас в час, когда разыгрываются страсти, швыряет затем в лужицу. И там, в этой лужице, подымается буря, долгое время не дающая нам покоя. Ибо есть в игре страстей нечто противоречащее нашему образу жизни, нашим моральным ценностям, нашим нормам и традициям.

А как же смерть? Каково ее место в нашем образе жизни, в наших моральных ценностях, традициях и всем прочем? Смерть. Конец. Абсолютный конец. Никаких проблем, лишь полная ликвидация ч е л о в е к а. Пусть человек был не из наших, но он сам по себе — целый мир. До того он кричал в мощные фары машины, которую вел Купер, кричал — и умолк. Его больше нет. Это окончательно, конец.

Но все это уже не имеет прямого отношения к данному делу, и мы этим не станем заниматься. Во всяком случае, в рамках наших общественных организаций. Лучше будем решать вопросы поведения, процедуры и распорядка... Определим, как в данных конкретных условиях надо действовать, так или этак.

Только — откуда взялись все эти проблемы? У нас ведь есть свой "Шулхан Арух"* , давно составленный, записанный и проверенный. В нем — весь наш образ жизни. В нем — мы и наши дети, наши родители, наши гости, наши работники.

А как же э т о т случай? Он принимается в расчет?

Нет, не принимается. Потому-то и возникли про-

*Знаменитое богословское произведение Иосефа Каро (XVI в.), которое регламентирует поведение правоверного еврея со дня рождения и до самой смерти. В данном случае имеется в виду устав кибуца и программа того движения, к которому он принадлежит.

блемы. Проблема как вести себя... И везти, везти, везти, и при этом никого не раздавить.

Через пять недель Купер и Дафна оставили наш кибуц. Полиция его так и не нашла. Возможно, и не слишком старалась. В конце концов, жертвой был какой-то несчастный старик из деревни Туреа. Из всех обитателей вселенной может быть один-единственный человек помнит его по-настоящему и будет всю жизнь, до последнего дыхания, слышать его предсмертный крик: Купер.

Перевел с иврита А. Белов

ЦВИ АРАД

ЦВИ АРАД родился в 1909 году в г. Вильно. Воспитанник Хехалуца и левого сионистского движения Хашомер Хацаир. В стране с 1931 года. Многие годы был членом кибуца Эйн-Шемер. Работу в сельском хозяйстве сочетал с литературной деятельностью и опубликовал несколько романов и стихотворных сборников.

МАКОВЫЙ ХОЛМ*

Та чудесная равнина на юге, которую местные жители называли "языком", для Нахума и впрямь была плотью от плоти его, полной тоски и боли. Поле и его окрестности занимают около двух тысяч дунамов лучшей земли, которая граничит с полями, бывшими предметом давнего спора. Около двадцати лет арендовал их Нахум у эффенди за долю урожая и солидные проценты. Понятно, большой выгоды в этом не было, но Нахум упорствовал: он должен присоединить этот "язык" к полям своего кибуца, потому что тракторам негде развернуться. В его сердце жила тайная надежда, что в один прекрасный день он протянет руку и станет владельцем всей площади, хотя реальных оснований для этого не было.

Сейчас большая часть поля даже не вспахана. А на краю созревают кормовые травы, и они примыкают к большому полю с травами юго-западнее "язы-

*Глава из романа.

ка". Когда разгорелись бои, противник захватил Маковый холм, который высился над полем, господствуя над местностью. Наш командный пункт расположился на кургане, к западу от поля, а ничейная земля между позициями поросла дурной травой и колючками.

Воспоминание о том, как противник захватил холм, зудит и свербит, как чесотка. Это были трудные времена для Нахума, ветерана Хаганы*. Неожиданно для себя он оказался оттесненным в дальний угол, а эти пришельцы распоряжаются всем, как в собственной вотчине, и ничего им не сделаешь. Еще горше стало на душе, когда он увидел, что воинской частью, обороняющей местность, командует молодой щеголь и бездельник, своей беспечностью заражавший подчиненных. Поэтому для Нахума день захвата врагом Макового холма стал вторым днем национального траура**. Он видел в этом преступную халатность командования. А его руки связаны, и уста на замке.

Вот уже заканчиваются переговоры о перемирии с Трансиорданией, а его любимое поле — в демилитаризованной зоне, и кто знает, как долго это будет продолжаться. Душа его такого не выдержит. По всем законам Божьим и человеческим Маковый холм должен быть снова нашим, и Нахум лично его обработает. "Своим трудом я приобрел его навечно", — думал он, и эта мысль не давала ему покоя. Долго и мучительно переживал Нахум свое горе, пока в его мозгу не мелькнул луч надежды.

"Мне нужен солдат из молодых, воспитанник Пальмаха***. Эта мысль сверлила мозг и не давала покоя.

*Подпольная еврейская военная организация, в годы Британского мандата защищавшая еврейские поселения от нападения арабов и боровшаяся с англичанами.

**День национального траура — 9 ава — день разрушения Иерусалимского Храма.

***Пальмах — штурмовые отряды Хаганы, выполнявшие в подмандатной Палестине особо ответственные задания.

”Всю жизнь я учился и других учил обороняться, а теперь, в разгар агрессии, я беспомощен и оказался в арьергарде. О, если бы кибуц разрешил мне мобилизоваться в те дни... Но мне не позволили, а человек не может воевать на два фронта — он рискует потерять позиции на обоих. Как печальна и постыдна участь того, кто опоздал на поезд! Два десятилетия ты гнался за ним, чтобы настичь и во время короткой стоянки вскочить в вагон. И вот поезд ускользнул, проскочил мимо, а ты застрял на полустанке, запыхавшийся, растерзанный и оскорбленный, хотя никто тебя, собственно, не оскорблял”.

Нахум не из тех людей, которые могут без конца питаться своими обидами. То что произошло, — факт, с которым приходится считаться. ”Если бы мне позволили, я бы сегодня вскочил в этот поезд на ходу. Но я подчиняюсь воле коллектива, который уверен, что он всегда прав, и считает, что лишь он вправе судить. Ладно, так и быть. Хорошо, давайте поищем тропинку для молодежи, у которой лишь усы пробиваются. Да вот беда: не могу открыть сердце первому встречному. У меня пока нет ничего за душой, кроме идеи, замысла, но и об этом лучше помалкивать. Пожалуй, стоит начать с самых низов, чтобы создалось впечатление, что к этому делу я не имею отношения, и таким путем изучить проблему”.

Нахум начал тайную слежку за молодыми солдатами, появлявшимися на ферме, и остановился на Нисане. Однажды он видел его в обществе Ишай и Тирцы, и по их поведению понял, что те ему симпатизируют. Нахум не был с ним знаком, так как почти ни с кем не общался, кроме своих землепашцев. В тот же день он спросил Ишай:

— Кто этот усатый, с которым ты ходишь? ”Сусик” или солдат?

Ишай даже покраснел от волнения. Он чувствовал себя задетым лично.

— Ты не знаешь Нисана? Так зачем так говоришь! Нисан отличный командир. Уже отличился в боях.

Мы гордимся, что он воспитанник нашей молодежной организации.

— В газетах об этом писали, — усмехнулся Нахум с нарочитой издевкой.

Уловив отцовский сарказм, Ишай ответил в тон:

— Слава идет перед ним от Безр-Шевы до Дана*.

— Что он делает в армии?

— Сейчас исполняет обязанности командира отделения. Но он далеко пойдет.

— До Суэца?

— А меньшим ты не хочешь довольствоваться? Меня устроит, если до Ум-Рашраша.

— Из какой он общины?

— Из болгарской. Все там симпатяги, а он особенно. Настоящий сабра. Даже по произношению не отличишь.

— Кое-что смыслит? — переспросил Нахум серьезно.

— Да что ты? Он же кончил курс с отличием. Я многих расспрашивал о нем. Свой в доску. Сейчас у него увольнительная, ненадолго.

— Ну, пока, Ишай. Я тороплюсь.

... Немного погодя Нахум и Нисан уже были поглощены оживленной беседой, которая вертелась, главным образом, вокруг текущих дел, но частично касалась и хозяйственных вопросов — земли, лучшего использования трактора и всего прочего, прямо или косвенно связанного с мозолями на ладонях Нахума.

— А теперь у меня такая проблема. Есть у нас на юге сено, прямо у них под носом. Спрашивается: как его забрать? У меня возникла идея, но до того, как посмотреть все на месте, не о чем говорить. Может быть, пойдем взглянуть на участок? Ты свободен?

— Очень буду рад. Давненько там не был. Я всегда работал на цитрусовых.

Нахум вел джип на средней скорости, и оба наслаждались дарами светлого весеннего дня, ароматом цитрусовых, исходившим от плантаций эффенди, и просторами, что открылись их взору после развалин Меншие.

*То есть из конца в конец страны.

— Большая часть равнины в наших руках, — сказал Нахум и многозначительно взглянул на Нисана.

— А меньшая часть?

— И она могла бы быть у нас, если бы не бездействие и не безынициативность этого несчастного шеголя, в чьих руках сейчас наша судьба.

Нисан чуть заметно усмехнулся, и видно было, что он сразу уловил намек Нахума. Это был видный парень, зрелый не по годам. У него были мягкие бархатные глаза, никак не соответствовавшие облику воина с выдающимся вперед раздвоенным подбородком. В симметричных чертах его лица не было ничего броского, и лишь усы выдавали профессию военного, которую он любил. Нисан не привык, чтобы кибуцники обращали на него внимание, и отношение Нахума затронуло в его душе скрытую струну. Ветеран Нахум говорил с ним, юнцом, как равный с равным, и этим покори́л его.

Джип подпрыгивал на ухабах, приближаясь к невысокому холму, выступавшему над равниной.

— Это наш командный пункт, — сказал Нахум. — Зайду сказать, что съезжу на юг.

— Стоит предупредить, — ответил Нисан со смехом. — Наши здесь очень опасны.

Считанные минуты пробыл Нахум на командном пункте. Выйдя оттуда, он повел машину не по дороге, ведущей прямо на юг, а пересек поле по диагонали на запад, будто удаляясь от заветного поля с сеном.

— Весь день наблюдают в бинокль, — сказал он. — Лучше подойдем к месту пешком, с запада.

Предложение понравилось Нисану, и он кивнул в знак согласия. Вскоре они остановили джип в небольшой впадине и зашагали по обходной тропке к "Стеклянному кургану".

— Слышал, что дети говорят о "Стеклянном кургане"? — осведомился Нахум. — Там полно стекляшек, и дети ходили туда за добычей. Если подыдемся с юга, нас не заметят. Не хочу, чтобы нас видели. Даже наши.

— Когда-то мы здесь бродили, — ответил Нисан с улыбкой. — Я хорошо знаю местность, но несколько лет здесь не был. Уверен, что как только взгляну, сразу все вспомню.

Они поднимались, согнувшись всем телом, а приблизившись к цели, поползли. Равнина встретила их приветливой улыбкой. Большое поле кормовых трав простиралось на север и запад, до склонов Макового холма, и пряталось где-то позади нашего командного пункта.

— На большей части поля, которое перед нами, можно косить, — сказал Нахум, но на той, что за командным пунктом — нельзя. Я готов им уступить этот участок, но скосить поля мы должны. Это же корм для скота. Я было думал поставить на этом холме заслон, скажем, усиленный взвод, пригнать сюда пару косилок, заскирдовать влажное сено на восточной части поля, а для сушки разбросать на западной. Те не начнут действовать без указаний свыше, а пока их получают, поле будет скошено. Как ты думаешь?

Нисан обстоятельно и методически обозревал все участки поля. И хотя вопрос был адресован ему, он продолжал разглядывать участок за участком, и лишь потом повернулся к Нахуму.

— Этот холм вполне подходит для заслона при условии, что единственное его назначение — преградить подход подкреплений из вади, которое перед нами... Но такой заслон не в силах защитить косцов. Одна пулеметная очередь с Макового холма уложит всех. Надеяться, что опоздает приказ об открытии огня, по-моему, рискованно.

— Я сам буду косить со всеми! — вспыхнул Нахум.

— Это дела не меняет. Не стоит привлекать солдат для невыполнимого задания. Можно захватить командный пункт, но нельзя косить под дулами пулеметов. Уборка урожая и сражение — вещи разные.

— Обожди, обожди, — перебил его Нахум. Одним взмахом была разрушена мечта, которую он лелеял,

и это было нестерпимо обидно. — Какие нужны силы, чтобы захватить Маковый холм?

— А кто там закрепился?

— Взвод.

— Откуда мы подойдем туда?

— По этому вади, — показал Нахум рукой. — Оно ведет, правда, к другому командному пункту, но оттуда можно подняться на холм.

— Оно ведет к высотке, которую мы видели там, сзади, примерно тысячу метров восточнее?

— Да. 900 метров позади Макового холма. Ее называют Джат. Она господствует над дорогой, по которой идет снабжение Макового холма. Но она нас не интересует, так как окружена скалами.

— Типичная ситуация, — сказал Нисан и задумался. Нахум молчал, пытаясь преодолеть охватившее его волнение. (Ты мечтаешь об этой земле, как фантазер-мальчишка, но не знаешь, как к ней подступиться. А этот парень знает. Каждое движение его губ, рта, челюстей свидетельствует о знании и уверенности. Без него тут ничего не выйдет. А ты, Нахум, изволь не обижаться и почитай себя счастливым, если этот парнишка возьмет тебя в заместители. И лучше хорошенько взвесить, что достижимо, что нет. Подытожь и действуй).

— Чисто военная задача и притом несложная, — сказал Нисан, как бы подводя итоги. — Неужели нет никаких шансов пробудить инициативу бригады?

— Нет. Разве только, если как-нибудь втянуть их в это дело. Буду считать верхом удачи, если получу разрешение поставить усиленный заслон на Стеклянном кургане.

— Это не приведет нас к цели. Вы со мной согласны?

— Да, согласен, — ответил Нахум, мысленно благодаря толкового парня за тонкое понимание человеческой психологии. — Остается лишь один путь — пробудить инициативу... Я не смогу получить согласие кибуца на это дело. Если узнают с полдюжины человек — дело заранее проиграно. Завтра начнут болтать об

этом в штабе полка. Ты подсказал мне одну мысль. И стоит ее обсудить. Сделаем это дома.

— Надо зафиксировать все данные. У вас есть листок бумаги?

— Нет нужды, — ответил Нахум. — У меня дома подробные карты и эскизы.

— Общая линия для меня ясна, — сказал Нисан, — но тут есть элемент авантюры. Если вы на это пойдете, я готов вступить в игру.

Нахум с уважением посмотрел на него и встретил горящий, полный веры взгляд. Он пожал ему руку выше локтя и сказал:

— Давай сползать.

И они начали спускаться

Йозель не мог успокоиться. Уже поздний час, а он все еще сидит за столом, вперив взгляд в стену, и его одолевают тяжелые думы. План уборки, который нынче вечером выдвинул Нахум, его потряс. Мысль верна, оправдана с государственной точки зрения и заставляет сердце биться, как в молодости. Но есть серьезные опасения, и они омрачают радость.

Это же настоящая боевая операция, по всем правилам военного искусства. Ты знаешь, как ее начать, но не знаешь, каково будет продолжение. Внешне все выглядит хорошо: ты выходишь защищать своих косцов. Но, по сути, тут есть открытый вызов врагу, чуть ли не провокация. Нахум говорит двусмысленно, чего-то не договаривает. Зачем он мобилизовал этого парня, Нисана? Чтоб тот помог ему в проведении операции? Что он, сам не может вывести пятнадцать человек на поле? Нет, тут что-то кроется, но он, Йозель, этого не знает.

Заседание было довольно заурядным. Шимеон колебался, как и всякий секретарь кибуца, Арик же, как любой распределитель работ, уже подсчитывал в уме скошенное сено, а все остальное казалось ему мало-важным. И других Нахум сумел увлечь. Таков уж он, этот Нахум, к его голосу все прислушиваются.

Глаза молодого командира района Гидеона сверкали — они всегда у него сверкают, когда есть возможность обнажить оружие. Йоэлю казалось, что Гидеон знает больше других, что он сообщник и верный союзник Нахума в задуманном деле.

А ответственность очень велика. Но невозможно довести дело до всеобщего сведения, чтобы решил коллектив. И получается, что та горстка, что сидела на заседании, берет на себя всю ответственность. Об этом Нахум не подумал. Он горяч, как мальчишка, перед его глазами маячат только посевные площади. Он способен далеко зайти...

Йоэля огорчало, что Нахум был сейчас всецело захвачен предстоящей операцией. Он хотел повернуть общественное мнение к Эльяхону — соседнему поселению репатриантов, которое было целиком на его попечении. Что за польза в дополнительных территориях, когда люди не пускают корней даже на тех землях, что находятся в наших руках? Йоэлю было совершенно ясно, что укоренение жителей Эльяхона — ключевой вопрос нашего существования.

О, если бы удалось увлечь этим Нахума! Многие пошли бы за ним. Но Нахум весь поглощен своими дунами. Он не пойдет за ним. Сейчас Йоэль идет за Нахумом. Так бывает всегда.

Йоэль не допустит, чтобы чувство недовольства взяло верх и торчало костью в горле. Его другу всегда сопутствовала удача, может быть, так будет и впредь. Он пойдет с ним и попытается помочь во всем. Может, уговорит его пойти в новое именитское поселение, когда они получают эту землю. Но получают ли?..

Нахум собрал участников операции под навесом для машин. В отличие от общепринятого, приказ не был опубликован, а передавался устно. Личное оружие роздано еще засветло, и все пришли, готовые немедленно выступить. Каждого уже ждал его командир отделения и без лишних слов отводил к своей группе. В первых двух отделениях были люди разного возраста. В отделении Ицхака половина — вете-

раны, а половина — молодежь, из тех ребят, что росли в кибуце, или же года два назад стали его равноправными членами. В отделении Йорама была в основном молодежь, а в отделении Йоэля все украшены сединой и другими "знаками отличия", и все первопроходцы, как шофер Янкель, Зозик и их ровесники. Нет нужды добавлять, что и я был в числе этих рыцарей...

Необычность места сбора послужила Янкелю поводом для язвительного замечания:

— Само собой разумеется, что всюду, где Нахум, есть какие-то революционные новшества. Без этого он не может прожить и дня. Собраться у барака — не подходит, слишком прозаично. Нужна показуха, и поэтому мы собираемся в этой дыре.

— Страшная дыра, — заметил Йоэль, оглядывая огромный навес. — Боюсь, что сегодня вечером тебя ожидают еще большие сюрпризы.

— Поживем — увидим, — пробурчал Янкель, подпоясываясь.

Начали раздавать гранаты.

— "Слава тому, кто преумножит"*... — провозгласил Нахум, и, хотя это было сказано с шутливым выражением, воцарилась тяжелая тишина. "Вот оно что", — подумали многие.

На грузовик подняли минометы и автоматы, затем — какие-то ящики.

— Что это такое? — невольно вырвалось у Зозика.

Нахум ответил:

— Боезапас.

Йоэль взглянул на Зозика, и оба поняли, что сейчас не время для острот. После того как были погружены носилки, на грузовик взобрались люди.

На склоне, до развилки, путь освещали фары грузовика. Затем они погасли, внезапно ослепшая машина соскользнула в плоскую дренажную канаву

*Парафраз из пасхальной агады. Там мысль такая: слава тому, кто умножит рассказ об Исходе из Египта. Здесь — слава тому, кто возьмет больше гранат.

и покатила по ней, как по проселочной дороге. Она вела к командной высотке "40".

Запах сена защекотал ноздри и вернул людям привычное ощущение уверенности, как на полевых работах. Запахи подчас создают настроение более, чем пейзажи. И казалось, что кибуцники, сбившиеся на полу грузовика, успокоились. Но вот ароматы усилились, стали острее и разнообразнее. Тон задавали пьянящие запахи цитрусовых. Машина ехала между цитрусовыми плантациями Абд-эль-Хади — по дороге, напоминавшей коридор. Этот запах, казалось, заполнял нос, рот, мешал дышать, и, когда машина свернула с пахучей дороги в сторону, все вздохнули с облегчением. Грузовик накренился, начал медленно сползать вниз и пересек противотанковый ров, который остался после англичан. И тут перед нами открылись просторы Юга.

Кончились запахи, а с ними знакомые приметы обжитого места. Какая-то нервозность с примесью тайного страха пробралась в сердца людей, и этому способствовала густая темень. Все были напряжены, все взоры обращены к востоку. Проехав мимо каких-то развалин, грузовик остановился. Нахум поднялся, вытянул шею, осматриваясь, и сказал, опираясь на свой "стен"*:

— Сейчас командование переходит к Нисану. Я же — его заместитель.

По моей спине прошла холодная дрожь: вот так новость... Янкель от неожиданности даже испугался. Он сделал движение, намереваясь встать на ноги, но, видно, передумал и остался сидеть. Я жалел, что в темноте не могу разглядеть лиц товарищей — так и подмывало узнать, как они на все реагируют. Особенно те, кто считал Нахума гордецом и зазнайкой и готов был утопить его в ложке воды.

Мне показалось, что и Нисан удивлен, если принять во внимание его подчеркнуто почтительное от-

*Пистолет-автомат, широко распространенный в стране во время британского мандата. Особенно эффективен при ближнем бое.

ношение к Нахуму с самого вечера. Но Нисан — прежде всего солдат, он привык подчиняться и выполнять приказы. И не давая нам времени на раздумье, он тут же заговорил, так что сразу все замолкли и раздавался лишь его голос.

— Командование переходит ко мне. На нас возложена обязанность обеспечить уборку трав на ничейной земле между командной высоткой "40" и Маковым холмом на востоке, который находится в руках арабов. Кормовые травы занимают всю площадь до Стеклянного кургана на юге, который мы должны захватить на один день, чтобы прикрыть наших косцов. Мы знаем, что противник откроет по ним огонь. Можно частично сковать его, но это не спасет наших людей. У этого плана есть то преимущество, что он утвержден командиром полка. Но приходится планировать иначе: мы должны захватить Маковый холм. Если мы сможем удержать его хотя бы несколько часов, то полностью закончим уборку. Для этой цели мобилизованы косилки со всей округи. Они появятся на полях к восходу солнца. Если мы удержим этот холм до подхода воинских частей — он останется в наших руках, а также и поля. В эти дни вступает в силу соглашение о перемирии, поэтому важны свершившиеся факты. У нас есть достоверные сведения о противнике: на Маковом холме закрепился взвод, за ним, западнее, расположен их командный пункт Джат. Он господствует над дорогой, ведущей к Маковому холму. Там тоже взвод. Будем действовать в зависимости от обстоятельств. Гидеон остается на высотке "40", он будет ждать подхода тракторов, а мы выйдем на Стеклянный курган в соответствии с утвержденным планом. Ясно? Нахум, ты хочешь что-то добавить?

— Товарищи, — сказал Нахум, — этот план отличается от того, который был ранее утвержден в кибуце. Новый план утвержден только нашей комиссией по безопасности. Это — трудный план, чрева-

тый серьезным риском. Я предлагаю обменяться мнениями. Если кто возражает против этого плана, мы подыдемся на Стекланный курган и займемся уборкой, пока появятся первые раненые... И тогда — ни кормовых трав, ни земли. А земля эта наша. Мы давно расплатились за нее. Но если кто-то против — мы от плана откажемся. Ты согласен, Нисан, на короткий обмен мнениями?

— Согласен, — ответил Нисан.

Снова воцарилось молчание. Сердца бились учащенно. Вот таков наш Нахум: вывел людей, якобы на командный пункт, а ведет их в атаку. Без разрешения военных властей. Без ведома правления кибуца. По решению горстки людей. Янкель проглотил слюну, но промолчал.

Я словно чувствовал, как сжимают зубы товарищи. Страшная ответственность лежит на них. "Лучше бы уж он сразу повел нас, как решил, а не спрашивал нашего мнения, — подумал я. — Или он хочет себя застраховать? Нет, это ему не свойственно. Это не в его привычках. Никогда в жизни он не искал для себя укрытия от дождя. Он приучен к непогоде и бурям. В таком случае, чего же он хочет?"

Молодые не шевельнулись, кое-кто из пожилых переступал с ноги на ногу — и это все. Никто ничего не сказал. Застрекотал сверчок. Все прислушались к его пению. А Нахум ждал. Ждал и молчал.

"Кто заговорит первый? — думал я. — Кто осмелится? Или все уверены, что нет другого пути? Может быть, Нисан всех убедил, или подействовал тот факт, что Нахум уступил ему командование?" Все это меня очень удивляло.

Затянувшееся молчание становилось тягостным, и Нахум подытожил:

— Все ясно.

Грузовик тронулся. Мы приближались к командной высоте. Нахум сошел с машины и сигнализировал шоферу фонариком. Снова поехали. Вот и часовой.

— Пароль!

— "Земля — для людей", — выпалил Нахум.

Мы слезли. Нисан перекинулся парой фраз с Гидеоном, который тотчас скрылся.

Взводы построились.

Мы тронулись в путь.

Колонна продвигалась осторожно. Нисан приказал разведчикам идти по самому дну ущелья. Когда один из них возвращался, он шел впереди колонны. Хотя разведданные, имевшиеся у Нахума, были вполне надежны, и он хорошо знал, что подступы к командному пункту не заминированы, лишняя предосторожность никогда не мешает. И времени в его распоряжении достаточно. Он ведь начнет действовать только с рассветом, так что волей-неволей придется отдыхать у порога к цели. Поэтому Нисан решил двигаться медленно и то поджидал отставших, то шел во главе колонны.

Безымянное вади, промытое дождевыми водами, было удобным для быстрой ходьбы. Его склоны меж обнаженными ребрами известняков поросли колючками. Нисан с удовольствием шагал по дну вади, настроение у него было приподнятое. Этот Нахум интересный тип, думал он, тут не может быть двух мнений. Долгие часы обсуждали они каждую деталь предстоящей операции, но тот даже не заикнулся, что намерен передать ему командование. Он считал, что Нахум хочет тесного и равноправного сотрудничества, но не более.

И вот, на глазах у всех, он преподнес Нисану сюрприз: принимай командование! И хотя Нисан — человек с боевым опытом и ему не раз приходилось командовать, это назначение особенно приятно, так как было совершенно неожиданным. Нисан даже повеселел, а от прежнего напряжения не осталось и следа. Груз ответственности уже не давил, как тяжелый рюкзак за плечами. Если они достигнут цели, это будет первый боевой успех, который может быть приписан лично ему, начиная от замысла и кончая

планом операции и ее осуществлением. И Тирца обрадуется, а ее радость ему особенно дорога. Что это он вдруг вспомнил про Тирцу? Странно...

... Разведчики донесли: впереди какой-то непонятный шум, и вся колонна застыла. Люди присели на землю — давала себя знать усталость, хотелось расправить члены. Сейчас на первом плане была усталость — результат утомительного перехода, а страх как-то притупился. Но иначе чувствовал себя Нахум. По мере приближения к цели он становился все озабоченнее. На душе было беспокойно. Никогда не угадаешь, как начнется бой, а тем более, как он закончится. Можно победить, а можно и проиграть... Боевая слава и гибель людей тесно переплетаются между собой, они — как близнецы.

Но это ведь наше поле, и он не может уступить его никому. А разве тот заносчивый тип, командир, что увлекается теннисом, человек более ответственный, чем он, Нахум? Если бы отряд повел этот теннисист — было бы лучше? Командование совершило ошибку, не удалив этого выскочку из армии. А поле это — наше!

Все хорошо до первой жертвы... А будут жертвы — уж лучше было бы ничего не затевать. Когда исполняешь приказ того теннисиста — все дозволено, но если действуешь на свой страх и риск — все запрещено. Такова сила мундира. Распространяются ли эти условности на меня?.. Наше священное право — сохранить за кибуцом нашу землю, включить ее в наши границы.

(А этот Нисан совершенно спокоен, будто на учении. Настоящий солдат. Не обманул меня мой нюх и на сей раз. Я верю в успех, только не терпится...)

Нахум встрепенулся: дан сигнал трогаться в путь. Сейчас они продвигались так медленно — сплошная нервозность. "А Нисан нарочно тянет", — подумал Нахум. И действительно, цель была уже совсем близка, и глаз различал очертания холма, возникшего вдруг на горизонте.

Гидеон поднялся на командный пункт с тяжелым рюкзаком на спине: нельзя прийти к солдатам, изнемогающим от безделья, с пустыми руками. Еще днем он отобрал для них фрукты всех видов и сортов. Командный пункт — довольно далеко от плантаций, и ясно, что ребята соскучились по апельсинам.

Взводный встретил его радушно, а пару минут спустя все солдаты радовались неожиданному гостю. Беседа текла по привычному руслу.

— Что это вам приспичило косить это поле? Не хватает кормов для скота?

— А если хватает?

— Тогда не стоит рисковать людьми ради клочка сена.

— Не сено важно, а земля. А самое главное — граница. Если мы уберем урожай, поле останется в наших руках.

— Так уж важно все скосить? Разве это решает?

— Все решает. Скосим — значит, потом вспашем. Это решает.

— Вы, кибуцники, — жадюги известные.

Гидеон решил, что настал час раздачи апельсинов. И действительно, процесс интенсивного насыщения приостановил беседу, и громкое чмоканье прерывалось лишь возгласами восхищения.

— Да, сорта у вас отличные!

— Видно, хватает времени этим заниматься.

— Нет у нас времени. Но хорошие сорта более доходны. В этом все дело.

— Уж вы не промахнетесь. Был кризис в цитрусовом хозяйстве, так вы увеличили насаждения, повозились с ними и подзаработали.

— Боюсь, наши ребята заблудятся.

— С чего это? В открытом поле плутать невозможно.

— Еще как возможно! Дорога-то разветвляется. Одна тропка ведет к Стеклоянному кургану, кото-

рый вы называете Зита, а две других — к вашей высоте.

— Но Зита на юге, а командная высота — на востоке. Как же можно заблудиться?

— Нет там у них хорошего следопыта. Видишь, спускается туман.

— А что делает ваш главный землепашец? Он здесь не заблудится даже во сне.

— Он пошел вперед на разведку в сторону Зиты.

— Один?

— Да.

— Сумасшедший. Он всегда такой.

— Изобретательный.

— А я беспокоюсь. Командует молодой парень. — Гидеон озабоченно почесал затылок.

— Что же ты сам не пошел с ними?

— А если что случится? Он поспешит мне на помощь? Лучше наоборот.

— И то верно.

Кто-то громко зевнул.

— Могу кого-нибудь заменить на карауле, — предложил Гидеон. — Все равно мне спать нельзя. Мы договорились: если что случится, они оповестят ракетой. Так что я должен быть начеку.

Комвзвода, поколебавшись, все-таки оставил часового на посту. Гидеон уселся рядом и начал потчевать его разными байками. Рассказывал — и громко зевал, а затем растянулся на земле и закрыл глаза. Вскоре он услышал рядом громкий храп, порою прерывавшийся свистящими звуками.

Гидеон встал. Сейчас он один бодрствовал на вышке.

Около четырех утра Гидеон разбудил комвзвода и испуганно сообщил:

— Я видел красно-белую ракету. На востоке, очень близко от вашего командного пункта. И он видел — Гидеон показал на часового, которому нелегко было окончательно проснуться. — Он не обманет. Нет со-

мнения, что ребята заблудились. Иорданцы вот-вот откроют по ним огонь. Надо сообщить в часть, чтобы помогли им выбраться.

Комвзвода долго протирал глаза: слова Гидеона не укладывались в его сознании.

— Что значит — заблудились? Ты уверен, что ракета оттуда?

— На сто процентов. Летела из вади, ведущего к вашей высотке. Судя по свету, они сейчас в карьере. Им не выйти до рассвета. Я не был уверен в их командире и оказался прав.

Несуществующая ракета разожгла воображение Гидеона. Но комвзвода долго колебался, прежде чем решился доложить начальству о военном заслоне, который заблудился и чего доброго оказался в пасти льва.

Дежурный офицер в лагере не был таким маловером, как наш комвзвода, и сообщение его очень встревожило. Он тут же позвонил и распорядился, чтобы довольно крупный отряд немедленно отправился на выручку заблудившихся. Были все основания думать, что солдаты попадут туда еще до рассвета.

Факт посылки отряда заставил комвзвода развернуть энергичную деятельность на командном пункте. Он забегал, как ужаленный, усилил караулы, а затем уселся рядом с Гидеоном. Оба молчали, вперив взоры на восток. А восток тоже молчал.

Теперь, кажется, стоит руку протянуть — и они на подступах к Маковому холму. Когда колонна поднялась, чтобы идти дальше, сердца забились сильнее. Нисан шагал впереди по направлению на юго-восток, но спустя несколько минут холм скрылся из глаз, так как они шли по глубокому руслу среди гор, что высились на востоке. Вот тебе и новая загадка! Ведь речь шла о Маковом холме. Куда же они идут?

Янкель даже вспотел от удивления. Он не привык быть у кого-то на поводу. Что тут происходит,

черт побери? Старый авантюрист Нахум вместе с этим сопляком Нисаном могут завести всех в Шхем! Куда это они шагают? Сейчас он подойдет к Нисану и потребует объяснений. Что это — детская игра? Маневры допризывников? Он им покажет!

Но Янкель кипятился, а рта не раскрывал. В спокойствии Нисана есть что-то такое, что лишает тебя свободы действия, но не принуждением. Оно действует на тебя, как старшая сестра, которая одним выразительным взглядом смирят твой гнев. Проходя мимо колонны, Нисан не раз бросал взгляд на Янкеля, а тот так и не заговорил. И откуда у этого Нисана силы бегать взад и вперед, ведь он таким образом проделывает двойной путь. Нет, он, Янкель, не будет спрашивать. На такого можно положиться.

Не скрою, что наше проникновение на вражескую территорию казалось мне совершенно безрассудным, и тайная тревога свинцом легла на все мои чувства. Так как я шагал вслед за Йозлем, то решил обратить его внимание на авантурный характер всей этой затеи. Но в колонне царило полное молчание, и не хотелось его нарушать. Я чувствовал, что Йозль, всецело погруженный в свои мысли, отрешился в эти минуты от реальной действительности. Он педантично выполнит все, что ему будет поручено, и даже проявит некоторую толику энтузиазма. Он уже подвел свои личные итоги и теперь стал неотъемлемой частью коллектива.

А темень все еще густая, и ходьба становится утомительной, так как мы шагаем в гору.

Через полчаса перед нашими взорами встала командная высота Джат. Тут меня охватил страх. Джат господствует над развилкой дорог, и в любую минуту могут подойти вражеские подкрепления.

Но Нисан был совершенно спокоен. Он усадил нас под крутым склоном оврага и приказал отдыхать. По тому, как люди, кряхтя, усаживались на землю, было видно, что все изрядно устали. Пожилые люди из нашего небольшого отряда тяжело ды-

шали. Нисан подозревал Нахума. Вскоре поднялись Ицхак, Йорам и Йоэль и тоже подошли к командиру. Собрание было коротким, и сразу же к командному пункту отправились разведчики. Наш штаб тоже подвинулся в сторону высоты, чтобы прямо на местности подготовить разбивку людей по секторам. Так как было еще темно, им пришлось отойти довольно далеко, чтобы сориентироваться. Вернувшись, командиры присоединились к своим бойцам. Только Нисан и Нахум стояли в стороне.

Усталость дала себя знать. Кое-кто всхрапывал, но тотчас затихал, получив толчок от соседа. Разведчики задерживались. Пока они не вернулись, можно было отдыхать. Я с удовольствием растянулся на каменном ложе.

Но вот разведчики вернулись. Нисан тотчас поднял людей и собрал их вокруг себя. Его речь была короткой:

— Там все спят, включая часового. На командном пункте — не больше взвода. Мы удержим его до подхода воинской части. Гидеон уже сообщил в штаб, что мы заблудились и забрели в Джат. Первым выступает взвод Ицхака. Он идет прямо. Взвод Йорама обходит с правого фланга, а взвод Йоэля — для поддержки со второго захода. Надо спешить, товарищи, скоро рассвет. Пора!

Впереди зашагал Нисан, за ним — Ицхак со своим взводом. Справа шел Йорам. Он и его люди взяли круто вправо, чтобы достичь командного пункта с юго-востока. Йоэль ждал несколько минут, а затем пошел со своими людьми вслед за Ицхаком.

Командный пункт Джат круто вздымался к западу и северу, а к юго-востоку шел покатый, ровный склон. Мы начали взбираться по довольно отлогому косогору. Расстояние было невелико, и мы подымались осторожно и осмотрительно, одна нога на земле, другая — в воздухе. Когда забрезжили первые проблески рассвета, Нисан был на расстоя-

нии броска гранаты от укреплений крутого склона, а Ицхак — в двадцати шагах позади него.

Когда Ицхак приблизился к Нисану, тот уложил всех бойцов на землю, а сам пополз вперед, затем приподнялся и сильно метнул гранату, описавшую в воздухе крутую дугу. Гром взрыва, усиленный многократным эхом, провозгласил конец света. Ицхак поднял своих людей, и они ворвались на командный пункт. В эту минуту Йорам открыл огонь с правого фланга. С командной вышки раздались беспорядочные ответные выстрелы. Когда вторично прогремели гранаты, им откликнулось только эхо — ответного огня не последовало. Взвод Ицхака во главе с Нисаном уже действовал внутри укреплений, но сам Ицхак отстал от своих людей, он держался за живот, затем согнулся и опустился на землю. К нему подбежал Йорам. Он распорядился немедленно подать носилки и спросил Ицхака:

— Куда ранен?

— В живот, — с трудом процедил Ицхак сквозь сжатые зубы.

Тотчас подошли Йоэль и его люди, среди них — Барух с носилками и санитарной сумкой. Настал его черед, и он действовал быстро и уверенно. Забинтовав рану, уложил Ицхака на носилки.

— Кто тут хороший бегун? — спросил Нисан.

— Узи, — ответил Йорам и позвал его. Узи подошел к Нисану.

— Беги в наш командный пункт и гони сюда машину с Гидеоном. Пока доберетесь до вадии, Маковый холм будет в наших руках. Если не увидите нашего флага — ждите в ближайшем укрытии. Действуй!

Узи пустился бежать размеренным шагом, как опытный стайер, умеющий рассчитать свои силы.

— Кто понесет носилки? — спросил Нисан у Нахума.

Нахум вышел из лабиринта траншеи и подошел к Ицхаку, погруженный в раздумье. (Вот наша пер-

вая жертва. Это он, а не ты. Что ты на это скажешь? Как твое самочувствие сейчас? Так-то оно, дружище.)

— Йозль, Зозик, Янкель и я, — медленно ответил Нахум.

— Ты останешься здесь и будешь командовать взводом Йозля. Йорам назначь, кому нести.

Йорам поставил впереди Шломо Гимеля, человека богатырского сложения. Люди с носилками тронулись в путь.

— Идти только этой дорогой, Йозль. И не пытайтесь срезать — машина выйдет вам навстречу, — приказал Нисан.

Из уст Ицхака вырывались приглушенные стоны. Нисан потянул за рукав Нахума, который понуро шел за носилками, и повлек его за собой.

— Нахум, иди в свой взвод. Йорам, ты пойдешь на Маковый холм. Когда вернутся твои разведчики, доложи обстановку. Поторопись. Подкрепление может подойти в любую минуту. Действуй!

Йорам и его взвод уверенно и быстро зашагали вперед. Нисан и Нахум поднялись на командный пункт и начали его переоборудовать.

— Они окопались на запад, мы же должны укрепить восток, — сказал Нисан. — Давай определим первоочередные работы.

Противник бежал отсюда в панике, оставив одного убитого и большую часть оружия и боеприпасов. Пока ребята были заняты укреплением новых позиций, Нисан и Нахум собрали все вооружение в одно место, чтобы потом удобнее было увезти его или взорвать, в зависимости от обстоятельств. Выяснилось, что траншея командного пункта открыта на восток, и отсюда-то и удрали солдаты, кроме того, который был убит на месте. Рядом валялось его оружие.

”У нас один и у них один”, — подумал Нахум, и на душе стало еще горше. (И почему именно Ицхака зацепило, его лучшего друга, такого простого и доброго? Что он скажет его жене Сарре? Сей-

час она в таком состоянии, что никакая логика ее не проймет.)

Но Нисан не давал ему задумываться и торопил, заставляя делать то одно, то другое. Светлая полоска на горизонте все расширялась. Надо спешить. Теперь бойцы тащили глину, камни и другие строительные материалы с запада на восток. Они усиленно копали, возводили укрепления и очень устали.

Йорам двигался с недозволенной скоростью. Он знал здесь каждую складку на местности и решительно вел своих людей напрямик, игнорируя более безопасные, скрытые ходы. Им владело чувство уверенности в победе, то воодушевление, которое охватывает всех при успешном наступлении. "Раз отсюда не ударили, значит, все будет хорошо", — подумал он. Занимался рассвет и, напрягая зрение, можно было уже заметить взвод, штурмовавший Маковый холм. Нисан и Нахум, затаив дыхание, наблюдали за тем, что там происходит. Но вот взвод исчез из их поля зрения, и время замедлило свой бег. Внезапно взвилась красная ракета. С этим сигналом их взвод вырвался из укрытия и выстроился, готовый действовать.

— Да там никого не оказалось! — сказал Нахум со вздохом облегчения. — Все сбежали.

— Вот мальчишка! — процедил Нисан. — Смотри, как он там разыгрался, — добавил он с нескрываемой радостью.

— Надо сообщить в штаб, что холм наш, — сказал Нахум. — Пошлем кого-нибудь с сообщением.

— Ладно. Но что это? Смотри, смотри!

Над Маковым холмом развевался флаг. В нем причудливо сочетались синие и белые пятна.

— Откуда они его извлекли? — удивился Нахум.

— Блуза и сорочка, старый патент, — ответил Нисан, пристально глядя на этот смешной самодельный флаг, который много говорил его сердцу.

Видимо, в ту же минуту флаг заметили на команд-

ной высоте "40": там запустили ракету в ознаменование события.

— Теперь и в части все знают, — подытожил Нисан. — Может, подкрепимся?

— Отличная мысль! Освободи охрану, а затем перекусим и мы с тобой.

Нисан и Нахум продолжали стоять, ведя наблюдение. Взор Нисана был обращен на восток, а Нахум смотрел на запад. Нисан приняховивался, не готовится ли контратака, а Нахуму не терпелось увидеть воинскую часть.

Им не пришлось долго ждать. Едва успели опорожнить несколько банок с консервами, как с востока затарахтели автоматы. Огонь был довольно плотный. А Нахум увидел военные машины, пересекавшие равнину. Солдаты из них выскакивали прямо в вади, которое вело сюда. Спустя несколько минут, которые казались вечностью, заговорили наши минометы. Тут и Нисан устроил "фейерверк" и выпустил несколько мин по гнезду вражеских автоматчиков, которое засек на ближайшем хребте.

— Какие будут приказы? — спросил Нисан подошедшего лейтенанта.

— Возвращаемся, — ответил тот, и в его голосе звучало раздражение.

Нисан выстроил своих людей и повел их на запад. Через несколько минут вражеский огонь утих. Люди ускорили шаг. За нами отходила воинская часть. Враг молчал.

Постепенно напряжение стало спадать. "Они поджали хвост", — сказал Нисан своим людям.

Маковый холм встретил нас радостными возгласами. Сейчас командир части обращался к Нисану с подчеркнутым уважением. Нисан был всецело поглощен изучением местности, чтобы определить, как здесь лучше расположиться. Лейтенант шел вслед, словно уже подчиняясь ему.

— Здесь та же картина — восток обнажен. Перелетим все сюда.

— Да, именно так, — отозвался лейтенант и поспешил приступить к работе.

— Мы вам поможем, — сказал Нисан. — Можете взять в расчет и наших людей. А вот и наши взводные, — он указал на приближавшихся Нахума и Йорама. Те встали рядом с ним перед лейтенантом, который, чувствовалось, слегка растерялся, не зная, как вести себя с этими гражданскими лицами в роли командиров.

Волоча огромный камень, Нисан тихо спросил Йорама:

— Ты сказал ему, что я военный?

— Ты что, считаешь меня круглым идиотом? — обиделся Йорам.

Люди продолжали молча работать. Сказывалась привычка к тяжелому физическому труду. Та часть сооружения, которую они возводили, росла, как на дрожжах. Их усердие воодушевило солдат, и началось негласное соревнование между кибуцниками и военными. Скоро на востоке Макового холма выросли надежные укрепления. Лейтенант был приятно удивлен. Видимо, кто-то успел ему шепнуть, кто возродил к новой жизни этот холм, ибо сейчас он обращался к Нисану с подчеркнутым уважением.

— Теперь можно косить, — сказал Нисан. — Разрешите спуститься?

— Разумеется. Мы здесь останемся до прихода командира роты. Я уже доложил ему, что вы провели отличную операцию.

— Большое спасибо. До свидания, — сказал Нисан. — Было трудно, есть тяжело раненный. Я его сразу же отправил в больницу. Всего хорошего!

Нисан выстроил людей и приказал спускаться по крутому склону прямо на поле. Пересекая поле, они слышали мерный шум косилок. Нахум, который ходил понурый и подавленный, словно только очнулся. Он выпрямился и оглядывался по сторонам, как ищейка, почуявшая беду. Через мину-

ту он уже мчался в ту сторону, откуда раздавался грохот машин.

— Что случилось, Нахум? — крикнул ему вдогонку Нисан.

— Косят по влажному, партачи! Куда теперь спешить?

Среди людей возрастала тревога за раненого друга. Ицхак был одним из тех краеугольных камней, на которых стояло здание кибуца. Есть такие колонны, красота отделки которых превосходит силу их прочности. Ими можно любоваться, но строить на них рискованно. Не таков Ицхак. Не столь уж часто звучит его голос, но ты всегда видишь его на самых трудных участках, он таскает тяжелые грузы, но шагает впереди, да еще помогает другим. Его голоса не услышишь среди хора энтузиастов, зато он не теряет мужества и самообладания в час неудачи и бедствий. Он твердо стоит на ногах, трезво оценивает обстановку, действует спокойно и уверенно.

Кто не любит Ицхака? Есть ли человек, который затаил бы против него неприязнь? Вряд ли такой найдется. Еще стучит в висках шум победы и усталость притупляет чувства, но скоро всем становится известно: Ицхак ранен в живот, состояние тяжелое. Эта весть ошеломляет. Лица мрачнеют, головы опускаются, и люди спрашивают друг друга:

— Звонили в больницу?

На командном пункте "40" их ждал грузовик, а также тендер, привезший секретаря кибуца, фельдшерицу и еще несколько человек. Опасение за жизнь Ицхака заставило их бросить все дела и примчаться сюда. Кто их разбудил? Видимо, секретарь кибуца Шимеон Даган. Он потерял покой, дав разрешение на эту авантюру.

Нахум успел приостановить работу косилок и сейчас спешил к собравшимся. Ему навстречу бросился Шимеон.

— Где машина?

— Ушла в больницу с раненым.

— Кто?

— Ицхак... В живот... Будем надеяться...

Шимеон смотрел вопрошающе и молчал.

— Кажется, ранение тяжелое. Езжай в больницу и жми на все педали, — сказал Нахум.

Никогда еще Шимеон не видел Нахума таким растерянным, и в его сердце проснулась жалость к человеку, который всегда напоминал ему огнедышащий вулкан, а сейчас сам нуждался в поддержке.

— Там, где командует доктор Коган, я буду лишним, — пытался Шимеон разрядить обстановку.

Но когда Нахум стал настаивать, Шимеон предложил:

— Давай, поедем вместе.

Он верил, что в случае необходимости Нахум поставит на ноги весь персонал больницы.

— Не могу. Во-первых, не помечены на поле места, где есть помехи для машин. Я послал за кольями, чтобы их пометить. Во-вторых, могут начать косить, пока роса не высохла. Надо подождать.

— Как же ты собирался косить, когда поле не размечено?

— Думал, буду бежать впереди косилок и стоять на тех местах, которые надо обойти. Езжай, Шимеон, не теряй времени. И возьми с собой Сарру.

Шимеон уехал. А тем временем Нисан привез на грузовике своих людей. Вдали показался джип и затормозил у грузовика. Из джипа вышел майор и спросил, где Нахум.

— Вот он, — ответил Нисан.

Нахум подходил торопливо, на ходу приветствуя майора.

— Что случилось, Нахум? Как ты мог заблудиться? — спросил офицер, и на его лице было неприкрытое удивление.

— Это я заблудился, — ответил Нисан, — опередив Нахума.

Почувствовав, что его слова не возбуждают доверия, он добавил с улыбкой:

— В конечном итоге мы оба заблудились.

Немного подумав, майор сухо ответил:

— Все это не так просто. Теперь неприятностей не оберешься. Сегодня-завтра будет подписано соглашение о перемирии. Все не так просто.

— А отрезать орган от живого тела — это просто? — спросил Нахум, подойдя к нему вплотную. — Отдать противнику безо всяких серьезных причин несколько тысяч дунамов — это просто? Оставить искривленную границу, которую враг легко покрывает огнем сверху — это просто? Если так, то и заблудиться на местности — очень просто. Я заблудился ночью, в кромешной тьме. Но и блуждать надо умеючи...

— Вижу, вижу, — ответил майор, усмехнувшись. — Во всяком случае, подготовьтесь к серьезному разбору в штабе командования.

— Наши дети смогут собирать здесь маки будущей весной? — спросил Нахум с тревогой в голосе.

— Надеюсь, что так, — ответил майор, с уважением глядя на Нахума.

Нисан, который чувствовал себя неловко в присутствии офицера, хотя и был в гражданской одежде, стоял в стороне. Нахум с любовью взглянул на него. Это был взгляд однополчанина и товарища по оружию. Он сказал:

— Если так, значит, у нас отличная армия.

Пока Нахум помечал вешками камни, угрожавшие ножам косилок, стало жарко. Когда он, обливаясь потом, закончил работу, перед его мысленным взором внезапно встал Ицхак. Но какая-то серая пелена мешала взглянуть в его лицо. Ицхак!.. (Он сейчас борется за свою жизнь, а ты косишь сено. Жестокости законы текущей жизни, но, может быть, это хорошо, что они не дают возможности задуматься, остановиться. И после меня по этому полю будут ходить люди, пахать, сеять, убирать урожай, будто ничего не случилось. Душа моя здесь расцветает, а когда Ты приберешь меня, она будет цвести одна,

будто я для нее лишний. И хорошо, что так, потому что мое бытие заметно только в моих делах, и только они существенны. А все остальное — пена, что оставляют после себя волны. Благо Ицхаку, приложившему свои руки к этому полю, и горе белоручкам, что копят небо. Ицхак будет жить, он должен жить, без него здесь все пожухнет.)

Он забрался на косилку, запустил ее, остальные тоже запустили машины и поехали вслед. И вот уже первая машина ворвалась в густые травы, вгрызаясь в них жадно, со страстью. В сумасшедшем ритме сверкают лезвия, а шатун вычерчивает причудливые круги под оглушительный шум моторов.

Эта музыка по душе Нахуму. Она ласкает его слух.

Перевел с иврита А. Белов.

ХАНОХ БАРТОВ

ХАНОХ БАРТОВ родился в 1926 году в Петах-Тикве. Во время Второй мировой войны ушел добровольцем в Еврейскую бригаду, в период Войны за Независимость служил в Армии Обороны Израиля. После окончания Иерусалимского университета был в течение ряда лет членом кибуца Эй-н-Хахореш. Широкую известность принес ему роман "Возмужание" (1965), неоднократно переиздававшийся и переведенный на ряд языков, в том числе и на русский.

НАШ ТОВАРИЩ ЛАХАДАМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ВОЙНЫ*

1

Следует, пожалуй, рассказать, что было у нас в кибуце, когда Лахадам вернулся с войны. Известное дело, пот изматывает душу хуже самой страшной жары. Выше шеи ты жаришься в печке, а ниже — варишься в котле. Те, что работают в поле или под жестяным навесом, движутся, как в кадрах "замедленной съемки", а те, что не работают, растянулись на полу в своих комнатах, сбросив одежду, оставляя повсюду влажные пятна. Двор пуст и сер, будто из него выкачали воздух. Перечные деревья на утрамбованной площадке у входа в столовую стоят запыленные, поблекшие, как старая декорация. Живой души не видно, кроме папаши Шляй-

*Глава из рассказа "Наш товарищ Лахадам".

фера, гордо шагающего к автобусу, чтоб принять мешок с почтой.

В это-то время — на часах было четверть двенадцатого — показался Лахадам. В солдатской одежде с колбасообразным мешком за плечами шагал он мимо душевой, мимо вещевого склада, направляясь к столовой. И вот он замечен. Может, первыми увидели его люди, собиравшие солому, — закончив выгружать телегу, эта бригада раньше всех пошла обедать. Возможно, дворový рабочий Зеэв первым заметил его через решетчатое окно склада. А может быть, на него обратили внимание девушки, работавшие на складе одежды. Очевидно одно — зной словно сразу испарился. Все разом ожили. Те, кто его увидели — побросали все и ринулись в столовую, остальных же успели оповестить. И когда Лахадам переступил порог столовой, за ним уже валом валил народ.

Нет нужды разъяснять, что привлекло в столовую весь кибуц. Видно, несмотря на все его чудачества, мы любили Лахадама и радовались его возвращению. Несомненно повлияли также разговоры, которые велись у нас в течение последних недель. Все хотели своими глазами и притом немедленно узреть, как он теперь выглядит. Шум и толчея, веселое оживление и радостные возгласы напоминали карнавал.

Но то, что мы увидели, повергло всех в изумление. Без сомнения, это был он, Лахадам. Невозможно ошибиться, тем более, что он стоял посредине, смеялся, радовался каждому, с одними целовался, с иными дружески боролся. И вместе с тем это был не он. Встретив на улице в Тель-Авиве, я бы его, пожалуй, не узнал. Будто грубая рабочая блуза, сданная в прачечную, вернулась оттуда в виде нарядной субботней рубашки... Итак, во-первых, одежда: накрахмаленное и выутюженное до блеска хаки — не полотно, а кованый металл. Не только одежда — и лицо будто накрахмалено и выглажено. Куда делась пыль в морщинках, тянувшихся из уголков глаз до ушей? Куда делись сами морщинки? Откуда блеск и смешинки в глазах?

И этот звонкий голос, перекрывающий все другие? Четыре года прошло с тех пор, как его мобилизовали, три года с того дня, когда мы видели его в последний раз, а он как будто помолодел! Можно сказать, красивый представительный мужчина.

Сам он, казалось, не чувствовал происшедшей с ним перемены. Ведет себя, будто никогда не уединялся в своей конуре, словно всегда был общительным рубахой-парнем. И ребята, увидев его, издают возгласы удивления, соло или хором, потом пускают в ход локти, прокладывая к нему дорогу, чтобы вблизи удостовериться в перемене. Вокруг него образовался шумный возбужденный кружок. Ближайшие к Лахадаму люди подтянули стол и подняли гостя наверх. Другие подтянули стулья и сами взобрались на них. Столовая, как всегда в этот час дня вымытая и готовая к обеду, превратилась в гудящий улей.

Вот появился Шмарья. На ходу он вытирал лысину, уже покрывшую большую часть головы. Приблизясь к кружку, вытянул короткие, толстые руки, пробиваясь сквозь толпу. Лахадам, охваченный волнением, соскочил со стола, обнял Шмарью и поцеловал в обе щеки. Да и Шмарья уже тоже не владел собой и горячо расцеловал Лахадама. Тут радость встречи достигла апогея. Лахадам пробормотал пару слов о том, как он счастлив, вернувшись домой, удостоиться такого приема. Кто-то сказал приветственную речь: его, мол, ждет дом, и хозяйство в нем нуждается. Потом Шмарья взял его за руку и потянул за собой. Тем, кто хотел его задержать, он бросал на ходу: "Дайте ему отдохнуть. Вечером, вечером".

И действительно, весь день Шмарья и Феля стояли на страже, не позволяя надоедливym друзьям входить в новую комнату Лахадама. Особенно старалась Феля. Принесла ему на подносе обед, как больному, притащила вещи со склада, расспрашивала о здоровье, говорила, как хорошо он выглядит и как рад весь кибуц его возвращению. Старалась, чтобы он чувствовал себя, как дома; это, по ее мнению, — главное в абсорбции

товарища. "Не думай только, — прибавила Феля, шаловливо улыбаясь, — что все это лишь в твою честь". Она ведь — глава комиссии по приему демобилизованных и занимается всем этим в силу своих обязанностей. И все-таки она рада, что он так хорошо выглядит. "А как мы тебе нравимся?" — добавила она с тонким намеком.

Лахадам сказал ей и Шмарье, как все ему здесь нравится. Он очень взволнован, шутка ли сказать, вернуться домой после четырех лет отсутствия... Этой минуты он боялся: какими глазами он увидит кибуц и как кибуц посмотрит на него... Но только теперь он знает, что такое кибуц. Где еще на свете солдат возвращается, как здесь — домой, к друзьям, на свою работу? В каком другом месте видит такой сердечный прием? И как все здесь красиво — белые дома, что построены в конце цитрусового сада; зеленые лужайки, покрывающие всю территорию, будто нет летнего зноя, сжигающего растительность. "Красиво, очень красиво, Феля", — говорил он.

Это было днем, а вечером стихийно возникла вечеринка в его честь, принесли пироги, лепешки, кофе. Ребята расспрашивали, Лахадам рассказывал. Рассказывал и о том, о чем не спрашивали, — о войне, о беженцах. Он хорошо рассказывал, этот Лахадам, из которого в прошлом нельзя было слова вытянуть. А мы сидели, разинув рты, беспрестанно вопрошая самих себя, что же произошло.

Но нам были суждены и новые сюрпризы. Немного погодя мы увидели Фелю, входящую в столовую с гитарой Лахадама, той самой гитарой, которую слышали лишь ночные сторожа, проходившие мимо его конуры. Лахадам не заставил себя упрашивать. Столы были сдвинуты в сторону, и ребята уселись в кружок. Он взял гитару и заиграл, и эта музыка тоже говорила о пройденном за четыре года пути. Шотландские мотивы, итальянские романсы, французские песенки... Он играл, а ребята вполголоса подпевали. Потом стал играть забытые мотивы, те, что мы пели в год поселения на

этой земле, шестнадцать лет назад. Из тех, что он играл когда-то в своей конуре и которые слышали лишь ночные сторожа. А затем Лахадам встал и собрался уходить, но ребята ему не дали. Они хотели его слышать и, возможно, еще долго, долго смотреть на него, чтобы окончательно удостовериться: человек, которого они знали в течение двенадцати лет, вернулся к ним совсем другим, полной противоположностью себе самому. Так сидели до двух часов ночи, а может быть и больше. Когда последние из друзей провожали Лахадама в его новую комнату, в воздухе стоял запах скошенной травы и поливных лугов, а над домами высился мертвенно бледный июльский месяц. Хмель этого странного дня понемногу выветривался, и люди чувствовали, что метаморфоза, происшедшая с Лахадамом, им сейчас еще менее понятна, чем раньше. Некоторые испытывали даже чувство вины перед этим парнем за двенадцать лет, прожитых им в жалкой конуре. Следует, пожалуй, добавить, по правде говоря, что нам понравился этот новый Лахадам. Но также будет правдой, что он вызывал у нас и некоторые опасения, настороженность и недоверие, с которыми обычно относятся люди ко всему чуждому и непривычному, проникшему в их среду.

2

То, что случилось в последующие недели, не мерещилось и во сне даже самым подозрительным из нас. Более того, мне кажется, нет этому примера и подобия ни в нашем кибуце, ни в каком-либо другом.

Лахадам был еще солдатом. На следующее утро он поехал в Реховот, чтобы демобилизоваться по всем правилам. И лишь вернувшись вторично, он стал, как все мы. Вместо накрахмаленной военной формы на нем было наше хаки, полинявшее в стирке, и довольно ветхая зеленая гимнастерка. Но лицо осталось выжужженным и смеющимся. Вернувшись, он привез, как все солдаты, разные пакеты и свертки.

Всем известно, что в тот год были поколеблены некоторые из наших освященных годами принципов и традиций коллективизма. Не в каждом кибуце готовы были начать войну из-за какого-то радиоприемника, электрического чайника и прочих мелочей, которые демобилизованные солдаты привозили своим женам. Впрочем, на этот счет наш кибуц считался строгим. У нас, например, сохранялась полная коммуна на складе одежды много лет после того, как ее отменили в других кибуцах. И насчет денежных премий, которые получали демобилизованные, у нас было собственное мнение. Кто-то предложил (а Дов энергично взялся за дело) построить на эти деньги купальный бассейн — подарок демобилизованных солдат кибуцу. Можно, разумеется, смеяться над Довом и говорить, что есть люди поумнее. И все-таки не быть многим праздникам и таким мероприятиям, как "День детской игрушки", если б не он. А что уж говорить о бассейне! Когда бы нашлись на это в кибуце лишние деньги? Но если есть такой Дов, который поднимает шум и конфискует все солдатские премии в специальный фонд и организует работу в неурочное время, — можете быть уверены, что бассейн будет построен.

Когда Лахадам развязал свои тюки, выяснилось, что все, что он привез, относится к числу недозволенных вещей: радиопатефон с пластинками, электрокофейник и сервиз для кофе, целая библиотека художественных альбомов, вышитые подушечки и большой ковер — метр восемьдесят на метр восемьдесят. Это выяснилось сразу, так как Лахадам и не пытался что-либо скрыть и даже не потрудился посоветоваться с секретариатом.

Нечего и говорить, что кибуц был потрясен. Но с другой стороны, всем как бы полегчало, так как стало ясно, что Лахадам остался тем же чудаком, каким был. Он, пожалуй, коренным образом не изменился, только стал чудить по-другому. Мы реагировали на его поведение иначе, чем у нас принято. Если бы так

вел себя кто-либо другой, ему бы сказали без обиняков: "Товарищ, это не пройдет!" Но с Лахадамом — иное дело.

У нас принято: в тех случаях, когда не стоит шуметь, несколько уважаемых членов кибуца собираются у Шмарьи. Хотя он в то время не занимал официального поста, в таких делах на него всецело полагались. Дов и Гинка тоже участвовали в этом совещании. Дов — потому что поведение Лахадама подрывало его планы мобилизации солдатских денег, а Гинка — в качестве главы педагогической комиссии. По правде говоря, Гинка настоятельно требовала обсудить этот вопрос и даже включить его в повестку дня очередного коллективного собеседования. Только после того как секретарь Миха сказал, что это деликатное дело надо тщательно взвесить и обдумать, она согласилась на неофициальное совещание. Миха пригласил и Танхума, который всем известен как рассудительный парень. Он сделан из такой материи, что воспламеняется только при очень высоких температурах. И Феля, конечно, участвовала.

Начал Миха, секретарь кибуца. У нас еще будет возможность рассказать о некоторых его особенностях. Пока скажем только: речь у него мягкая, ласкающая ухо. В силу разных причин некоторые сомневались, достоин ли он своего высокого поста. Но вскоре все признали, что год его пребывания в должности секретаря был самым бесконфликтным в истории кибуца — у нас почти не возникало кризисов.

Единственным исключением было дело Лахадама, но и здесь виноват был не Миха. Ведь никто другой не смог бы сделать больше, чем он, чтобы погасить в зародыше назревавший кризис.

Итак, первым выступил Миха. Он сказал, что его, как и всех, удивляет поведение Лахадама, который не счел нужным даже посоветоваться с ним, или со Шмарьей, или с другими товарищами, грубо нару-

шив основные принципы кибуцианской жизни. Вместе с тем, тут же добавил Миха, можно его понять. Лахадама нельзя считать заурядным товарищем. Истинное испытание для кибуца — не в перевоспитании обыкновенного, рядового товарища, а в победе над незаурядной личностью. Все мы хорошо знаем Лахадама. Мы знаем, что нелегко ему, уже немолодому человеку, вернуться в ту колею, по которой он шагал до мобилизации. И раньше мы твердили, что путь его отнюдь не прям и гладок. Теперь мы все знаем, что даже Лахадам не смог устоять против искушений. Для нас это урок: если мы строим плотину, не забывая о дренаже, в конце концов вода прорвется и образует болото. Как бы там ни было, — закончил Миха свое выступление, — мы должны это дело обсуждать конструктивно. Надо понять, что дело идет о хорошем товарище и одиноком человеке, позволяющем себе разные мелкие отклонения от норм морали. Они служат ему как бы суррогатом тех по-настоящему хороших вещей, которые у нас имеются, но которых он, к сожалению, лишен.

Миха улыбнулся, и тяжелая атмосфера, характерная для подобных обсуждений, сразу разрядилась. Надо заметить, что тут была со стороны Михи двойная игра, и сказанное частично касалось его самого. Было известно, что сам Миха тоже подвержен искушениям, но у него это получается как-то естественнее. Это началось у него давным-давно, и последним искушением была Марта...

Но тут выступил Дов, задержав всех у самого входа в западню, расставленную Михой.

— Придерживаясь этой логики, куда придет коллектив? Что с нами будет, если каждый из нас начнет развивать в себе такие потребности? Куда мы придем? Представьте себе, например, что завтра я и Гинка разведемся и станем "одинокими". Так что? Разве каждый из нас потащит к себе в квартиру радиоприемник, электрический чайник, ковры?

Гинка тоже считала, что никак нельзя уступать Ла-

хадаму, хотя бы с воспитательной точки зрения. Она подстрекала Дова.

— Тут речь идет не о радио, — сказала она. — Кибуц умеет идти навстречу товарищу, у которого особые потребности. Мы не скупые. Я считаю, и могу это доказать, что потребности Лахадама совсем иные. В его поведении много ребяческого, инфантильного, и каждый, кто хоть немного знает психологию, видит это. Та жалкая лачуга в роще, и эта шикарная, напоминающая игрушку комната, которую он себе сейчас оборудовал, — две стороны одной монеты. Кибуц должен помочь ему в конце концов повзрослеть, а не подчиняться его капризам. Нельзя ни на минуту забывать, что каждое общество обязано поддерживать механизм самообороны и упорно защищать свои основные ценности, иначе оно рухнет, как стол, изъеденный жуком. Нет, она не предлагает вызвать Лахамада и потребовать, чтобы он сейчас же сдал все кибуцу — это может лишь увеличить в нем дух сопротивления. Она настаивает на первом своем предложении — провести принципиальное обсуждение вопросов коллективизма и равенства, сделав в заключение выводы, обязательные для всех.

Гинку не прерывали. Гинка не из болтливых, но когда начнет излагать свою позицию, ее не остановишь, пока сама не выбьется из сил.

Когда кончила Гинка, Миха дал слово Шмарье, но тот хотел, чтоб раньше высказался Танхум.

Танхум не возражал Дову и Гинке. Он даже отметил, что такое обсуждение на общем собрании — не текущих дел, а большого принципиального вопроса, будет очень полезно. Он согласен с Гинкой, что не следует сразу обсуждать два вопроса — конкретный и принципиальный. Взрослым людям, — добавил он, — присуща умеренность. В молодом кибуце аналогичное дело могло бы повлечь за собой исключение парня, а затем — целую цепь конфликтов и в результате — серьезный кризис.

— Я считаю, — сказал Танхум, — что причины того,

что Лахадам резко изменил свое поведение, очень глубоко (на это намекала Гинка, — поспешил он добавить). Поэтому надо набраться терпения и занять выжидательную позицию. Возможно, у него (как заметила Гинка) имеется какой-то душевный изъян. И что отсюда следует? Когда один из наших ребят стыдился из-за физического изъяна ходить в общий душ, разве мы не установили — еще тогда, в самом начале пути, — личный душ возле его комнаты? Разве это противоречит нашим принципам? И вообще, — сказал Танхум со своей особой манерой говорить, почти бормоча и пожимая плечами, будто разговаривая с самим собой, — чего, собственно, опасаться? Если у нас все в порядке, — один человек нас не испортит и не переубедит... Подождем и увидим...

Кибуц решил обождать, хотя некоторые — с Довом во главе — жаловались, что это не принципиальный подход, а гнилой оппортунизм. Боязнь, как бы не нарушили нашего спокойствия.

— Потакать товарищу, — сказал Дов, — плохой девиз, висящий как Дамоклов меч над головой коммуны.

Как бы там ни было, эти товарищи остались в меньшинстве, большинство же согласилось: к Лахадаму надо быть снисходительным. Ведь ребята не могли свыкнуться с мыслью, что Лахадам так изменился. И вот они обнаружили, что это тот же Лахадам, и готовы были идти на жертвы ради нашего бедного Лахадама.

Но прежде, чем мы успели осмыслить глубину проблемы, произошло самое скверное, такое, что не снилось и заядлым пессимистам.

Лахадам обставил комнату, найдя всему свое место, надел чистую спецовку и вернулся на свою любимую работу — во фруктовый сад. И те, кто встретили его вначале так шумно, а затем отшатнулись, когда Лахадам столь грубо нарушил нормы нашей кибуцианской жизни, сейчас уже не бойкотировали, а навещали его. Весьма возможно, что многие шли к нему в комнату,

дабы лично удостовериться в справедливости толков и слухов.

Лахадам принимал всех дружески, показывая электропатефон и пластинки, вынимал фарфоровые чашечки и варил турецкий кофе на своей электрической кофеварке, угощал новозеландскими лепешками, приготовленными на масле. Потом выстраивал на столе, как на параде, бутылки с крепкими напитками: для парней — бренди, кубинский ром и водку, для девушек — яичный бренди, ликер кюрасо или вермут. Он всех уговаривал выпить с ним "лехаим" и заводил патефон; одним словом, всю старался, чтобы гости не скучали. Такое времяпрепровождение было нам чуждо, и люди обычно довольствовались одним визитом. Не большое это удовольствие — сидеть у него на веранде в центре кибуца, у дорожки, ведущей в столовую, пить спиртное, шуметь, подпевая патефону. По правде говоря, в этом мало радости.

Ребята перестали ходить к Лахадаму, но комната его не опустела. Этот факт был замечен не сразу, так как не сразу прояснилась атмосфера, сгустившаяся после возвращения Лахадама в кибуц. Но когда ребята узрели, что здесь происходит, у них замерло сердце. Вдруг выяснилось, что комната Лахадама превратилась в женский центр! Да, да, комната Лахадама притягивала девушек кибуца, как магнит. "Клуб" — так называл ее Дов, по-прежнему сердитый на Лахадама.

Трудно описать веранду Лахадама в те летние вечера, когда там собирались Феля, Ольга, Марта, Густа, Элишева и другие наши девушки. Одни приходили, другие уходили, но их громкий смех звучал над кибуцем от края до края. Трудно повествовать о тех днях, так как все мы ходили, как в воду опущенные. Трудно об этом говорить, так как вся история звучит неправдоподобно, и каждый кибуцник, или бывший когда-либо кибуцником, готов поклясться, что такое вообще не могло произойти. Но это же факт. Вдруг все увидели, что наш Лахадам, которого раньше и за мужчину-то не считали, морочит голову нашим девушкам, отвле-

кая их от комиссий, заседаний и других общественных дел, да и от семейных забот тоже. Каждый свободный час они собирались у него.

Вот какое зрелище открывалось каждому, кто проходил по дорожке мимо его квартиры (а кто, спрашивается, не ходит вечером по этой дорожке?). На освещенной веранде — стол, несколько табуреток и ящиков. Дверь в комнату открыта, и патефон играет без перерыва, а когда умолкает патефон, Лахадам берет гитару и перебирает струны. Запахи кофе разносятся по всей территории — ведь каждый знает, как далеко разносятся в летние вечера ароматы, а тем более доброго кофе. В углу гудит примус — там варятся в большом горшке кукурузные початки, также испуская дразнящие запахи, особенно для натянутых нервов. На столе виноград, который Лахадам ежедневно приносит с работы, или ломти арбуза, или миска со сливами сорта "Санта-Роза", которые еще не размякли на солнце. А над всем этим витает девичий смех. Громкие его раскаты, то и дело, как ножом, пронзают сердца парней. "Они уже смеются", — говорит Дов каждый раз, когда слышит разрывы смеха.

Вот что открывалось нашим глазам каждый вечер. Но это еще не объясняет, как дошли мы до жизни такой. Этой беглой зарисовкой не передать глубину ощущения, которое постигло кибуц, когда он понял в конце концов, что происходит. И это не случайно. В наших представлениях Лахадам и женщины были понятия несовместимые. И поэтому никто не знал, как и чем удастся ему завоевывать их сердца. А что касается самих девушек, то они молчали. Говорили только те из них, которые осуждали его, как, например, Гинка. Надо отдать ей должное — она не попала в его сети. Более того, — она первая подняла тревогу, может быть потому, что была женщиной. Это произошло в один из субботних вечеров. Последние товарищи кончали ужин, дежурные успели убрать посуду со столов и подмести пол. Люди начали собираться на традиционную еженедельную беседу. Миха пришел раньше обыч-

ного, держа в руках книгу протокольных записей. Подошел к нашей "западной стене" — к столу, находившемуся посередине, где по традиции сидел секретарь кибуца на собраниях. Все расселись полукругом вокруг него.

Вдруг энергичным, размашистым шагом вошла Гинка. Задержалась на минутку. На лбу проступили вертикальные морщинки — от серых глаз до корней зачесанных назад, собранных шпильками волос. Увидев Мишу, который двигал стол, она подошла к нему.

— Миша, — сказала Гинка. — Я прошу дать мне первой, сейчас слово.

— Что случилось? — спросил Миша, сдержанно понизив голос, как педагог с учеником, который пришел жаловаться. Одновременно он придвигал к столу стулья.

— А что еще должно случиться, Миша, чтобы ты понял серьезность ситуации? Дети, дети меня спрашивают, что происходит каждую ночь у Лахадама в квартире?

— А! — воскликнул Миша, дружески обняв ее одной рукой и улыбнулся. — Ты же знаешь, — дети любят спрашивать. Будь терпеливой, Гинка.

Из кухни вышла Марта, разгоряченная, в переднике, прикрепленном резинкой к коротким брюкам. В руках она держала длинную метлу. Пересекла столовую, намереваясь подмести вестибюль, что означало конец вечерней смены в столовой.

— Если у тебя, Миша, хватает терпения, — пожалуйста. Что касается меня, — я сыта по горло и не хочу больше срамиться. Прошу слова для личного заявления.

— Мы поговорим об этом, Гинка, — сказал Миша, уже не слушая, и направился вслед за Мартой.

— Миша! — крикнула Гинка, но он только улыбнулся, махнув рукой:

— Поговорим об этом, Гинка. Обсудим на секретариате хоть завтра утром, если хочешь.

Миша вышел. Гинка осталась стоять ошарашенная.

Те из ребят, что следили за беседой, не могли удержаться и тихонько хихикали.

— Смейтесь, смейтесь! — огрызнулась она. — И ваши дети будут брать с него пример, да и с секретаря кибуца тоже!

Энергично шагая и гордо подняв голову, она вышла через заднюю дверь столовой.

В тот вечер до обсуждения не дошло: Гинку вызвали на срочное совещание учителей, посвященное организации работы в новом учебном году. Возможно, впрочем, что она намеренно отсутствовала на собеседовании, желая подготовить общественное мнение. Когда окончилось совещание учителей, и она по пути домой проходила мимо квартиры Лахадама, там все шло своим чередом, будто нет сегодня ни традиционного собеседования, ни совещания. Веранда была ярко освещена. Девушки сидели и смеялись, а Лахадам наигрывал на гитаре легкомысленную мелодию из репертуара французского кабаре. Гинка не выдержала, повернулась и пошла к Шмарье.

Собеседование уже окончилось. Шмарья сидел, придвинув настольную лампу, и читал книгу. Гинка постучалась и вошла в комнату.

— Шмарья, — сказала она. — Я должна с тобой поговорить о важном деле.

Из-за жары Шмарья был в сорочке. Густые волосы покрывали его спину и плечи, как черная трава. Он поднял глаза, приложил свои короткие пальцы к груди и ничего не сказал. Гинка не стала ждать, придвинула табуретку и уселась рядом.

— Шмарья, ты видишь, что происходит в комнате у Лахадама?

Шмарья молчал, почесывая грудь.

— Я говорила об этом с Михой. Я требую поднять этот вопрос на очередном собеседовании.

— А что сказал Миха? — спросил Шмарья.

— Миха! Что может сказать Миха? Оставил меня посреди столовой и побежал за Мартой.

Шмарья усмехнулся, но ничего не сказал.

— По сути дела, — добавила Гинка, — Миха меня не удивляет. Сейчас, когда Ольга проводит все вечера на веранде Лахадама, кто может удержать Миху от поступков, которые делают его всеобщим посмешищем? Ведь Марта над ним издевается.

Тут уместно сказать пару слов о Марте. Она появилась у нас недавно, примерно через полгода после окончания войны. Она была одной из немногих уцелевших после катастрофы, постигшей евреев Восточной Европы, и, прибыв в страну, приехала сразу к нам. Наш кибуц был единственным местом, где она могла пустить корни. Мы ее не знали, но знали и любили ее брата. Эдек был одним из наших халуцов-пионеров в Польше. Очень способный, беззаветно преданный делу юноша. Уже тогда он был одним из самых выдающихся в молодежной сионистской организации, и если бы уехал с нами, далеко бы пошел. И не только благодаря способностям, но и потому, что пользовался любовью всех, кто его знал. Но перед отъездом врачи нашли у него тяжелый порок сердца. Только тот, кто пришел в кибуц через юношескую организацию и молодежное движение, может понять всю силу удара, постигшего нас и Эдека. Мы хотели, чтобы, несмотря на болезнь, он поехал с нами. Но Эдек сказал, что ему не вынести такой жизни, где все будут трудиться, а он — сидеть у нас на содержании. Договорились, что он немного повременит, посмотрит, как обстоит дело с болезнью, обучится подходящему ремеслу, а затем присоединится к нам. Мы все время держали с ним крепкую связь, несмотря на обстоятельства, нас разъединившие, считая его одним из наших. Посылали ему все публикации кибуца, делились успехами и каждое письмо кончали выражением надежды на скорую встречу. Но этому не суждено было сбыться. Врачи уверяли, что он выздоровеет, но болезнь его одолевала. Годы шли, вспыхнула война, и она вырвала с корнем родные очаги и всех наших близких и любимых.

Не удивительно, что, когда появилась Марта, кибуц охватило волнение. Хотя она была младшей в семье,

и наши ребята помнили ее девочкой лет девяти-десяти, все относились к ней с большой любовью. Истины ради надо сказать, что добрая память ее брата, которую она олицетворяла, сыграла немалую роль. Но и сама она была милой и симпатичной. Ей было лет двадцать пять, когда она к нам прибыла, и она сохранила свою девичью прелесть, будто не пережила всех этих ужасов. Ее нельзя было назвать красавицей, но в ней было так много обаяния, что каждый мужчина мог в нее влюбиться. Была она сдержанной и замкнутой, возможно, по застенчивости, возможно, из чувства собственного достоинства. Она полюбилась нашим парням, особенно Михе.

С первой минуты Михе стал ее покровителем. В первых, потому что был уже тогда секретарем кибуца и, так сказать, его долгом было поддерживать новичков, помогать им прижиться. Но и не будь Михе секретарем, все равно бы он ей покровительствовал, так как обладал свойством влюбляться в каждую прибывшую к нам молодую девушку. Таков уж Михе. А Марта была на десять-двенадцать лет моложе наших подруг, в том числе и его Ольги. Другой вопрос — отвечала ли Марта ему взаимностью. На этот вопрос трудно ответить. Марта, как и брат ее Эдек, любила всех, и, может быть, поэтому каждый любил их обоих. Большого мы не знали. Были основания думать, что в конце концов она выйдет замуж за Гиору, который любил ее истинно, всем сердцем, как может любить молодой парень. Может, мы думали так, потому что этого хотели. А может быть, потому, что жалели Ольгу, которая уже много лет изнывала от ревности: ее Михе беспрестанно в кого-то влюблялся. Мы опасались, как бы Марта и впрямь не запуталась в своих отношениях с Михой. Кроме того, Гиора подходил ей больше, и связь с Мартой укрепила бы его связь с кибуцом, пока еще довольно шаткую.

Как бы там ни было, такова была Марта и таково ее место в кибуце в тот час, когда Гинка вторглась в комнату Шмарьи. Потому-то и сказала она: "Сейчас, когда

Ольга проводит все вечера на веранде Лахадама, кто может удержать Миху от поступков, которые делают его всеобщим посмешищем? Ведь Марта над ним издевается". Был тут и намек: "И твоя, Шмарья, Феля в той же компании".

Но Шмарью не легко поймать на удочку. Он продолжает молчать, только слегка приподнял носок туфли, будто хотел на него взглянуть, затем опустил его на пол.

— Шмарья, мы обязаны что-нибудь предпринять, — сказала Гинка.

— Что ж ты собираешься делать? — спросил Шмарья.

— Если быть человеком ответственным, надо признать, как бы жестоко это ни было, — Лахадаму среди нас не место.

— Ты преувеличиваешь, Гинка, — медленно произнес Шмарья, и Гинке показалось, что он улыбается.

— Очень забавно! — сказала она громко. — Скоро мы станем посмешищем всего движения. Нашим детям стыдно будет сказать, из какого они кибуца! А ты улыбаешься!

— Я не улыбаюсь, но... неужели ты предлагаешь исключить Лахадама из кибуца?

— Да! После предупреждения.

— Что же мы ему скажем?

— Скажем откровенно, что думаем. Что у нас есть свой, особый стиль жизни, свой образ жизни, и тот, кому это не по душе, имеет право выбрать, что ему больше нравится.

— А если он спросит, чем, собственно говоря, согрешил?

— Разве нам нечего ему ответить?

— Что именно?

— Шмарья! — воскликнула Гинка, поднимаясь. — Неужели ты считаешь, что нет ничего предосудительного в его поведении?

— Я этого не сказал. Я спросил, какие мы приведем доводы. Если про патефон и все эти штучки, то ведь мы сами ему разрешили.

— Ты, Шмарья, да, а я — нет.

— Все разрешили. А если разрешили, то разве есть в нашем уставе параграф, запрещающий играть музыку Верди или варить кукурузу? Или готовить дома кофе? Все это делают. Это принято уже во многих кибуцах.

— Значит, ты одобряешь все эти вакханалии!

— Я этого не говорил, Гинка. Я только спросил, что мы ему скажем?

— Шмарья, давай говорить откровенно. Мы с тобой друзья с юности, вот уж больше двадцати лет. Ты же хорошо знаешь, кто ходит к Лахадаму.

— Феля, например, — сказал Шмарья, чуть улыбаясь, может быть, чтоб скрыть свое нежелание продолжать разговор. Но Гинка намека не поняла.

— Да, например, Феля. Говоря откровенно, Феля не из числа уравновешенных женщин. Какое-то беспокойство сопровождает ее всю жизнь...

— А с другой стороны, — прервал ее Шмарья с той же улыбкой, — с того дня, как Лахадам вернулся, моя жизнь стала значительно спокойнее. Никогда я так много не читал.

— Шмарья, не превращай все в шутку. Ты хорошо знаешь, почему к нему ходит Ольга. Да и Маша... Вокруг ущербной личности Лахадама собираются те, кто склонен к истерии. Я уверена, что он решил расшатать основы нашей жизни, отомстить нам...

— За что?

— За что? Он винит кибуц во всех своих душевных пороках. Он больной человек. Нельзя разрешать больному расхаживать среди здоровых.

— Гинка, — сказал Шмарья. Теперь он говорил серьезно, как на заседаниях и беседах, взвешивая каждое слово. — В одном ты права. Лахадам хочет нам отомстить. Но за что? Этого я не знаю. Вся эта история — его квартира, ежедневные вечеринки, его ухаживания за всеми нашими женщинами...

— За всеми. Даже за мной.

— Все это очень серьезно. Возможно, он болен. А быть может, и наши девушки немного больны и нуж-

даются в этих вечеринках. Одно очевидно — Лахадам наш друг, мой старый, хороший, преданный друг. Я советовался с Танхумом — он тоже считает, что надо обождать, пока выяснится, в чем тут дело.

— А не слишком ли поздно будет?

— Сейчас, во всяком случае, слишком рано.

— Значит, ты примиряешься с этим позором! А я нет! Я заявляю, что выхожу из педагогической комиссии, и буду мотивировать свой уход на еженедельном собеседовании. Если этот кабак вам нравится — на здоровье! Но я — против! — Гинка повернулась, чтобы выйти.

— Я считаю, что этим ты не принесешь кибуцу пользы.

— Я думаю иначе, Шмарья, — сказала Гинка, стоя у открытой двери. — Если бы здесь нашелся хоть один настоящий мужчина, Лахадам ушел бы отсюда с поломанными костями!

Когда Гинка ушла, Шмарья встал, подошел к водопроводному крану, нагнулся и отпил несколько больших глотков. Потом снова углубился в чтение книги при свете настольной лампы.

Перевел с иврита И. Быховский

ЗРУБАВЕЛ ГИЛЕАД

ЗРУБАВЕЛ ГИЛЕАД родился в 1913 году в Бессарабии. В Израиле с 1922 года. Живет в кибуце Эй-н-Харод, где рос и воспитывался. Во время борьбы с англичанами вступил в ряды Пальмаха; работу в штабе сочетал с плодотворной литературной деятельностью. Редактор ряда литературных сборников, в том числе сборника "Подпольная оборона", посвященного нашим парашютистам, и "Книги Пальмаха". Пишет стихи и рассказы, в основном о жизни кибуца.

ПО ДОРОГЕ НА ХОЛМ

I

На развилке дорог, где одна из них сворачивала вправо, поднимаясь на холм, я попросил шофера остановиться. Сбросил котомку и слез с машины. Тут начиналась тропинка, которая пересекала рощу, огибала разрушенную водяную мельницу и подходила к ручью, что прятался между старыми смоковницами. Здесь она замедляла свой бег у переброшенного через поток шаткого старого дерева, а затем круто карабкалась между скалами и колючим кустарником к кибуцу, который расположился на вершине холма. По этой тропинке мы всегда возвращались домой и добирались раньше, чем по дороге, которая огибала гору. По ней я хотел пойти и сегодня.

Котомка не была тяжелой, и лямки не резали плечи, но на сердце было тяжело, сам не знаю почему.

Острый знакомый аромат водорослей ударил в

лицо, проник в ноздри и смешался с тонким и жгучим запахом песка и пыли. Негева, исходившим от рюкзака за плечами, от складок одежды и обуви.

Мала наша страна, но как она выросла, расширилась и углубилась за эти немногие месяцы! Одинокое поселение в степи, где с тех пор, как закончились бои, я провел так много дней и из ворот которого вышел сегодня утром, отправляясь на север, домой, сейчас казалось более далеким, чем звезды; и только запах пыли, Негева, исходивший от рюкзака, напоминал мне о его существовании.

Я дошел до аллеи эвкалиптов (мы ее называли "красной") и подумал, что сейчас увижу старый, расшатанный, местами поваленный проволочный забор (таким он был с того дня, как я себя помню). Деревья в аллее прямые, высокие и тихие, и если бы я пришел с запада, во время захода солнца, то увидел бы "пожар" — стволы и листья цвета пурпура в лучах уходящего солнца. Вот почему в дни нашего детства мы называли эвкалипты в начале рощи "красной аллеей", а не Рощей имени евреев Иоганнесбурга, как называл ее "Керен-ха-кайемер", — именно это название было вырезано на тяжелой и безобразной цементной плите, установленной на опушке молодого леса. Арабские пастухи зло ломали эту плиту; дождь и ветер равнодушно секли ее, разрушая, а то, что еще не было разбито, ломали мы, дети, смеясь и играя.

Вот и забор! Даже сейчас, в свете вечерних сумерек, я узнал в нем третий столб — верхушка его была искривлена. Я удивился, что арабы не уничтожили забора во время боев. Его столбы могли послужить хорошим строительным материалом для брустверов, сооруженных между скалами. И поныне мы называем этот старый поваленный забор "оградой", хотя таковой он уже давно не служит. Его поставили, когда деревья в роще были еще маленькими и слабыми, а козлята из арабских стад, спускавшихся к потоку, забегали сюда объедать побеги саженцев

и чесаться о молодые стволы. Но когда сторож Вольф привез овчарку, знаменитого и почитаемого нами "Навхана"*, и поставил его сторожить рощу, даже козлы боялись приходить сюда, не то что козлята. Смерть "Навхан" принял от рук все тех же арабских пастухов, отравивших его, но, как говорят ораторы, "он смертью своей освятил жизнь". И если эвкалипты должны благодарить кого-то за свою зеленую жизнь, то в первую очередь им следует помянуть смелого "Навхана".

Ей-Богу, эвкалипты все те же! Время не изменило их. Может, чуть пореже стали ветви, да несколько пней виднеется меж стволов, но по-прежнему нежна и тяжела их зелень, в них тоска и добрая грусть, и все тот же аромат водорослей и смоковниц у потока.

А вот и плакучая акация во всей своей красоте и печали. Одинокое стоит она здесь, в начале рощи; тут ее посадили по ошибке много лет назад. Как она выросла за эти годы! Но по-прежнему целомудренно проглядывал ее ствол сквозь длинные свисающие зеленые ветви. Весной она надевала убор из горящих золотистых цветов, и воспитательница Хедва учила нас плести из них венки. Хедва была матерью Йоэля. Где она сейчас? Чего это я вдруг вспомнил Хедву? Женщину с копной каштановых, с красным отливом волос и глазами, в которых сверкали искорки — колдовскую силу этих глаз чувствовал даже ребенок. Хедва, хоть и носила такое веселое имя**, знала не много радостей в жизни. Она оставила Йоэля в кибуце с отцом и уехала далеко, жизнь ее полна горечи, боли и печали, и никто не знал, где она живет, даже Йоэль...

Йоэль. Это он напомнил мне о Хедве. Здесь, в тени плакучей акации, он любил проводить все свое свободное время. Ложился на сухую листву, покрывавшую землю, и погружался в грезы или слушал невидимую цикаду, звеневшую в тишине степи, а

*Навхан — лающий (иврит).

**Хедва — радость (иврит).

потом старался перелить ее страстную песню в ту мелодию, которую создавал. Однажды, когда Нооми жила уже в кибуце, Йоэль привел меня сюда. Он усадил меня в тени акации и сразу же, громко и быстро, чтобы не дать себе времени раскаяться, сказал: "Глаза Нооми, как песня цикады".

Я посмотрел в его глаза и впервые увидел в них те же удивительные мерцающие искорки, что и в глазах Хедвы, его матери. Я не сказал ему ни слова, да он и не ждал от меня ответа, он хотел только одного, чтобы я его слушал.

Сгущаются сумерки, но тропинка ярко белеет. В роще царит глубокая тьма. Может быть, немного отдохнуть? Сесть на камень около смоковницы, утолить жажду, опустить ноги в поток? Я не хотел быть излишне чувствительным, но знал правду: когда мною там, вдали, овладевала тоска по дому, — я ощущал вкус воды из родника во рту, и все во мне содрогалось. Во мне еще жило детство; глупо и наивно проявлять эту слабость, тем более что нет в ней ни грана логики. Но я знаю, что никогда в моей жизни ни буду пить воды слаще этой, даже если высохну от жажды, как это уже было однажды на той жалкой и грязной позиции, где мы оказались во время сильнейшей бомбежки, в этом проклятом Хирбет Манине.

Йоэль не был тогда со мной, но плач одного парня около меня, который совсем спятил со страху и потихоньку выл при каждом взрыве снаряда, — вызвал чувство душевной боли и горькие воспоминания, которые всегда сопутствовали образу Йоэля в моем сердце и от которых я хотел бы избавиться.

Запах смоковниц возле источника стал менее резок. Большие узорчатые листья, дрожа и шелестя от малейшего ветерка, то о чем-то шептались, то замолкали. Вечер последних дней лета и зеленых сверкающих звезд, брызжущих во все стороны в темно-фиолетовом небе, как искры в кузнице. А меж кустов, растущих у потока, подымается тот

сладостный знакомый звук, от которого сжимается сердце — мелодия воды и тишины, подобная радостно звенящим веселым кузнечикам.

В темноте я нашел гладкий камень у родника, сбросил котомку с плеч и удобно устроился, вытянув ноги, у воды. Пальцы мои бродят по поверхности камня и гладят сплетающиеся, приятные на ощупь пряди лишайника, покрывающие все его выступы и бугорки.

Нооми как-то особенно заплетала и укладывала свои косы, густые и черные, с синим отливом. С первого взгляда она казалась взрослой девушкой, почти зрелой женщиной. Но если внимательно посмотреть в ее глаза, на чистый лоб под косами, на розовый рот, окаймленный темным мягким, едва видимым пушком, казалось, что это ребенок, боязливый и удивленный олененок. И это впечатление оставалось навсегда. Даже после того, как ты узнавал о ней все и знал, как тяжело сложилась ее жизнь, это первое впечатление, девушка-женщина-ребенок-оленок, жило в тебе — все это было слито воедино и вместе с тем существовало отдельно в твоём представлении.

Я увидел ее впервые в клубе Ха-ноар-ха-овед* в одном из поселений Иудеи. На ней было голубое платье, и косы были уложены как-то по-особенному, в прическу, свойственную только ей одной. Пришла она к нам в клуб однажды вечером одна, подошла к руководителю и сказала: "Запишите меня".

Мы уже слышали о ней. Она жила в квартале йеменских евреев, и ее подруги и товарищи оттуда, уже бывшие членами нашего движения, говорили: "Когда Нооми придет к нам, все наши ребята придут". Но она долго не приходила. Рассказывали, что после работы она учится в вечерней школе, хочет сдать на аттестат зрелости. Говорили, что ее отец, резник, закрывает каждый вечер двери на семь замков, чтобы она не выходила из дома и не встречалась с "аш-

* Движение рабочей молодежи.

кеназим". Не раз мы ждали Нооми недалеко от ее дома, хотели поговорить. Она ускользала от нас, умела обходить наших посланцев и не встречаться с ними. Но она верховодила среди молодежи квартала. До сих пор я не знаю, чем она их покорила, но ее мнение по любому вопросу было очень важно для всех юношей и девушек ее квартала, и, когда она пришла к нам в клуб, мы были уверены, что победили, и все ребята квартала придут к нам. Так оно и было.

Нооми регулярно посещала все наши собрания и сходки. Увлеченно работала в молодежном движении, была захвачена новой жизнью, тем, что мы называли "жизнью нашего филиала". Прошло немного времени, и однажды Нооми пришла и заявила, что решила вступить в киббуц. Она не знала компромиссов и если что-либо решала, то всегда выполняла задуманное.

Это были тяжелые для нее дни. Отец не поднял на нее руки, но пытался привязать к кровати, чтобы не ушла из дома. Мать оплакивала ее, как покойника. Двоюродные братья из города пришли к нашему руководителю и грозили побоями и тюрьмой, судом и проклятиями всего квартала.

Но Нооми не вернулась в дом отца. Она пришла в наш дом на холме.

II

В глубине рощи, среди молчаливых деревьев вдруг раздался долгий, прерывистый крик совы. Он разнесся по всей округе, и далекое чужое эхо вторило ему с полей. Торопливый ветер пробежал по кронам, спустился к травам, погруженным в темноту, смешался с ними, пробудил их горькие ароматы и вдруг исчез без шелеста и звука. Ночь властвовала вокруг, у деревьев и камней сгущалась тьма. Из-за рощи, ручья и разрушенной мельницы доносились далекие звуки поселения: человеческие голоса и

рев скота, плач ребенка и блеяние козы, сердитый крик осла. Запах дыма очага стоял в воздухе. За темной рощей тускло мерцали огоньки, раздавалась гортанная перебранка, а затем умиротворенная беседа, звонкий, напоенный счастьем смех девушки звучал между деревьями, как вечная мелодия юности. Я знал, что голоса доносятся из "маабары"*, построенной у разрушенной мельницы, о чем мне писали из дома, но я ее еще не видел. Это бытие — новое, чуждое и одновременно близкое — выросло, укоренилось здесь и мощно влилось в широкое дыхание и напоенное запахами молчание рощи, потока и деревьев (а над всем этим разносился крик совы, давно знакомый и все же пугающий снова и снова), — все это привело меня в состояние какой-то сдержанной радости. А эхо девичьего смеха вызвало в памяти мелодию, наполнившую сердце. Я поднялся с места, взвалил на плечи котомку и невольно стал насвистывать отрывок известной-преизвестной и уже давно забытой всеми песни:

"Скажи мне твое имя..."

Йозль научил меня этой песне. Обычно мы сидели втроем на шатком бревне, что над потоком. Йозль держит Нооми за руку и смотрит на нее не отрываясь, а она смеется и говорит: "Не смотри на меня, как ребенок". А я, сидя в стороне, спустив ноги с бревна и болтая ими над водой, рассеянно набираю в пригоршни мелкую береговую гальку и бросаю камешки один за другим по водной глади потока, брызгая искрами света на звездное небо, делая вид, будто не слышу их беседы, и насвистываю какую-то мелодию, прекращаю и снова свищу в темноте, довольно фальшиво, просто так, чтобы не слышать их. А Йозль вдруг вскакивает с места и раздраженно кричит: "Хватит, перестань!" И тут же выпрямляется

*Маабара — бараки для временного проживания репатриантов в первые годы после провозглашения государства Израиль.

во весь рост и поет ту же песню сильным и глубоким голосом:

”Скажи мне твое имя...”

И пока я пытаюсь оправдаться, вскакивает Нооми, шлепает Йозля по губам и, смеясь, убегает, скрывается за деревьями; только ее платье светится между стволами, а затем и оно исчезает. Йозль, застигнутый врасплох, ошеломлен, а затем гонится за ней, вкладывая в эту погоню всю свою душу...

Но ему, видно, не удалось схватить Нооми. И даже, если бы в этом сумасшедшем беге меж деревьями он сумел бы догнать ее, он не смог бы удержать ее. А может быть, не он в этом виноват, а все мы?

Не знаю, и сейчас еще не знаю, что случилось с Нооми. Не знаю всех обстоятельств, во всяком случае, не могу объяснить себе, что произошло, кроме того бурного прощального разговора, о котором рассказал мне Йозль много дней спустя. Знаю только, что Нооми вошла в нашу жизнь и внесла в нее всю свою душевную теплоту, взяв на себя выполнение всех заповедей и обязанностей кибуцной жизни, без компромиссов. Она работала в питомнике саженцев и выбрала эту работу как постоянную, как профессию. Вставала рано утром со звоном и возвращалась с наступлением темноты. Радостно, обретя свое место в жизни, Нооми выполняла свою повседневную работу. Даже тогда, когда ее перебрасывали с места на место, не жаловалась. Напротив, она и в этом находила удовлетворение, знакомясь с новыми людьми, видя не парадную, а будничную жизнь кибуца, ”ее серые корни”, как она говорила. И нельзя сказать, что это оттолкнуло ее от кибуца.

Наоборот, горячая радость подгоняла ее в работе, а по вечерам ее веселый смех звучал среди молодежи, отдохавшей на лужайке у столовой.

Она прилежно посещала репетиции нашего хора. Здесь-то она и познакомилась с Йозлем, его дирижером и руководителем. По вечерам я видел, как она входила в светлом платье в столовую, косы,

как обычно, уложены только в ей одной свойственную прическу, ее чистый лоб, светящиеся глаза, яркий розовый рот спокойны.

И то, что зарождалось между нею и Йоэлем, я наблюдал со стороны. Более того, я чувствовал, что происходит в сердце Йоэля, я видел его, когда он возвращался в нашу комнату поздними вечерами. Он сиял, радость переполняла его. А однажды в субботу он привел меня к плакучей акации и сказал то, что думал о глазах Нооми.

С тех пор он поверял мне все свои тайны. Иногда мы бродили по ночам, ходили в виноградники, в рощу, к потоку. Бывало, выходили втроем, шли по "красной аллее", ведущей к границам наших земель, огражденных старым, расшатанным, а местами поваленным забором...

Ручей катится по гладким камням, и серебряные искры в нем могут поспорить с мерцанием звезд. В вышине над кронами разлилось красноватое сияние, предвещающая появление луны. Лягушка выпрыгнула откуда-то у моих ног и скрылась между кустами, а другая вдруг заквакала торопливо и насмешливо. Я остановился у бревна, служившего мостиком через поток, и глубоко вдыхал запах воды. Вот он дом, такой, каким я видел его из далекой дали и о котором страстно тосковал.

Я не был дома в тот день, когда Нооми покинула холм. Ни в тот день, и ни в предыдущие. Я был мобилизован и жил в лагере, переезжая с места на место, участвовал в различных операциях, во всем связанный с жизнью своей части. Нас вызывали из кибуца не только в определенные дни, но и ночью, как того требовало время, по приказу, который вручал курьер. Поэтому я не был около Нооми в дни ее колебаний и сомнений и рядом с Йоэлем, когда рушился весь его мир. Когда я возвращался на несколько дней домой для работы в хозяйстве, я кое-что слышал от товарищей, и это "кое-что" не очень меня радовало, но и не говорило о том, что

положение так серьезно. Признаюсь, это было легкомысленно. Ведь я знаю наших товарищей и знаю, что представляет собою "общественное мнение". В один прекрасный день мы возносим человека на вершину, поем ему славу, восхищаемся его достоинствами, он для нас пример и символ, все двери открыты перед ним и все готовы его обнять. А завтра, чуть он что не так сделал или сказал глупость, что свойственно каждому (все мы из плоти и крови), или ответил кому-то не так, или улыбнулся не так, находят в нем несуществующие пороки и косятся на него. Говорят о нем так, как будто ничего не случилось, с той же приветливой улыбкой, только в конце, как бы между прочим, следует маленькое "н о", которое вначале жалит не большее укола булавки, но кто знает, во что оно выльется в конце. И затем мы низвергаем этого человека с той вершины, на которую вознесли его, и находим в нем семьдесят семь слабостей и недостатков. Когда он сидит с нами за столом, мы еще улыбаемся ему, но улыбкой неискренней. "Закатилась звезда такого-то", — говорим мы тогда, иронически улыбаясь улыбкой мудрецов и праведников; и прощай человек, мы умыли руки. Безусловно, мы не выносим столь уничтожающего приговора навечно: это своего рода "детская болезнь", которой каждый должен переболеть, проходя через очистительное горнило кибуцной жизни. Этот экзамен наступает, когда человек укореняется в нашем обществе, когда он вступает в обычные человеческие отношения, когда живет каждодневной жизнью кибуца. И если он выдержал испытание, "легкомысленное" общественное мнение не перемывает ему косточки. С этого времени к нему относятся совсем по-другому, измеряют его другой меркой. Человек с чистой совестью побеждает. Каждый день, снова и снова ты стоишь перед лицом этих испытаний, твоих лично или твоих, как части группы людей, создающих новую жизнь и борющихся за свои идеалы.

Я знал, что Нооми не отступится от своих взглядов под давлением преходящего общественного мнения. Она страстно желала жить в кибуце, и ее упрямый, настойчивый характер должен был помочь ей преодолеть все трудности. Нооми пришла к нам не по легкомысленному влечению, подчиняясь "духу времени", но после длительной борьбы — дома и со своим окружением — твердо зная, чего она хочет. Но ощущалась в ней скрытая печаль.

Вот уже показался и поднялся высоко над рощей полный и прозрачный месяц. Рябь заискрилась на поверхности потока, вершины деревьев закутались в бледное фантастическое покрывало, а непослушный ветерок забормотал что-то в ветвях, но так и не сумел стать ветром и медленно погрузился в темную, таинственную, шевелящуюся синеву между деревьями. От барака, что у разрушенной мельницы, еще доносились озабоченные голоса, но мерцающие огоньки уже гасли один за другим, и только взволнованный смех девушки звенел в вышине, как далекое эхо счастья.

Я нагнулся, набрал пригоршню гальки и бросил на гладь потока, разбив ее на мгновение. Но через секунду поток снова пел свою вечную мелодию, а я посмеялся над собой: обрадовался, на миг изменил напев волны... Подтянул котомку на плечах, но не почувствовал запаха пыли Негева: его поглотили запахи трав, смоковниц, ночной земли, всего того, что было знакомо и близко мне до боли. И Нооми была привязана к этой земле, любила ее. Но чего-то совсем крохотного, по-видимому, не хватало ей, чтобы принять безоговорочно все в нашей жизни и на нашей земле. Не раз я наблюдал за ней незаметно, со стороны — за беседой в столовой, на собрании или на рассвете, когда она в грубой рабочей обуви, закутанная в платок, спешила на работу. Она повзрослела и изменилась. Глаза стали яркими и блестящими, тело подвижным и легким. Исчезло выражение детского изумления. Больше не

было пугливого олененка. Спокойная уверенность появилась в ее движениях, голосе, манере говорить. И, к моему удивлению, что-то жесткое было теперь в ее характере.

Однажды вечером мы случайно встретились в столовой, с нами за столом сидели двое юношей, недавно прибывшие из какой-то восточной страны. Дежурный по столовой поставил перед нами еду — жареные баклажаны. Парни попросили что-нибудь "взамен", и дежурный начал читать им мораль: "Пора бы уже привыкнуть к пище, которую едят в этой стране". Нооми вскочила и сердито закричала: "Посмотрела бы я на тебя, если бы ты был на их месте!" И тут же замолкла, только горькая морщина прорезала ее чистый лоб.

Я был встревожен, но не сказал ей ни слова, поняв, что причина этого гнева и боли глубже, чем слова дежурного, задевшие ее. Когда я провожал ее из столовой, она попросила меня уйти. "Оставь меня, — сказала она. — Ты меня сейчас не поймешь". Я успокаивал ее, что-то говорил, но она поспешила уйти к себе в комнату. Впервые я почувствовал — что-то очень серьезное гнетет Нооми. Я пошел в нашу комнату (авось вернулся Йоэль), но не застал его там. Я не видел Йоэля уже несколько дней — он уехал куда-то по делам. Снова вернулся к бараку Нооми, но он стоял темный и тихий, будто в нем не было ни души. Я пытался успокоить себя тем, что завтра все уладится, что, может быть, я ошибся и нет серьезной причины для беспокойства...

В ту же ночь меня вызвали к командиру роты. Наше подразделение должно было обеспечить высадку на берег нелегальных репатриантов. Я побежал в комнату переодеться и, к своему удивлению, застал там Йоэля. Он лежал лицом к стене, все его тело сотрясалось от сдерживаемого плача. Я присел рядом, он повернулся ко мне, но слов утешения я не нашел. Взяв свои вещи, я тихо вышел из комнаты. Плач Йоэля потряс меня.

... Операция продолжалась семь дней. Когда я вернулся на холм, я не застал там ни Нооми, ни Йоэля. Он покинул кибуц вслед за Нооми, не сказав никому ни слова, и пошел служить в армию.

III

Историей Йоэля и Нооми занялась "ярмарка сенсаций". Все говорили только об этом, шептались, пытаясь анализировать все до мельчайших деталей с психологической точки зрения. Толковали об этом в поле, на вещевом складе, в столовой, в душевой — всюду, где встречались люди, рты не закрывались. И, как заканчиваются все сенсации, закончилась и эта. Прошли считанные дни, и разговоры вернулись "на круги свои", — нашлась новая тема для обсуждения. В моей душе остался горький привкус и неутрачиваемая, неясная боль. Я знал только одного человека, для которого все было ясно в этой истории. Суровая горечь, смотревшая из его глаз и прорезавшая глубокие морщины на его лице, с уходом Йоэля еще возросла. Это был Залман, отец Йоэля.

Не помню, говорил ли он со мною когда-нибудь более, чем пару минут. И делал это с трудом, выжимая из себя слова. Хотя я был другом детства его сына, он ни разу по-настоящему со мною не беседовал. Залман был кузнецом, молчаливость обычна при его ремесле, где грохот молота заглушает человеческие голоса. Низкий, широкий в кости, он ступал тяжело, мрачно глядя из-под шапки, всегда надвинутой на лоб; он не снимал ее даже вечером в столовой, даже в детском доме. Чем-то он напоминал медведя, и если иногда улыбался Йоэлю, то улыбка смахивала на болезненную гримасу. Его любовь к Йоэлю не находила выражения в словах. Он проявлял ее по-другому. Когда Йоэль был ребенком, Залман мастерил ему изумительные игрушки из блестящей латуни. Он сделал трактор, гудевший во время езды, и машину, которая двигалась, если

ее слегка подтолкнуть — предмет восхищения всей детворы. Когда сын подрос и перестал интересоваться игрушками, они по субботам уезжали верхом в поля или уходили на рыбную ловлю к потоку. И Йозль, по природе говорун и весельчак, как и его мать Хедва, жил с отцом-молчуном, к которому относился с глубоким уважением маленького существа, нуждающегося в защите. Когда сердце мальчика тосковало по ласке и веселой болтовне его далекой матери, он уходил к плакучей акации на краю рощи, ложился там на опавшие листья и мечтал в одиночестве. Или играл на дудочке, которую сам себе смастерил из тростинки, сорванной у потока. Тогда казалось, что тонкая и невидимая стена возникает между отцом и сыном, и все усилия Йозля не могли разрушить ее. Уход Хедвы наложил отпечаток на всю жизнь Залмана. Кажется, все его поступки были следствием этого, и ничто не могло исцелить его. Когда Йозль был маленьким, Залман всего себя отдавал сыну. Но шли годы, Йозль вырос, стал стройным и мечтательным юношей, полноправным членом кибуца. Он был похож на Хедву, его лицо излучало то же сияние, и Залмана охватил страх. Он походил на человека, который ожидает удара, хотя не знает, от кого его ждать, когда, где и почему.

Йозль обычно приходил в комнату отца по вечерам после работы. В их беседах преобладало обоюдное молчание, пауз было больше, нежели слов. И тонкая невидимая стена, разделявшая отца и сына, живших бок о бок, становилась зримой. Но Йозль во время этого сумерничания чувствовал отцовскую защиту и покровительство, которые служили ему надежной броней. А Залман знал, что сын нуждается в нем, и был счастлив.

С того времени, когда в жизнь Йозля вошла Нооми, в устоявшихся отношениях между отцом и сыном произошла перемена. Но я не знаю всех обстоятельств, не знаю, что происходило на самом деле между Залманом, Йозлем и Нооми. Ни Йозль, ни Нооми, а тем бо-

лее Залман не рассказывали мне об этом; и все, о чем я сейчас повествую, я узнал из случайных обмолвок в их разговорах, из мимолетных впечатлений, сохранившихся в моей памяти.

Хотя Йоэлю очень хотелось познакомиться Нооми с отцом, он делал это со страхом в сердце, так как знал угрюмый, нелюдимый характер Залмана, его неумение беседовать с людьми, тем более с девушкой, которая недавно пришла на холм. Но Йоэль уже не мог проводить вечера с отцом, если не было рядом Нооми, он был нетерпелив и стремился к ней, как бабочка к огню.

И Залман испугался. Он ясно увидел стену, вырастающую между ним и сыном, которую он пытался хотя бы немного растопить отцовским теплом. Он хотел сломать эту стену отчуждения, но не мог, и в бессилии опускались отцовские руки, как рваные тряпки... Залман всегда знал, что придет время, когда Йоэль станет мужчиной, перестанет быть маленьким мальчиком, нуждающимся в его защите. Но когда этот час настал — он взбунтовался. Залман искал недостатки в характере Нооми еще до того, как познакомился с нею. Кто просил эту незнакомую, беспокойную девушку из Йемена вторгаться в его жизнь? Ведь до сегодняшнего дня добрым и послушным сыном был Йоэль, а эта — она не ищет легкого флирта, она хочет любви и семейного очага. Кто она? Что собой представляет эта девушка, которая поставила перед собой цель — забрать его Йоэля? И вообще — пусть каждый живет в своей среде, в обществе людей, близких ему, там, где ему легко укорениться. А эта Нооми ворвалась в нашу жизнь, как человек, который сжег за собою все мосты. Это лишь увлечение молодости. Видали мы сильных женщин, которые хотели сразу все взять от жизни и думали, что им все нипочем. Но из этого ничего не вышло — они не могли привыкнуть, и наступило отвращение, и в один прекрасный день они бросают все и бегут на край света, оставив за собой муки и страдания... Если эти не выдерживают, как может все это вынести бедная де-

вушка-йеменитка, которая лишь недавно разбила око-вы и вырвалась из дома отца. Она думает, что теперь она вольная птица и может строить свою жизнь и жизнь других так, как хочет... Нет! Он не отдаст ей Йозля. Почему бы тебе не уехать в другое место! В нашей стране много поселений, где ты можешь найти ровесников и единомышленников, если душа твоя стремится именно к жизни в кибуце. Там ты пройдешь подлинное испытание — в работе, а не в разговорах об идеалах и громких песнях, которые почему-то называют, смешивая святыню с бахвальством, "жизнью движения". Поработай сначала, как я, по девять-десять часов в день у раскаленного горна и тяжелого молота, напрягая все силы до треска в суставах, поработай так ежедневно тридцать лет подряд, а потом приходи учить нас догматам "жизни движения".

Господи, Боже мой! Что за злые мысли приходят, когда горько на душе. Ведь он не узколобый кретин, чтобы не понять: эта девушка имеет право строить свою жизнь, как хочет. И хорошо, безусловно хорошо, что она пришла сюда учиться новому образу жизни. Ведь слияние выходцев из разных стран в единое общество — доброе дело, и никто это не оспаривает. И юность — это юность во всей ее прелести. Но почему она должна была увлечься именно Йозлем, его спокойным, мягким и мечтательным Йозлем, его сыном, единственным его сокровищем. Ведь несмотря на горечь жизни и трудности в отношениях с сыном, он просто не сможет жить, если Йозля не будет рядом, если сын не будет нуждаться в его опеке...

Понятно, что Залман не говорил этого ни Йозлю, ни Нооми. Но именно так слышала Нооми его внутренний монолог. Не раз, когда она приходила с Йозлем в комнату Залмана, Йозль пытался поддерживать разговор, старался вытащить отца из его угрюмой скорлупы. Но напрасно. Залман сидел насупившись, в фуражке, надвинутой на лоб и молчал. Тишина нависала тяжело, как молот над наковальней.

Нооми была потрясена. И хотя Залман ничего не

говорил, она знала, о чем он думает, она это чувствовала.. Ощущала это даже в том, как Залман говорил ей "шалом", отвечая по утрам на приветствие, когда они встречались во дворе, по пути на работу. Осызала это по вечерам, приходя с Йоэлем в его комнату, а когда они собирались уходить, видела ужас в измученном взгляде Залмана. А тут еще сплетни и перешептывания за ее спиной — в питомнике, на кухне, в душевой, за соседним столом в столовой. И когда Нооми увидела, что Йоэль мечется, не видя выхода (а к этому прибавились еще мелкие обиды повседневной жизни, которые жалили, как москиты), поднялась Нооми и покинула холм. Но перед ее уходом состоялась прощальная беседа, о которой рассказал мне Йоэль.

Он не сказал, как и о чем они говорили. Только слова Нооми передал в общих чертах.

Однажды ночью, в дни осады Негева, колонна грузовиков прорвалась к нам с севера и доставила продовольствие. С нею прибыл и Йоэль. Мы веселились этой ночью, и лишь на рассвете прибывшие разбрелись по палаткам немного отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой. Но Йоэль, чьи глаза сверкали в темноте палатки (в них были те же удивительные мерцающие искорки, что и в глазах его матери Хедвы), не хотел отдыхать, несмотря на усталость. Он говорил без передышки, расспрашивал обо всех и обо всем, весело болтал. Вдруг умолк, и затем громко и быстро, чтобы не одуматься, сказал:

— Я хочу тебе рассказать, что говорила Нооми, когда уходила с холма. "Я никого не обвиняю в том, что произошло, — сказала она, — даже твоего отца. Он сделал свое в этой жизни, как умел, и своим путем пришел к тому, к чему пришел, и не в силах изменить себе. Я не хочу, чтобы другие страдали и мучились из-за меня. Я еще молода, есть у меня и руки, и голова, чтобы строить свою жизнь так, как я хочу. Поеду в новый кибуц, где люди не накопили еще за долгую жизнь "корзины скорби", как говорит

твой отец. Буду жить среди людей таких, как я. Там не будет того, что здесь: люди кичатся тем, что живут по-новому, а на самом деле привязаны к старому быту. Не ходи за мной, Йоэль — ты должен строить э т о т дом, и уход твой отсюда — побег, и тогда нашим мукам не будет конца”.

Йоэль не закончил свой рассказ: пришли и позвали его в дорогу. Больше мы никогда не говорили о Нооми.

IV

Ночь заполнила все вокруг. Дрожащая синева ее ожидала, когда выпадут росы, деревья тихо шелестели и ритмично дышали. Ручей по-прежнему напевал свою песню в темноте меж кустами, смеялся в мерцающем блеске звезд, и, скрывая от всех свои тайны, терялся в излучине за рощей. Когда я вышел из-за деревьев и приблизился к тропинке, которая огибала разрушенную мельницу, а оттуда взбиралась на холм, показалась ”маабара” — приземистые, открытые со всех сторон бараки, сделанные из блестящей в темноте жести. Они были печальны и грустны до боли в сердце. Из барачков доносилось глухое жужжание человеческих голосов; запахи стирки, дыма и варева смешивались с тонким ароматом дивосила, влажных трав и испарений, поднимающихся от земли. Огни погасли, только одинокий фонарь раскачивался на тонком шесте, и в его неровном свете металась темная тень мужчин в длинных ночных рубашках. Я не слышал голосов, видел только их движения издалека, и казалось, что в фантастическом сновидении несутся над землей призраки в грустном и таинственном танце.

Передо мною высился холм. Кроны деревьев были тихи. Свет, исходящий снизу, от белых домов, крепко стоящих на земле, и льющийся сверху, окружал их сияющим, широким ореолом.

Поднимаюсь по тропинке, рюкзак за плечами, а сердце бьется учащенно: вот-вот покажется д о м. Упрекаю себя за глупую чувствительность, посмеиваюсь над собою, но ничто не помогает. Проходят годы, ты все время занят делом, а жизнь приносит боль и разочарование, но от этого не излечишься: снова и снова сердце бьется, когда возвращаешься домой с далекой или близкой дороги. И, может быть, не стоит над этим издеваться? Может быть именно в эту минуту ты ясно видишь подлинную сущность нашего д о м а, его исключительность и силу, когда он высится, освещая ночь. Когда день за днем и час за часом ты выполняешь свою работу, занят будничными спешными делами, ты не отдаешь отчета в том, что же главное в нашей жизни, которая быстро течет, бушует и меняется. Но в этом потоке кристаллизуются и отливаются определенные формы бытия, которые дают все новые ростки. Нооми, о, Нооми, возможно именно этой глупой чувствительности не доставало тебе, чтобы ясно увидеть н а ш д о м, чтобы выстоять в пронесшейся буре? Где ты теперь?

”Товарищ, товарищ”, — услышал я девичий голос за спиной. Я был захвачен врасплох. Повернулся — в нескольких шагах от меня из рощи вышла девушка, несущая ведро. Голову венчали тяжелые косы, фигура светилась в сиянии луны, на молодом лице — сочетание мягкости и силы, что-то от девочки и женщины вместе. Я поспешил ей навстречу.

Это была девушка из маабары.

— Шалом, товарищ, — сказала она нерешительно. — Поможешь мне? Мама больна, и я ходила за водой к источнику.

Я взял ведро с водой и пошел следом за нею к баракам.

*Перевела с иврита
Ц. Цефани*

АДАМ ЗЕРТАЛЬ

АДАМ ЗЕРТАЛЬ родился в 1937 году в кибуце Эйн-Шемер и поныне является его членом. Публиковать свои рассказы начал в израильской прессе в шестидесятые годы. Потомственный кибуцник (его родители были в числе основателей кибуца Эйн-Шемер). В 1969 году был направлен для оказания помощи в развитии сельского хозяйства в развивающиеся страны Африки. Вернулся в 1972 году.

Был тяжело ранен в Войну Судного дня (1973). В настоящее время учится в университете Тель-Авива на факультете истории и археологии.

ВСТРЕЧА

I

На белой стене вспыхивал красный свет, словно огни семафора. Вот путь свободен... Поворот... Проезжай... Стоп! Торопливо снуют сестры, на лицах марлевые маски.

В справочной ему сказали:

— Палата 201. Пятый этаж. Спросите доктора Шимеона. Идите, там легко найти.

Он вдруг почувствовал себя маленьким ребенком, страшно перепуганным обмирающим в мире острых дурманящих запахов, как та красивая бабочка, что ошалела от паров эфира. Ему пришлось сделать уси-

лие, чтобы подняться на второй этаж. Вокруг все прозрачно и холодно. Ты еще не привык к миру канцелярий... Канцелярские крысы улыбаются и поднимаются на верхние этажи. Кожаная ручка черного портфеля прилипла к ладони. Его обычная самоуверенность рухнула, как валится одежда, когда отлетают пуговицы.

В телеграмме было сказано: "Приезжайте немедленно, у Иосефа инфаркт".

Он долго всматривался в телеграмму, потом гневно смял ее. Бумажка полетела в корзину, как птица, которой подрезали крылья. Уже двенадцать лет, как между ним и отцом разверзлась бездна. За эти годы она заполнилась пылью и песком забвения.

Молоденькие сестры в коридорах улыбались одними глазами высокому кареглазому мужчине интеллигентного вида с сединой в висках, в дорогом костюме, сидевшем чуть небрежно. Он шагал по коридору быстро, как всегда, как ходил когда-то по полю с оросительным шлангом на плече. На стенах там и сям золотые дощечки с черными буквами: дар господина Каплана, дар господина Янкелевича... Из окон комнаты ожидания он увидел город сверху. Плоские крыши, верхушки деревьев. Отец лежит на пятом этаже. Вероятно, и сейчас, когда он прикован к постели, в нем чувствуется движение, как в застывшей лаве, как в горных скалах. "Когда идешь, ты должен придти к цели". Непременно, при всех обстоятельствах. Тут все кажется ему нереальным. Когда вавилоняне воздвигли зиккураты, воспроизводя на своей равнинной земле горы, последующие поколения уверовали в то, что настоящие горы выглядят как гигантские башни из кирпичей. Это как с лабораторными формулами. Их подлинное бытие начинается лишь со второго поколения. До того они только абстрактные знаки на бумаге, лишённые самостоятельного значения. Он ненавидел Иосефа*. По отношению к отцу он всегда

*Намек на библейский рассказ о братьях Иосефа.

был подобен этим знакам, начертанным нетвердой рукой ребенка.

Надо позвонить Зиве, доктору Чарному, профессору (вечером начинается второй опыт с заменой исходных материалов), Эйнат. Кому еще? Болезнь нарушит устоявшийся порядок дня многих людей, что доказывает его зависимость от них или, если угодно, то, что он — значительная персона. Электронная часть его мозга, отделенная изоляционными материалами от внешнего мира, продолжает подавать красные, желтые и зеленые сигналы: позвонить, сообщить, прийти вовремя, улыбнуться, опубликовать статью, — одним словом, быть доктором Иехошафатом Бен-Шаломом. Преуспевающим ученым, одним из столпов науки, человеком завтрашнего дня, гражданином космической эпохи, кумиром молодежи и женщин.

— Он в тяжелом состоянии, — услышал он рядом голос и увидел глаза врача, блеснувшие в свете неоновых ламп. — Обширный инфаркт. Два года назад я его предупреждал. Не знал я, что вы его сын. Передайте, пожалуйста, привет профессору от Шимеона из "Шарона". Да... Нет... Анализы... Сообщим. Нужно быть очень осторожным.

II

Отец лежал в отдельной палате, высокие стены которой как бы стеснялись, что вынуждены изолировать его от внешнего мира. Его большое, шоколадного цвета лицо не изменилось. Это напоминало сыну те редкие и потому очень памятные случаи, когда отец заболел и оставался в постели в разгар работы. Иосефа это не смущало — скорее бы смутился сам Господь Бог. Его маленькие глаза смотрели твердо и сурово. Входя в палату, Иехошафат подумал, что отец привстанет, но он даже не шевельнулся. У него были — почудилось сыну, — неестественные очертания головы. Вытянутая шея напоминала стебель увядшего цветка. Так он никогда раньше не лежал.

...Двенадцать лет были вычеркнуты, их как не бывало. И снова он застенчивый подросток из интерната, вступивший в храм, ярко освещенный полуденным солнцем. А первосвященник — его отец — восседает за своим столом, окруженный лишь книгами и воздухом, и тихим, уверенным голосом объявляет решения. Первосвященник обнимает и прижимает его к своей широкой груди. Внезапно и сильно прильнул он к мальчугану всем телом. Затем освободил его из объятий и опущенными глазами, улыбнулся. Точно так же он прижимается к лошади, на которой едет верхом, к толстому стволу дерева, к женщине. Его руки обнимают и отгораживают, как крепостная стена, построенная вокруг небольшого, одинокого, изолированного кибуца на равнине среди болот и бедуинов. Иехошафату, когда он входил к отцу, всегда хотелось снять ботинки, но он никогда этого не делал. Он знал, что отцу это не понравится.

— Ты приехал, — сказал отец.

— Да, — сказал сын.

— Я не просил их извещать тебя. Они сами догадались, — уточнил отец.

— Знаю.

— Хорошо, что ты приехал, Иехошафат. Я ждал тебя. Я не в порядке. Мне нехорошо. Никогда я не был таким слабым.

(Слова эти звучат так непреложно, будто их произносит гора, а не человек. Осевшая, покачнувшаяся, но гора. Больное сердце было упомянуто лишь в конце, как вынужденное признание, тихим голосом, каким говорят в долине скорби, едва слышно).

— Я не уйду. Буду возле тебя.

— Только пожалуйста, без милосердия. Обещай мне. Без сострадания.

— Ты знаешь, что я всегда был сентиментальным. Ты ведь меня хорошо знаешь.

— Рассказывай. Я слышал, ты делаешь важную для государства работу. Но конкретно ничего не знаю.

— А что слышно дома?

— Будет удачный год. Уже выпало 200 миллиметров осадков. Уходы из кибуца прекратились.

— Ты был занят важным делом?

— Возглавлял комиссию назначений. Надеюсь, что у них не будет проблем. Люди сейчас избегают общественных нагрузок.

Они прибыли вглубь заболоченной равнины пятьдесят лет назад. Молодые, чубатые, на пожелтевших фотографиях. Когда сошли с поезда, под дождем ждали две телеги; в них были впряжены мулы. Шел 1921-й год. Ехали в непогоду, часто слезали и толкали телеги, застревавшие в грязи. Они были полны веры — она возносилась, как гора, достигая небес. Мысленным взором они видели деревья и травы там, где их ждали колючие кустарники, разветвленные, как олени рога. Они видели нового человека в тех местах, где гнездились микробы трахомы, поражая детей бедуинов. Это было подобно началу новой геологической эры в истории человечества. Уцелевшие после войн, эпидемий и бегства, они были остатками постоянного и непрерывно нараставшего движения. Их оттесняли в сторону, или затапывали в грязь, но движение продолжалось. Контакты между членами кибуца с пожелтевших фотографий осуществлялись на основе отвлеченных идей. Для человеческих слабостей не было места.

— Что теперь делаешь? — спросил отец.

Вошла сестра и измерила пульс. Иехошафат скромно отошел в угол. Отец снова стоит лицом к лицу с природой. Земля, дождь, женщины. Для него природа это нечто такое, что следует коренным образом изменить. Теперь он понял секрет влияния отца на женщин: он никогда не считал их людьми. Они были для него орудием для продолжения начатого дела; для доказательства своих идей; для наслаждений. Даже теперь, когда он болен, по белой спине сестры было

видно, что она сдерживает инстинктивный женский трепет.

— Не разговаривайте, — сказала сестра. Она повернула к Иехошафату свое гладкое лицо и темные глаза.

— Он еще слишком слаб. Вернетесь через два часа. К тому времени, я надеюсь, он будет себя чувствовать лучше. Вы его сын?

Иехошафат кивнул.

— Я не знала, что у вас такой взрослый сын, — хихикнула она старику, лежавшему в постели, будто начиная любовную интрижку. — Доктор запретил вам разговаривать. Закройте глаза.

Она прикоснулась к векам отца (неосознанное желание всех женщин прикоснуться к нему), но его глаза остались открытыми.

— Ждите внизу, потом позвоните. Спросите Рухаму из терапевтического, — сказала она и ушла.

Он тоже вышел и, спустившись на лифте, оказался на улице среди чужих людей, источавших запахи духов, пота и близости всех обиженных судьбой. И город открылся перед ним таким, каким он бывает в конце субботы: озабоченным, но и приветливым. Теперь надо получить у отца прощение.

III

Телефонная будка мала, горяча и тесна, как утроба матери. Ему отвечали разные голоса — удивленные и уверенные, выражавшие сочувствие и с нотками непонимания. Словно морские волны по ту сторону провода. На улице темнело, становилось тише. Зажглись красноватые огни. Было жарко. Он сел в машину и поехал. Ему казалось, что езда поможет снять напряжение. Он медленно удалялся от больницы. "Только бы отец не умер, — молчаливо молился он и плакал без слез, — только бы не умер. Сделайте так, чтобы остался в живых. Я не перенесу его смерти. Если он умрет, я останусь сиротой, и все будет по-другому".

Перед ним и за ним двигалась река огней и сверкал

неон: "Ко-ка ко-ла", "мы-ло", "ю-ве-лир-ные изделия"... Он был одинок и изолирован в потоке машин. Доктор экспериментальной биологии Иехошафат Бен-Шалом. Деление клеток начинается в хромосомах ядра. Если изолировать молекулы кислоты, можно будет на них влиять. Каковы хромосомы в ядре клеток отца? Биология не дает на это ответа. Отца не положишь под микроскоп. Биология оставляет без ответа главные вопросы жизни. В настоящее время она ничем не может помочь. Сердце отца трепещет и бьется там, наверху, и кто знает, вернется ли он домой, в кибуц. Двенадцать лет Иехошафат не возвращался домой, не видел отца, не говорил с ним. Их разделяло затянувшееся болезненное и глухое молчание...

Они расстались надолго, как море растает с берегом, когда уровень его понижается. Понемногу забывали друг друга, и делали это сознательно. "Я ухожу", — сказал тогда Иехошафат. "Нет, — ответил отец, — ты этого не сделаешь". Но решающее слово осталось за сыном. "Не будем спорить", — сказал сын. "Нет", — снова повторил отец. "Я хочу учиться, — сказал Иехошафат, — у меня есть будущее, мне об этом сказали понимающие люди". "Ты не можешь уйти. Подумай. Ты будешь счастлив здесь". "Если я этого не сделаю, то перестану быть самим собою. Пойми это, отец". "Не хочу понимать. Взвесь все хорошенько. Если ты уйдешь, я не хочу тебя больше знать". Это молчание... Эта решимость... Эта уверенность... Он уйдет, чтобы разбить их. Чтобы посмотреть, что за этим кроется.

Спустя неделю, в сухой знойный день, когда Иехошафат пришел попрощаться с отцом, ему сказали, что тот ушел на работу.

Вокруг населенного пункта была каменная стена, а на ней — зеленое битое стекло. Но их уверенность в

своей силе была крепче любых крепостных стен. Они обосновались в топи и трясине 1922—1923 годов и хоронили своих мертвецов на голом участке поля. Были там белые палатки, была цистерна из жести, установленная на деревянной башне. Ночью зажигали керосиновые лампы и при их свете читали в палатках Маркса, Борохова, Библию. А из соседней палатки доносились стоны больных малярией. Иногда приходили посланцы с брошюрами из центра, и тогда они танцевали до утра.

Парами и в одиночку они сеяли возле вади, а потом с детьми на плечах ходили смотреть на первые всходы пшеницы, как на чудо из тех чудес, свидетелями которых были их далекие предки. Без конца дискутировали. Звонили в сигнальный колокол и вставали в полночь, как некогда вставали их отцы и деды, чтобы молиться, читать псалмы и траурные элегии о разрушении храма. Но они не молились, а собирались в столовой, чтобы поделиться друг с другом одолевавшими их страшными сомнениями. Часть из них вернулась в те страны, откуда они приехали, другие умерли от малярии, некоторые оставили поселение и превратились в торговцев и мелких хозяйчиков. Но большинство продолжало жить среди этих крепостных стен, чтобы затем их пробить изнутри.

Если он сейчас пойдет к Эйнат, то получит полную порцию сочувствия. Сочувствия, жалости и сострадания со стороны женщины, хорошо понимающей сумасбродства любимого мужчины. Она помолчит, присмирееет, склонит головку, сядет напротив него в своей гостиной. И... ничего не поймет. Ее сочувственное молчание — это вклад в ее борьбу за право быть с ним, когда есть законная жена. Но он не хочет, чтобы его жалели. Он не хочет и понимания. Отец никогда не пытался его понять и никогда не жалел.

До каких же пор отец будет для него мерилком и масштабом всего? Он ведь, черт подери, уже взрослый, человек с именем. Никто даже не знает, что у

него есть отец. Много замыслов в сердце человека, но сбудется то, что определено отцом*. Тот, кто уверен в себе, может умереть и умертвить.

Официант принес дымящийся кофе. За соседним столиком беседовали две дамы. Электронная часть его мозга прислушивалась, не вникая в слова. Люди живут так, будто впереди у них вечность. Беседуют о морали, политике, о будущем. Улыбаются, попадают в сети любовных интриг, действуют осторожно или затевают войны. С тех пор, как он расстался с отцом, тот всегда незримо был рядом: он не переставал о нем думать. Но Иехошафат знает: отец не думал о нем ни минуты. Отец отстранил его, как ненужную вещь. С тех пор, как он покинул кибуц, он перестал быть нужным и перестал существовать для отца.

— Хотите расплатиться?

— Сколько?

— Две лиры и двадцать агорот. Чудная погода. Очень хорошая зима.

— Что?

— Я сказал, что сегодня очень хороший день... Вы чем-то озабочены. Как поживает супруга?

— Спасибо. В порядке.

— Надеюсь, вы помните меня... — Официант подобострастно хихикнул и согнулся. — Я послушался вашего совета и поехал к горячим источникам Тверии. И боли в самом деле прекратились. Моя жена не перестает вас вспоминать. Я ей сказал, что вы врач.

— Не стоит благодарности. Это был дружеский совет.

— Моя жена очень уважает врачей. Когда наш сын кончит учебу, он станет врачом. Иметь своего семейного врача — наша заветная цель. Всю жизнь мы об этом мечтаем. Когда мы приехали из Европы, я сказал жене: раз мы все это пережили, следует подумать о будущем. Надо сына послать учиться, хотя для нас это

*Парафраз известного выражения из "Притч" Соломона (19, 21): "Много замыслов в сердце человека, но сбудется то, что определено Богом".

трудно. Вы понимаете, ведь никто нас не поддерживает...

— Две лиры двадцать... Есть сдача?

— Спасибо. Может быть, заглянете в синагогу? Стоит попробовать. Очень успокаивает. В нашу общинную синагогу приходит много людей, и даже вовсе не набожных.

— Есть тут телефон?

— За стойкой. Кругом. Вон там.

Кажется, где-то на линии сидит и внимает сам Бог. Можно ли позвонить ему? Может, официант знает?.. Для короткого разговора: сотвори милость и сохрани жизнь этого упрямого старика. Может быть, рассказом о жертвоприношении Исаака можно снискать Твое расположение? Это нетрудно инсценировать. Я снова стану ребенком, а отец занесет надо мною нож, и, может быть, я спасусь благодаря его праведности. Понятно, что счастливый конец должен быть известен заранее. А барана можно взять из овчарни кибуца и уплатить казначею. Только яви, Боже, свою милость и дай знак, какой-нибудь сигнал. Ради этого можно пожертвовать очень многим — своим покоем, своими удачами, своим романом с Эйнат, даже детьми, можно отдать полжизни. Он даже готов вернуться в кибуц и выдержать недоуменные взгляды его членов, когда по вечерам будет расхаживать среди полей и насаждений.

— Можно сестру Рухаму из терапевтического?

— У телефона.

— Как он себя чувствует?

— Немного лучше, но состояние все еще очень тяжелое. Тут сейчас целая делегация из кибуца. Мы не разрешили им войти. Ему трудно говорить. Он хочет, чтобы вы пришли.

IV

В кибуце должен был родиться второй ребенок. В бурную дождливую ночь его мать везли на старом грузовике. Ехали по непролазным болотам, по местам,

где арабские рабочие во время войны проложили давно забытую дорогу. Некоторые участки были совершенно разрушены зимними ливнями и провалились в болото. Часть пути грузовик прошел с помощью мускульной силы. Ребенка и мать сопровождала почетная стража из четырнадцати здоровых парней, которые были выделены для того, чтобы следовать за машиной и толкать ее. Роженица сидела в кабине шофера и кусала губы. Дождь проникал вовнутрь сквозь треснувшие стекла.

Среди этих парней был и Иосеф. Забрызганный грязью с ног до головы. Всю дорогу он упирался в машину плечом и не проронил ни слова. Парни ругались, потели, но их лица светились радостью праведников, выполняющих заветы Торы. Рождение ребенка было частью тех чудес, которые происходили с ними. Они видели в этом признак своей силы в этой стране. Сейчас ее уже нельзя назвать "страной, пожирающей своих жителей"* — говорили они друг другу, и грязные и обросшие лица их излучали свет. Вот у нас еще один ребенок. Это будет и х ребенок, он принадлежит всем. Иосеф и его жена были лишь инструментом, подкрепляющим определенный тезис идеологии. Новорожденный воплощал самую суть их веры. Ребенок будет расти и, вопреки страданиям и голоду, вопреки колебаниям и сомнениям, он превратит их усадьбу, окруженную крепостной стеной, из мечты в реальность. Когда ночью их будил плач ребенка, они удовлетворенно улыбались — ведь раньше вокруг стояла бесплодная тишина. Теперь есть продолжение рода, продолжение их преходящих усилий.

Когда над Иехошафатом совершали обряд обрезания, пришли все. Даже те, кто противился обряду, носящему, по их мнению, чисто религиозный характер. Они поступились на сей раз своими убеждениями. Сигнальный колокол гудел, а на столе красовался большой пирог. В течение целой недели кибуцникам выдавались уменьшенные порции хлеба, чтобы иметь воз-

*Числа, 13:32.

можность ко дню торжества испечь несколько пирогов.

На праздник прибыли арабские шейхи и офицеры британской полиции. И их удивление было неотъемлемой частью общей радости. Кибуцники окружили младенца своими большими телами, одетыми в рваные пиджаки и куртки. Они бережно подняли его над головами.

Всю ночь они плясали, а в соседней комнате сидела мать и кормила Иехошафата грудью. Спустя три недели она скончалась от малярии. Ее похоронили на открытом участке поля рядом с пятнадцатью кибуцниками, которые умерли за эти годы. Там она покойся вечным сном и поныне. Но ее ребенок жив.

Он вышел из машины возле больницы. Она, освещенная электрическим светом, высилась наподобие Вавилонской башни. Там, в институте, опыты будут продолжаться без него. Профессор все объяснит студентам, а они лихорадочно законспектируют. Спектакль будет продолжаться, и в книгу жизни будет вписана еще одна глава. Кто-нибудь из молодых заменит его и будет действовать так же успешно. Они спрячут тетради в портфели и выйдут в большой мир. Посмотрят очередную киноленту, нежно прильнут к своим девушкам, приготовят задания и, полные радужных надежд, начнут готовиться к экзаменам.

Он снова поднялся на знакомом лифте, где был сейчас единственным пассажиром. Вечером в больнице царила особая тишина. Слышались вздохи больных и торопливые шаги, тихие, как шорохи насекомых. К звукам примешивались запахи антисептических препаратов.

В комнате ожидания, напротив входа в палату отца, сидела делегация из кибуца.

Те двенадцать лет, что он их не видел, не изменили их. Они сидели большие, грузные, накупившиеся, удивительно похожие друг на друга. С ними была их вечно чем-то напуганная фельдшерица, с наклоненной вперед головой, готовая в любую секунду сорваться с места,

чтобы предупредить опасность и ринуться кому-то на помощь. Они поглядели на него, не шевельнув бровью. И хотя он знал, что теперь они к нему в общем равнодушны, он почувствовал внутренний озноб, будто был в чем-то виноват. "Я не хотел идти на это судилище, — подумал он. — Обстоятельства привели меня сюда".

Они о чем-то вполголоса беседовали. Когда он появился, все, как по приказу, умолкли. Остановившись у дверей комнаты ожидания, он тоже молчал. Странно, что никто из них не вспомнил начало этой эры, те горячие, лихорадочные денечки. Крепостную стену, чувство уверенности и ребенка, родившегося в старом, полуразбитом грузовике.

Он всегда любил их руки. Как невозможно скрыть любовь, так они не могли спрятать свои руки с большими сильными пальцами.

Среди них не было молодых: у Иосефа не было друзей среди молодежи. Спустя минуту поднялся Моше. Он вышел из строя и поздоровался.

— Здравствуй, Иехошафат, — сказал он тихо и протянул руку.

Моше был птичником, остался им и теперь. Он был легким, подвижным, высоким. Голова обрамлена сединой, лицо изрезано морщинами, глубоко посаженные глаза. В ту далекую пору он частенько навещал Иосефа, качал малыша на коленях и пел ему грустные местечковые песни.

— Как поживаешь? — спросил Моше, держа руку Иехошафата в своей шершавой ладони. Он и сейчас улыбался немного таинственно и загадочно, как в ту пору. — Мы слышали о тебе много хорошего. Ты стал большим человеком, а?

— Не слишком, — ответил Иехошафат с улыбкой.

— Приехал бы когда-нибудь, — продолжал Моше вежливости ради. — У нас сейчас много молодежи. У нас теперь весело. Как поживает Зива?

— Спасибо, — сказал Иехошафат. — Живем понемногу.

— А мы много построили. Хозяйство очень измени-

лось к лучшему. И пейзаж стал красивее. В усадьбе много лужаек.

— Как это случилось с отцом? — спросил Иехошафат, хотя вовсе не собирался спрашивать.

— Это произошло внезапно. Мы кое о чем догадывались, но он, как всегда, никому ничего не говорил и продолжал работать. Это случилось совершенно неожиданно, в полдень. В столовой. Вдруг почувствовал себя плохо. Кое-как добрался до своей комнаты. Мы сразу же позвонили врачу. Ужасно. Когда явился врач, он уже был без сознания.

— А раньше, до того, ничего не было? Расскажи пожалуйста, — попросил он, хотя и не хотел просить.

— Иосеф это Иосеф, ты же знаешь. Гордец. Упрямец. Ведь как он тебя любил! Но за все эти годы ни разу даже не вспомнил твоего имени. Мы сказали ему: пригласи-ка к нам нашего внука. Все приглашают. В конце концов он же не единственный. Сейчас у многих дети оставили кибуц. Но он и разговаривать не захотел. Все как-то смягчились, только не он. Ты же знаешь, Иехошафат, его принципиальность. Люди смягчаются, ведь жить-то надо. Когда человек стареет, он на некоторые вещи начинает смотреть иначе. Но только не Иосеф. Ну, да не хочу вмешиваться.

— Нет, нет, — сказал Иехошафат. — Напротив. Это для меня очень важно.

— Вначале все смотрели на это немного криво. Но теперь сердиться нечего. Это, понимаешь ли, дело вполне законное. Люди приходят в столовую и на усадьбу с внуками. Все. Мы уже немолоды. У нас уже не так много осталось в жизни радостей, кроме детей. Может, приедешь? Впрочем, это уже не мое дело.

— А есть у отца женщина, которая бы за ним присматривала?

— Нет. Были у него, конечно, разные встречи. Он ведь не монах. Мы хотели устроить ему личную жизнь, познакомить с одной. Категорически отказался. Этаким упрямец. Редкостный человек.

— А как ты, Моше?

— Я? — Сквозь морщины заиграла добрая улыбка. — Ничего. Тружусь. У меня уже три внука. Немножко странно быть дедушкой. Но привыкаем.

— А Ури?

— Ури учится. Уже второй год. Кибуц послал его в университет. Точнее говоря, он сам захотел. Утвердили большинством голосом. Если бы ты обратился к нам сегодня, и тебе бы разрешили тоже. Да, за счет кибуца.

— Но ведь Ури...

— Верно, верно. Ури тогда выступал против тебя. Но все так быстро меняется. Я иногда даже не могу уследить за всеми переменами, но видно, так и должно быть. Да.

— А потом, когда кончит? Что он будет делать? Ури об этом подумал?

— Не знаю. Право, не знаю. Наверное, и Ури не знает. Будет хорошо.

Все течет, все меняется. Дует ветер — и возвращается на круги свои*. Эта делегация, что сидит сейчас, накупившись, в черных пиджаках, у входа в отцовскую палату, голосовала против него и за Ури.

Ури родился до Иехошафата. Он был ниже его ростом и очень смешлив. Когда сердился, страшно вопил и бил кулаком по столу, как молотом по упрямому железу. Удар отдавался гулким эхом в обширной столовой.

Ури и Иехошафат были друзьями по обстоятельствам жизни, но между ними не было душевной близости. Гора родила мышь. Тяжкие проблемы тех дней с их секретами, перешептыванием товарищей во дворе, пронизывающими взглядами решаются сегодня очень просто, с помощью денег. Только Иосеф, как Хони ха-Меаггел**, вернется в свой круг и ничего не простит

* Парафраз из Экклесиаста (1:6).

** Один из известных талмудистов. Легенда гласит, что в год засухи он начертил на земле круг ("ха-меаггел" — значит делающий круг), встал посередине его и заявил: "Творец вселенной! Я не тронусь с места, пока ты не сжалишься над своими сыновьями". И после этого начал накрапывать дождик.

грядущим поколениям. "Из глубин я взывал к тебе, Иосеф..."* Ты всегда был первым среди львов** . Они проломили стену, забыли все дни рождения, холмы снова стали топкой равниной, подвластной бедуинам*** . Морские волны, бушевавшие во время этой идеологической эры, слизали горы, которые когда-то были огнедышащими. Очень хорошо быть слушателем и бунтовщиком, когда есть против кого бунтовать. Теперь они швыряют кирпичи, из которых строили свои храмы, вниз, в морские волны, хотя священнические одеяния и божественное величие окружают их и поныне, как когда-то.

Моше вернулся на свое место, сразу растворившись среди членов делегации. Иехошафат почувствовал на плече мягкое прикосновение руки.

— Вы можете зайти, — сказала Рухама, появившаяся из боковых дверей. Она повернулась к делегатам:

— К сожалению, не смогу вас впустить. Может, завтра его самочувствие улучшится. Переночуйте в городе, утром позвоните.

V

В палате спиной к нему сидел доктор Шимеон. Окруженный разноцветными стеклянными и резиновыми трубочками, он напоминал африканского жреца. За чашей этих трубок и аппаратов Иехошафат почти не видел отца. Только отдельные участки его лица проглядывали, как лучи в пасмурный день. Рухама стояла, прислонясь к двери, сложив на груди свои белые руки. Доктор встал, обернулся к нему, сверкнув очками, и пожал его руку холодной, как лед, рукой.

* Слегка видоизмененный стих из Псалмов — "Из глубины взывал к тебе я, Господи" (130:1).

** Парафраз пословицы: "Лучше быть последним среди львов, чем первым среди лисиц" (Поучения предков, 5:15).

*** Первая половина предложения — парафраз из Исайи (40:4), где говорится о возвращении евреев на свою родину. Но тут это пророчество вывернуто наизнанку. Исайя возвещал возрождение пустынных земель, здесь же говорится о запустении.

— Не стану от вас скрывать: состояние тяжелое. Только что кончился сильный приступ. Трудно говорить о шансах. Он нам не помогает, а это нехорошо. Я просил вас прийти, чтобы вы помогли нам. Он все время вспоминает вас, и, возможно, вам удастся. Важно вывести его из состояния безразличия, пробудить в нем желание жить. Это сейчас главное: сильная воля к жизни. Иначе я не могу взять на себя ответственность. Поймите, он не молод. Если произойдет ухудшение, сразу же звоните. Вон там кнопка.

Врач говорит так, будто Иехошафат действительно несет какую-то ответственность за отца. Минутное чувство неприязни, но ему удалось подавить его.

Сын сел напротив отца. Глаза отца открыты. Надо что-то предпринять и как можно скорее. Возбудить в нем желание работать, вернуться на нашу грешную землю. Его слабость ужасна и неправдоподобна. Может быть, это даже не он... Иехошафат осторожно поднял беспомощно свисавшую руку отца и положил на одеяло. Затем подвинул ее немного вглубь, чтобы она снова не упала. Поднял с пола отцовские очки.

— Папа...

Его голос прозвучал здесь странно, как голос с улицы, из города, снаружи. Иосеф не реагировал. Сын следил за его тяжелым, прерывистым дыханием. Теперь, в этот вечер, они снова были вместе и одни.

— Папа, — повторил он. Иехошафат не хотел этого, но голос его звучал умоляюще. Он вспомнил, как отец смеялся, подбрасывая его под самый потолок. Когда отравилась их собака и околела у них на глазах, он, восьмилетний малыш, плакал навзрыд, и в глазах отца тоже появились слезы. Отец плакал вместе с ним. Он хотел удрать в горы, но отец удрал вместе с ним. Отец — это целый мир. Это целая жизнь. Он часто бранил сына, но никогда не обижал его.

Отец. Он приносил с собой чувство уверенности. Во всех его делах была какая-то особая правда. Даже когда он менял кожу, это была правда во всей ее наготе. Он никогда не был груб, только кричал, раздражался.

Как-то раз он на целый день взял ребенка в поле, а когда воспитательница выговаривала ему потом, весело смеялся, и в конце концов засмеялась и она. Все уходило, умирало, менялось, а отец оставался.

Отец. Он и кибуц, он и крепостная стена, он и дети, он и воспитательница. Когда он говорит, за этим что-то кроется. Когда он стреляет в арабов, это значит, что они плохие. Когда он жмет им руки, это значит, что они хорошие. Все ясно, и отец — как увеличительное стекло: мир в нем цельный, большой и со множеством подробностей.

Иосеф замигал, и Иехошафат умолк. Его голос в конце концов проник к отцу через стену трубочек, склянок, банок, одеял и через толщу двенадцати лет разлуки.

— Иехошафат, — произнес отец внятно.

— Да, папа. Я здесь. Я буду с тобой.

— А где товарищи? Там? Пусть войдут. Я не хочу, чтобы они ждали.

Он говорил с большими паузами — сказывалось сердце.

— Все в порядке, папа. Они придут. Только держись.

— Как поживают Зива и ребенок? Приведи их завтра.

— Хорошо, папа, приведу. Только держись. Врач сказал, что тебе надо только очень захотеть...

— Он ничего не понимает, Иехошафат. Приведи ребенка, я хочу его видеть.

— Разумеется. Завтра. Когда начнешь принимать пищу. Вы будете с ним играть. Он тебя очень полюбит.

— Я кое-что приготовил для него. В портфеле. Открой, там, слева. Я подумал, что ему захочется немного поиграть. Пусть приходит ко мне домой.

— Ну, конечно. Зива тоже очень хочет. Только выздоравливай.

— Теперь многое у нас изменилось. Выросли деревья. Устроили детям площадку для игр. Он может взобраться на трактор, а я буду его держать. Он по-

дымется в кабину, я ему помогу. Расскажи, Иехошафат.

— О чем рассказывать? Лежи спокойно. Отдыхай, не волнуйся. Все будет в порядке, папа. Врач сказал, что не надо волноваться и разговаривать. Главное, чтобы ты сильно захотел — и ты поправишься.

— Они не понимали меня, Иехошафат. Ты слышишь? Они не знали меня. Я... А... Нехорошо мне. Что-то было не в порядке. Что-то было не так. Не мешай мне говорить.

В отрывистых словах — лихорадочная поспешность, желание успеть, договорить, и это очень плохо.

— Папа, завтра, завтра. У нас много времени. Еще много дней впереди. Сейчас не надо. Ты еще слаб.

— Не перебивай. — Он говорил, не открывая глаз. — Хорошо, что ты пришел. Я помню тот день, когда ты родился. Это торжество. Мы были тогда совсем другими. Если бы ты все время был с нами, ты был бы не так нужен мне сейчас. У меня ведь никого, кроме тебя. Все изменилось. Другие люди.

— Отец, хватит сейчас, хватит.

— Сядь здесь. Так. Чтобы я тебя видел. Одна женщина как-то мне сказала, — это было очень давно, — что я человек, который посвятил всего себя идее. Ты не представляешь, как я этим гордился. Но все это чепуха. Ты слышишь? Они меня уважали. Они думали, что я сильный человек, потому что прогнал тебя. Люди всегда почитают силу. Ты знаешь, Иехошафат? Это все — от нашего движения. Эта уверенность, это умение втиснуть любое дело в мертвые формулы. А для того, что не укладывается в эти формулы, нет места. Они учили меня замыкать живых людей за непроницаемыми стенами идей. Это ложь.

— Отец, ты обо всем расскажешь завтра, послезавтра. Это не убежит. Я буду с тобой.

— Глупости. Все убегает. И прежде всего жизнь. Нет вечной жизни. Мы думали, что у нас в досталь времени. Что мы строим нового человека и новый мир. Ты не можешь себе представить, как все вначале было краси-

во. Мы ликовали и говорили, что все нужно разрушить до основания и начать все сначала. И религию, и дом, и родителей — все. В нас было столько уверенности, а я был в числе первых. Мне верили, потому что я сам верил. Но, может быть, все было неверно. Что у меня сейчас осталось?

— Отец, хватит. Ты сейчас слаб. Я не хочу слушать.

Когда по жилам течет кровь, красная, густая кровь старого человека, она трется об узкие стенки сосудов. Эта кровь прокладывает себе путь к сердцу через причудливые проходы и тайники. Струя изгибается, поднимается кверху и приносит капли жизни больному и упрямому телу. Большое красное сердце (у отца оно большое, ведь сердце человека такого размера, как его кулак, а кулак у отца внушительный) пытается качать, работать. Сердце, которое видело жизнь в расцвете и качало для своего хозяина свежую и молодую кровь, когда он осушал болота, трудился, любил, мечтал, надеялся. И теперь оно, слепое и красное, так старается... Неужели вдруг остановится?

— А твоя мать? — спросил отец самого себя. — Ты когда-нибудь спрашивал, от чего она умерла? Она не могла больше выдержать. Все время боялась. Плакала по ночам. Она знала, что я ей изменяю. Мы тогда смеялись над словом "семья". Она говорила: "Иосеф, вернемся. Иосеф, уйдем". Я смеялся ей в лицо. Когда я возвращался с пахоты, она сидела на койке в нашей палатке и плакала. Когда ты родился, она думала, что это ей поможет. Она... Тяжело мне...

Он осекся и задышал тише. Иехошафат видел, что жизнь его покидает. Так говорит человек, который собрался умереть. Но отец не должен умирать! Отец — его опора.

Огонь уличных реклам спустился ниже и осветил палату причудливым неоновым светом. Откуда эта страсть излить свою душу, все разрушить, унести с собой свою большую, нелегкую жизнь? Без иллюзий. Зачем, черт возьми? Зачем все рушить и разбивать? Сделай, Боже, так, чтобы он снова стал тем, кем был. Что-

бы он встал, вернулся домой и надел спецовку... Если бы он умер раньше, было бы легче. Но это позднее раскаяние спустя двенадцать лет... Нет сил слушать. Лучше бы он был за границей и там получил телеграмму. И спешно вернулся к безмолвной могиле. О, почему так жестоко наказание...

— Я думал, у меня есть право наказывать... — Иосеф снова заговорил, медленно, слабым голосом. — И право судить. Мы думали, что мы лучше других. Всегда всех судили. Глядели свысока, сверху вниз. Почему я прогнал тебя, Иехошафат? По какому праву? Мой отец, бывало, говорил там, в диаспоре: "Не суди ближнего, пока не побываешь на его месте"*.

А я осудил единственного сына. Божий бич, палка для наказаний, праведный Иосеф**.

Он с трудом улыбнулся, и улыбка застыла, как маска смерти.

— Да будет проклято то место, где отец стал судьей своего сына... Почему я так поступил? Чтобы быть праведником? Нет, хуже того. По привычке. Ты слышишь?

— Да, отец, — сказал Иехошафат, страстно желая очутиться в другом месте. — Я слышу.

— Я не уверен, что ты все понял. Но это не важно. Мы сами себя окружили стеной. Стеной идей. И все ради чего-то и во имя чего-то. И никогда ради меня, ради тебя, ради самих себя. Презрен тот, кто хлопочет за себя, — считали мы. Мы забыли, что такое сострадание и любовь. Мы построили населенный пункт на новой родине. Все это было, и всего этого уже нет. А сколько мы наломали дров... Ты слышишь?

— Слышу, отец.

Не хочу. Нет. Не хочу знать, не хочу слышать. Вернуться бы к детству, к запаху полей, к крепостной стене и равнине, к убежденности и вере. У меня никогда не было ни стены, ни веры. Я не создавал населенных пунктов. Ты строил большую жизнь, а я и в молодости

*Популярное изречение из книги "Поучение предков" (2:5)

**Имеется в виду библейский Иосеф, сын праотца Иакова.

был несчастным. Лучше бы мне быть отверженным, только бы ты, отец, остался жив.

— Слушай — и забудь... И беги. Все пройдет... Я знаю... То была роковая ошибка. Вы должны понять, на чем мы споткнулись, где отклонились в сторону. Всю жизнь мы кого-то обвиняли. Ты сам выбрал свой путь, и тебе некого обвинять, Иехошафат. Бог тебе судья.

Он задохнулся и посинел. Дыхание стало тяжелым. Он закашлялся, захрипел.

Иехошафат ничего не видел. Он протянул руку, вслепую нашел звонок и нажал кнопку. Потом услышал быстрые шаги. Дверь открылась, кто-то осторожно взял его и вывел из палаты, возвращая к жизни.

Перевел с иврита А. Белов

С. ИЗХАР

С. ИЗХАР (Изхар Смилянский) родился в 1916 году в Реховоте в семье Зеева Смилянского. Участвовал в Освободительной войне и этому периоду посвятил свои первые новеллы. Вокруг одной из них "Хирбет Хиз'а", которая была экранизирована для телепрограммы, разгорелась бурная дискуссия. Заслуживают внимания роман "Дни Циклага", сборник "Роща на холме" и др. Приобрел известность также как выдающийся публицист, лит. критик и общественный деятель.

ЭФРАИМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ЛЮЦЕРНУ*

— Не мешайте, дайте кончить! — взволнованный возглас Шмуэля перекрыл возникший в комнате шум. — Не мешайте!.. Что я хотел сказать? Да. Мне ясно: это было бы плохим прецедентом. Разве есть среди нас такой, кто всем доволен, кто может встать и поклясться, что полностью удовлетворен своей работой? Такого не бывает. Ясно. Нельзя открывать лазейку для тех, кто хочет увильнуть. Минутку! Я еще не кончил, дайте кончить!.. Поэтому мне ясно, что когда при распределении работы сталкиваются чьи-то личные склонности и интересы кибуца — приоритет за кибуцом. Хозяйство на первом плане, хозяйство прежде всего! Надо тянуть лямку. Мне это ясно. Хозяйство требует — и мы даем, хотим того или нет. Хозяйство — основа основ.

— Почему бы тебе не кончить словами: "Мы рабо-

*Глава из одноименного рассказа.

таем ради будущего. Мы страдаем, зато нашим детям будет хорошо”, — обиделся кто-то, сидевший по ту сторону стола.

— Для хозяйства важно, — продолжал Шмуэль резко, демонстративно, не обращая внимания на такие мелкие выпады, — хозяйству нужен человек, который работал бы на кормовых. Такого человека надо найти во что бы то ни стало. И не нужно разводить дешевой философии, время которой давно прошло, и не к чему зря обижаться, — Шмуэль все-же не удержался от ответа тому, кто бросил реплику. — Это ясно.

— И таким человеком может быть только Эфраим? — это был тот самый голос. Теперь обладатель его разгорячился, забыв собственные иронические слова, сказанные минуту назад.

— Вполне возможно. Выходит, ты — самый подходящий.

— А почему ты так думаешь? Мне непонятно.

— Товарищи, — вмешался Авигдор, — прошу вас, перестаньте! Сейчас не время пикироваться. Ицик, ты просил слово.

— Мы тебя все понимаем, поверь мне, Эфраим... Если бы был иной выход, разве не пошли бы тебе навстречу? Но как? Подскажи сам! Поверь, многие бы выбрали другую работу. Я и сам знаю — многие недовольны, но что поделаешь? ”Служба не дружба...” Когда надо — не о чем говорить. В конце концов не так уж страшно, поверь мне. Надо уметь держать плуг крепко в руках...

Еще говорил Давид, который сетовал, что будет плохо, если Эфраим действительно покинет кормовые, ведь он специалист и ветеран, с ним все советуются, и он особенно предан люцерне... И т. д., и т. п. И на кого он ее теперь оставит? И т. д., и т. п. За те четыре месяца, что они работают вместе, он, Давид, многому научился и уже может отличить люцерну от клевера... Но дело не только в этом. Он вообще не замечал, чтобы Эфраима что-то тревожило, беспокоило, чтобы он от чего-то страдал, был не ”в

своей тарелке". Напротив! И т. д., и т. д.

Голос его стал плаксивым и в нем звучало: "Только не вините меня"...

Потом снова взял слово Абрамка, который, стараясь никого не обидеть и опасаясь, упаси Господи, быть заподозренным в неискренности, говорил так путано и непонятно, что опять поднялся невообразимый шум.

Было странно, что такой простой вопрос, как распределение работы, вызвал столь бурную реакцию. Но вот во время одной из пауз снаружи донесся голос. Говорила женщина, стоявшая за окном, не подозревая, что ее могут услышать в помещении. Когда она поняла, что ее услышали, — испугалась, сжалась в темноте, и голос ее осекся. Но то, что она сболтнула по простоте душевной, уже вышло наружу, заполнило всю комнату и как бы обнажило сущность дела, сняв с него все покровы и одеяния и поставив все точки над "и". А сказано было коротко и ясно, без тумана и риторики:

— Отдохнуть ему захотелось, Эфраиму, силушки нет у него, бедняжки... Дайте ему работу полегче, и к чему все разговоры!

И теперь на всех лицах можно было прочесть: мы ничего не слышали, ничего дурного не думали, но теперь все ясно, все понятно. И все, о чем говорилось, сказано не зря. Легкой жизни тебе захотелось! За наш счет? Нет, братец, не выйдет. Коли живешь с нами, так и тяни лямку, гни спину, как все. Здесь не устраняются от общего дела, и ни для кого нет привилегий. Нет здесь удобных тропинок, для избранных. Мы не можем себе этого позволить. Здесь ни у кого нет особых прав. И никогда не будет льгот для одиночек. Все мы одинаково жаждем перемен, облегчений, лучших условий жизни, другого стиля работы и другого отдыха... Хочешь читать? — Все мы хотим читать, и есть у нас для этого литературный кружок, проводятся беседы, устраиваются инсценировки. Хочешь музыки? — Пожалуйста, Шмуэль принесет пате-

фон, все мы расположимся на травке и будем тихо внимать, скрывая зевки, будем наслаждаться вместе. А разве мы не распевали так складно совсем недавно — сегодня вечером?

Тебе захотелось бездумно и бесцельно побродить? Пожалуйста! Есть группа туризма, кружок любителей природы и изучения родной страны. Есть культкомиссия, библиотечный кружок, товарищеская комиссия. Все есть у нас в кибуце. Что же касается человеческой души и природы — все мы читали А. Д. Гордона* и кое-что в этом деле смыслим. Но все мы должны действовать сообща. Не может быть никаких исключений. Более того: если ты такой особенный — прояви свои способности, организовав какой-нибудь новый кружок, и мы избавимся от коллективной скуки. Действуй смело, без колебаний. А если и этого мало, — полюбуйся на Авигдора, который разъезжает от нашего имени, выполняя разные поручения, а мы неотлучно сидим здесь. Единственный, ты говоришь! А почему бы и нет? Есть у нас много проблем — проблема отдельной личности, ее отношения к коллективу, проблема холостяков и одиноких женщин, да мало ли других! И вообще разве мало в нашей жизни горечи, нерешенных вопросов. И разве все идет гладко, четко, хорошо, как по маслу? Но есть в нашей жизни и прекрасные моменты, приятная атмосфера братства, что ли... Разве ты об этом не слышал? (Кто это так рассуждает? Чей раздается голос?)

Они все еще дискутируют. Остроты и шпильки летят во все стороны. Напрасно старается Авигдор, стучит по столу чашкой. Аврамка так вытянул шею, что на ней вздулись вены, Шмуэль "режет" короткие фразы своим низким горловым голосом и бросает их в пространство. Двора протягивает руки в сторо-

*А. Д. Гордон (1856–1922) — ветеран рабочего и кибуцианского движения. Проповедовал идею возвышения человека физическим трудом. Служил примером скромности и благородства, воплощая свою идею в жизнь.

ну Меира, который кивает, поддакивая каждому ее слову: "Точно, правильно!"

Да, здесь сказано, с убеждением и горячей верой, немало громких слов о "героических делах", которые они совершают, и о "мечте поколений", которая здесь сбывается. Здесь можно слышать цитаты из передовиц насчет строителей, что кладут кирпич на кирпич, пласт на пласт, возводя здание государства, то, о чем поется в песнях с танцами и без танцев, и все без единой нотки сомнения. А что? Мы и на самом деле такие: воплощаем мечту. Не смотрите на нас, что мы иногда этакие, а иногда немножко другие, не в этом суть. Постарайтесь заметить в нас то, что стоит видеть: геройство, скрытые силы, пробивающие себе русло, целеустремленность.

— Товарищи, так мы никогда не кончим. Уже поздно, а завтра рано вставать. У кого есть конкретные предложения?!

Но таковых не оказалось. Многое можно было еще сказать, раз уж прорвался сей мощный и бурлящий поток. Люди говорили и говорили. Говорили, не слушая друг друга. Один — про непорядки на работе. Другой сравнивал свои невзгоды с удачами других. Каждому хотелось высказаться.

А о чем толкует Нехама? Ох, эта Нехама. Недавно у ее рта залегли такие ямочки, свидетельствующие об упрямстве. Она стоит, прислонясь к стене, и то ли дивится, то ли насмехается. Мимо ее глаз и ушей ничего не проходит.

"Зачем из-за меня столько шума?" — думает Эфраим. Он уверен: вот-вот начнут его понимать, заступаться, входить в положение. Проанализируют ситуацию и будут на кого-то показывать пальцем, шептаться и ораторствовать... пока не пора будет спать.

Сейчас бы самое время смыться, подойти к Нехаме, позвать: "Идем, девочка, погуляем", — и молча и стыдливо проскользнуть в калитку, чтобы не заметил ночной сторож и не пристал с предостережениями и разговорами о "серь-

езном положении" и "этих днях". Они спустятся по дорожке, огражденной ползучими виноградными лозами, дойдут до сосновой роши, проберутся через нее в темноте, сулящей недоброе, и остановятся у проволоочной ограды. Их проводит немолчный шелест сухих колючек.

Там они увидят гору, что дерзко упирается в небо, белеющие скалы, светящиеся точки соседних и далеких селений. Будут следить за скользящим лучом прожектора, вслушиваться в темноту. Хорошо так стоять возле Нехамы и чувствовать, что многое благодаря ей забыто, хотя она молчит, и он молчит, и молчит весь мир. Это подходящий момент, чтобы нашептывать приятные глупости, пусть шаблонные и трафаретные. Это час, когда в голове лишь обрывки дум и мыслей. Когда можно улыбаться, вспоминая дела, о которых, казалось, все уже сказано; укутаться в пальто и наслаждаться теплом внутри и прохладой снаружи; осязая в бесконечном течении времени частичку вечности, и до конца познать тот факт, что нельзя вырваться из своей среды, объявить ей войну. А потом можно уверенно и неприметно вернуться той же дорогой.

В комнате жарко. Облако дыма загадочно пламенеет при свете электричества. Через окошко ничего не видно с первого взгляда, кроме черного, застывшего и плотного горизонта. Потом, если долго всматриваться, темнота, черная и тяжелая, начинает таять, становится синей и затем сиренево-голубой, и вырисовывается крыша сарая и макушки деревьев, а над ними — огромное небо. На краю его, как известно, горы, и над ними в бесконечной тишине, полной томлений и излучающей чистоту, ликуают сверкающие звезды. Там прохлада, ветер, ласковый прозрачный воздух и сверчки, что звенят беспрестанно в полях. А здесь, в этой комнате, жарко, густой, плотный дым и спертый воздух.

А что делает Нехама? Молчит и молчит. Только молчит. Разве все уже сказано? Ведь и у тебя есть что сказать, Нехама. Скажи: человек не рожден для свободы. Не дано человеку из плоти и крови совмещать работу со свободой. Не ему писать законы для самого себя. Скажи: нам дозво-

лено передвигаться в тех пределах, что позволяет короткая цепь, к которой мы привязаны, чтобы пастись на лугу. И свобода та кончается, когда цепь натягивается и сдавливает шею. А дальше — смотри, вожделей, но ни шагу!

(Могу рассказать про родственника в городе. Он часовой мастер. Каждый день разбирает и собирает винтики, колесики, стрелки; торгуется, продает, покупает; подсчитывает выручку, перебирает чеки, векселя; озабоченно зевает. А вечером приходит домой, на третий этаж окраинной улицы. И так — много-много лет, год за годом, день за днем. Каждый день — часики, ежедневно — лавочная пыль. Через витрину видно, как идут люди. Минувший час ввинчивается в последующий, даже если они не очень подходят друг к другу... Часики останавливаются, звонки звонят глухо... — Неужели все это ничего не значит, буквально ничего?)

Не молчи так, Нехама! Завтра меня снова ждет люцерна. Наступит новый день, а я не знаю, вчерашний он или завтрашний. Куда ты смотришь? Что ты там ищешь? Неужели и ты считаешь, что жажда простора и свободы — у всех одинакова, как наши миски на обеденном столе — каждому по порции, и то, что удовлетворяет многих, должно удовлетворить каждого? В том числе и того, у кого ничего нет за душой, — ни желания, ни любви, ни способности действовать, ничего, кроме жажды воли и ног цыгана, чтобы бесцельно бродить и подчиняться лишь себе, слушаться только себя? А ты все молчишь... Ты застыла в своем гордом упрямстве, как раньше... Зачем, для чего?... Слышишь? Когда-то в старину мечтали о замке в гуще леса на вершине одинокой горы, но то были мечты... Только мечты, красивые, но глупые. А что теперь? Что теперь, Нехама, что-то будет?

Молчит Нехама. На сердце у нее скребут кошки. Страшной сиротливостью веет в воздухе. Такое же чувство сиротства ощущаешь иногда внезапно, днем или в полночь, когда ты в шумной толпе или одинок, как пес — и сердце начинает биться учащенно.

А ты знаешь, что такое проснуться посреди ночи? Когда доски барака едва проступают во мраке, темный потолок сосредоточенно погружен в собственную тень, а часы металлически тикают "танцбах, танцбах"* . В окнах черная

тишина, и сердце содрогается от ужаса, кажется, что все пропало, все разграблено и разрушено, и скользкая дорога ведет прямо в бездну, и не за что удержаться, и ни один живой голос не поможет сломать одиночество, хотя за стенкой спят люди, живые люди, и можно кричать, плакать, взывать: спасите!.. И становится ясно: все вокруг ложь и обман, за иллюзиями — ужас и страшная ошибка, и угрызения совести не смогут ее искупить... И становится ясным, что все твои действия, разговоры, улыбки — не более, чем кошмарное паясничание, и ты чувствуешь: тень великого страха хватается за глотку. Это правда, которую ты отталкивал, хватает и душит тебя: "Что ты тут делаешь? Зачем ты здесь?" На сей раз тебе не увитьнуть — некуда...

Темень вокруг тяжела и зла, она давит и все кругом чуждо, ой, как чуждо, непонятно, неуместно, бессердечно, как палач, и молчит, молчит, капая в душу, и сгущается в быстром тикании, и обильно изливается в бездну окружающей опустошенности... И еще подступает какое-то раскаяние, мешая, тесня и требуя; и о многом жалеешь — о пустячном и не пустячном; и кажется, что все, о чем толковали люди, — справедливо, все сущая правда. Как родная мать они желали ей, Нехаме, только добра, и если бы не ее злое упрямство... Что? И откуда у нее еще наглость критиковать и судить других? Какое право она имеет требовать, мешать им — тем, что так хорошо спят теперь?

Черно. Нет выхода. Доски едва бледнеют. Но вот ты решаешься и прыгаешь на теплый дощатый пол, бежишь босая к двери и чувствуешь, как рвется и раскрывается сердце!

Тихо и сонно шуршат две пальмы у входа, а в пекарне уже зажгли свет, теплый свет умиротворения, и глупое сердце так и льнет к одиноким, живым голосам, которые звенят там. В вышине сверкают звезды, отшлифованные до блеска, синяя прохлада падает из ночного мрака. Слышится ослиный рев, изгоняющий страх. Сухо в глазах и в сердце. И всплывает насмешка над собой и чувство стыда одновременно... Тогда она снова закутывается в простыню, смыкает веки, и какие-то сущие пустяки, специально для этой

*Аббревиатура слов "Да будет душа его связана с живущими". Традиционная надпись на еврейских памятниках.

цели извлеченные из памяти, вертятся в голове, помогая уснуть. А завтра можно будет встать свежей и работать привычно в птичнике, как каждый день, спокойно мурлыкать себе под нос, шутить и болтать с подружками... С теми самыми, от которых не избавишься, как бы тебе ни хотелось. Все свои силы приходится тратить на то, чтобы не дать им повода придрататься. И сколько ты им ни улыбайся — всегда между вами какая-то дистанция. Они что-то против тебя затаили, и как бы ждут, чтобы ты споткнулась, и пришел бы конец этой ненавистной им гордыне... И это есть жизнь, настоящая, — ха-ха — трудовая жизнь? Горстка людей, знающих друг друга до отвращения.

Но этот "свободный стиль", выставленный напоказ, и разговоры о "переоценке ценностей", о "новом человеке", "новом быте", не искоренили из сердец мещанской склонности к розовым безделушкам, не вытравили жалкой привычки пристально всматриваться в каждого, бесцеремонно мерить его глазами и обсуждать потом вполголоса подробности. Это противное "обследование" подружек в общем душе, их мысленное измерение твоего тела, его сравнение и сопоставление (все — с видом знатока), двусмысленные намеки и подмигивания, понятные только двум, и нескрываемое любопытство остальных... А потом они выходят как ни в чем не бывало в тех же синих или серых брюках, которые носят все (даже те, кому из-за жировых складок брюки противопоказаны), жадно обнимают детишек во дворе, перебрасываются парой фраз с "товарищем", что проходит мимо в грязной спецовке. Потом, почистив у входа ботинки, они исчезают в своих комнатах, где на диванах лежат пестрые покрывала и несколько подушечек с бахромой или кружевами, а на столике — цветы, и еще что-то косо положенное на полу, на столе или на диване, и все "для приятности" слегка затенено.

Но люди ко всему привыкают и перестают чувствовать, нежиться и следить за уютом и порядком. Но разве в этом суть? А все остальное в норме? Что же в таком случае остается делать? Сжать губы и напрячь все усилия, чтобы не запыть до бесчувствия, не предаться дикому танцу, не оказаться во власти неудержимой страсти, овладевшей человеком,

который скатывается в бездну по покатому склону, и нет для него преграды и закона. И тогда пробуждается в нем страх; он потрясен до основания, и ему хочется вопить сумасшедшим, нечеловеческим голосом, издавать первобытные, звериные звуки, в которых черт и Бог сплелись в беспутном культе, и слышится могучий первозданный призыв: "Живи!" Что по сравнению с ним людские страдания и мучения?

Теперь в затихшей комнате говорит Гедалия.

— Тот, кто три года подряд работал на одном месте, имеет законное право перейти на другое. Но перед нами случай, когда это невозможно, так как пострадает хозяйство. И я не могу понять, почему подняли такой шум и пытаются связать данное дело с другими, побочными вопросами, которые не имеют к нему никакого отношения. Создается ошибочное впечатление, будто у нас дела из рук вон плохи, будто у нас в чем-то главном, основном — непорядок. А мы ведь все знаем, что это не так. Можно без конца вдаваться в подробности и безудержно всех и все критиковать. Но лучше все же перейти к повестке дня. Эфраим обязан трезво оценить обстановку и не требовать сейчас невозможного. Еще годик, Эфраим, один только годик — не страшно. Твоя работа не из самых трудных и не из самых нудных. Обыкновенная работа. Вот Давид и Нахум приспособятся, начнут во всем разбираться, и ты сможешь делать все что угодно. Не мне тебе рассказывать, как быстро бежит время. Не успеешь оглянуться — и прошла неделя, и еще неделя. Вот мы уже пашем, собираем маслины. Вскоре пойдут дожди, станет холодно и слякотно. Начнем сеять, а тут уж подошла пора сбора апельсинов, затем наступит жатва, пришло время сбора винограда и... прошел год, еще быстрее, чем мы того желали, ха-ха... Кроме того, помни, что ничего в природе не пропадает, каждая работа приносит пользу коллективу, и в любом случае хорошее намерение — основа всего...

(Ах, Боже мой, пусть он меня оставит в покое! "Еще

годик — не страшно...". Почему он так решил? А может быть, страшно, даже очень страшно. А может быть, страшен каждый день, каждый день! И эти "благие намерения"... Что в них такого хорошего? Есть ли существенная разница между благими намерениями и отсутствием таковых? Вот, например, некто старался весь вечер, разносил блюда, собирал грязную посуду, менял порции привередливым, таскал полные чайники к столу и пустые обратно, обслуживал сотни людей, целый трудовой коллектив. Это — явление положительное. И намерения у него были самые лучшие. Только не ясно, чего он особенного добился: нравственного удовлетворения? Повышения общественной морали? Укрепления братских чувств? Ведь тех же результатов можно было достичь значительно проще и легче, не возносясь так высоко, без преувеличенного самомнения, без идеологической подкладки из громких слов. Мне все это, право, ни к чему; я работаю потому, что нельзя не работать, потому что я должен полагаться на себя самого и не прибегать к чужой помощи. И не испытываю при этом особых страданий и не прибегаю к высокопарной лжи. Чем это хуже "благих намерений"? А пока изволь идти и раздать корма коровам, чтобы подешевело молоко; это тоже кое-что значит, и незачем меня агитировать и внушать мне, что "время бежит быстро...")

Чувствуется, что увещевания Гедалии не нашли пути к сердцам слушателей. Но так как был открыт затвор для всякого рода претензий, требований и щекотливых вопросов, — каждый поспешил поскорее сбросить камень с сердца. Даже Дов, который как будто начал говорить по существу, касался только дела Эфраима и заметил, что коллектив имеет право навязывать свою волю каждому в отдельности, не смог удержаться, чтобы не заявить под конец:

— Почему никто не собирает все то ценное, что валяется во дворе? Разве это не наш двор? И откуда такая апатия, это безразличие и стремление полагаться на другого, желание, чтобы этими мелочами занялся "чужой дядя"? Вот есть у нас цветы. Многие ли из нас ухаживают за ними в свободное от работы время? Чуть побольше души, товарищи, тепла,

товарищи! В конце концов, мы еще не превратились в тракторы и комбайны!

Этими словами он, как бы между прочим, снимал с души обиду старого возчика. Известно, что его звездный час наступает тогда, когда Дов гордо стоит на своей телеге, в галифе и старой шинели, ноги обмотаны в портянки, на лоб надвинут потрепанный картуз, и лихо покрикивает на пару гнедых, а те встряхивают гривой и пускаются галопом, таща за собой телегу. Тогда светится каждая морщинка на его усталом, изборожденном ветрами и зноем лице, и он хрипло затягивает любимую песенку давно минувших дней.

А те из наших милых друзей, участников собрания, которые умеют помолчать, когда лучше помолчать, и посмеяться, когда лучше посмеяться, которые непрочь порой и вздремнуть на собрании, но так сильно волнуются, когда кругом царит возбуждение, теперь не знают, кого слушать и какое выражение придать лицу, чтобы с достоинством выйти из положения. Они надулись и глядят сердито, взор их потускнел, и они твердят, что "так, право, нельзя, так, право, нельзя". А некто Ицхак, у которого все переживания отражаются, как в зеркале, на бородатом улыбчивом лице, тоже жалуется. Его задело за живое "формальное отношение к людям", примером чего может служить следующий случай. Этот "некто" наехал трактором на мешок маслин, что лежал на обочине дороги — на обочине, а не на самой дороге. Его обвинили в халатности и в порче общественного достояния — вот он и вышел защищать себя перед публикой. Кто-то ему возразил, разгорелся спор, и добрые складки на лице Ицхака постепенно исчезли. В одну из пауз между словесными взрывами чей-то низкий голос, все нарастая, перекрывает общее гудение, и оно постепенно смолкает. Шлемка не сводит глаз с пачки папирос и, будто обращаясь к ней, говорит:

— Вот сиюю я здесь больше часа и слушаю ваши

речи... И меня преследует какое-то неясное ощущение, и все, что происходит в этой комнате, выглядит так странно, что я не знаю, где нахожусь... В самом деле, поглядите, каждый выступает только за себя, каждый занят своим делом. Один другому чужд, другого не понимает, другого даже не слушает. Нет на лицах выражения сочувствия, и ощущение полного одиночества проникает в сердце. Как это нехорошо и неприятно, будто и на самом деле мы чужды друг другу. Не похоже, что долгие годы мы стареем вместе, едим за одним столом, поем одни и те же песни. Что случилось, товарищи? Что произошло? Откуда эта отчужденность? Из-за чего? Кто-то захотел перейти на другую работу — и все испугались, и вот уже сколько времени спорят с непонятным ожесточением... Довольно! Давайте кончать! Авигдор, не позволяй отклоняться от темы. Уже поздно, пора кончать.

Пачка сигарет брошена на стол, и он в упор взглянул на публику. Тот, к кому была обращена просьба кончать, придавил папиросу, выпуская последние клубы дыма. Рука с короткими пальцами поднята в воздух. Взглядом он словно ощупывает глаза аудитории. Наконец председательствующий резюмирует:

— Так как Эфраим присутствует на обсуждении, очевидно, он все взвесил и согласился с общим мнением, выраженным здесь. Таким образом, он считает этот вопрос исчерпанным и...

Но тут вскочила Сарра и предложила поставить вопрос на голосование... Будто ветер подул на тлеющие угли: они вновь разгораются, и во все стороны летят искры... Возник вопрос: как быть? Ставить вопрос на голосование?..

Тут взорвался Нахум, напарник Эфраима.

— Как так можно? Методом голосования заставить человека работать? Против собственного желания? Как такая работа будет выглядеть? Какова ее ценность? И что будет у человека на сердце?

Нет, в таких случаях голосовать не годится. Это вопрос совести, его совести, и только. Положение дел ему известно, как всем нам, и он сам должен все решать, без принуждения. И даже если он выберет неверный путь — нам придется с этим считаться и найти выход из положения. Сама жизненная необходимость заставит нас найти решение. Мы свое дело сделали, проанализировали ситуацию и все разъяснили, теперь слово за Эфраимом.

Тогда Сарра сочла нужным объяснить, что она вовсе не предлагала голосовать, обязан ли Эфраим вернуться на люцерну или нет. Ее цель — наглядно продемонстрировать ему общее настроение, чтобы затем он сам мог судить, как ему действовать. Пусть вопрос стоит так: кто считает, что нет никого более подходящего для кормовых трав, чем Эфраим? Вот и все. Упаси, Божи, кого-либо насильно заставлять работать.

— А, парламентаризм? Парламент затеваете? — вмешался Шапира. — Чего тут, собственно говоря, голосовать? Разве Эфраим не слышал, о чем все говорили, и этого недостаточно? Что за формализм! Я, во всяком случае, воздержусь от голосования, даже если считаю, что Эфраим — единственный, кто подходит, чтобы протестовать против такой никчемной формы бесплодного голосования и против принудительного труда. (Вот как у нас разговаривают!)

— А что, — взбунтовался Шмуэль, — разве большинство не имеет права решать и заставлять? Разве не обязан каждый из нас подчиняться этому, независимо от своих настроений?! Что за новости! Общее мнение всегда обязательно для всех, и он должен подчиниться. Ясно. Тут нет двух путей. Это хорошее предложение.

Ицик сморщил лоб. Он опасается, что предложение это выглядит слишком односторонним. Может быть, есть другие предложения? Если бы был другой, а не Эфраим, — разве возились бы столько и морочили друг другу голову?

— Я воздерживаюсь, — провозгласила Ципора. — Не буду голосовать ни против, так как нет другого подходящего кандидата, ни за, так как не хочу, чтобы из-за меня у Эфраима были переживания. Ведь надо все же в конце концов считаться с личными склонностями человека и не превращать его в пробку для затычки дыр.

За окнами снова началось брожение, и вскоре оттуда раздался возглас:

— А что молчит Эфраим? Почему не берет слова?

... Куда меня уносит тоска? К субботам той далекой зимы, когда солнце смеялось в небе, а на горизонте толпились пузатые тучки, и некоторые из них плыли так низко, что их тень падала на поля и горы. На холме в причудливом беспорядке раскинулся палаточный лагерь. Ты седлаешь лошадь и скачешь на просторе среди зеленых всходов, желтоватых поповников, разноцветных анемонов, сиреневого шалфея, фиолетовых ирисов, целых батарей дикой редьки, белой и золотистой горчицы... Пестрые пятна светятся и наполняют пространство, и нет среди них нечетких и бледных красок, нет черты или линии, что отделяли бы мелодии света от мелодии красок. Последние дуновения утреннего ветра вызывают бодрящий озноб. Здесь и там, и сям лужицы, скрытые обилием зелени, овражки, по которым текут ручьи, с влажными отмелями, усеянными галькой. Крикливые грачи сплетничают о последнем дожде. Рядом со стадами бредут босые мальчуганы и дуют в дудочки.

По изрезанной колесами тропке поднимаешься на горку. Там белеют новые палатки и высится барак, крытый толью. Оставленная лошадь пасется у забора, а ты в белой рубашке идешь искать знакомых, болтаешь и шутишь с ними, и на лице твоём подчеркнуто безразличное выражение, когда мимо проходит Нехама — та, ради которой ты приехал... Тебя бьет дрожь, и дыхание прерывается, и ты теряешь рассудок от сознания, что проворонил редкий случай — до будущего визита, который тоже не сулит многого...

Но, вопреки всему, тебе весело, и не тускнеет красочный аромат просторов, и ты ежесекундно вкушаешь всю безмерность тоски, горя и радости одновременно, и покор-

ность судьбе и чувство умиления перед этими тайнами, что не поддаются определению, перед этим воплощением поэзии, этим будто созданным великим мастером стройным телом, манящим, как очаровательная легенда. И ты снова несешься галопом, ощущая шелковистую шею коня и чувствуя движение его теплых, скрытых мускулов. Аромат полей и земли щекочет нос, глаза, горло, и малейшая деталь видения, которое прошло пред тобой минуту назад, встает, как живая, и ты можешь подробно и правдиво описать зыбь ее каштановых волос, вздернутый носик, образующий характерную дугу, полные губы, темную тень в мягких ямочках на щеках и в черных глазах — свидетельство душевной сдержанности, которая ждет лишь знака, чтобы сорваться и унести в безграничную даль. Ты готов с беспредельной правдивостью, которая трепещет в твоих жилах, описать ее крепкое тело, удивительно соразмерное, словно литое и все же нежное, и ее одеяние, отличающееся особыми запахами, гармоничным подбором красок и таким покроем, который соответствует только ее фигуре, и еще чем-то таинственным, чего не выразишь словами.

Ты можешь целый час описывать ее округлые руки, словно выточенные из слоновой кости, ладони с прозрачной и нежной кожей, не испорченной работой, мраморные ноги оттенка молодого эвкалипта — и встанет такой живой образ, который заставит взволноваться самое холодное сердце. Но тебе всего этого мало, и ты вспоминаешь все новые и новые детали — ее плавную походку — что ей до того, что сейчас модно семенить ногами, ее теплый, густой, певучий голос, напоминающий спелый, душистый лимон — какая в нем скрыта взрывчатая сила. Пока же преобладают низкие, сдержанные тона — "с вас и этого достаточно"...

Но где ты, где ты, Эфраим! Целые миры надежд, беспощадно скошенные, падают ниц, ускользают из твоих рук, исчезая, а ты? Что ты? Где ты? Не ли ты клялся бороться, сражаться, не уступать? Что ты сделал, чего добился, чего достиг силой своей страсти? Почему молчишь? Где твои слова, твоё сопротивление, твоё клятвенное обещание не сдаваться? Те перемены, что должны произойти — сигнал и признак многих дальнейших перемен. Выходит, что зря ты бес-

покоил людей, напрасно горели твои глаза, без толку были опорожнены чашки с чаем и растрчены попусту многие часы благословенного освежающего сна...

Но не в этом дело, и не это главное. Скажи прямо, чего ты хочешь? Скажи открыто, не увиливай. Ведь ты бы мог не залезать в эту трясиину. Но, признайся, не ты ли так воспевал полную свободу?.. А теперь молчишь, как чурбан.

...Вот уже тает черная льдина ночи, что за окном, и виднеются звезды. Снова текут и перекатываются отзвуки близких голосов — они кажутся далекими и не имеющими значения. А с другой стороны — что даст ему работа в цитрусовом саду, эта мнимая перемена, кроме временного отвлечения, которое затем лишь усилит прежнюю жажду свободы и даст всем и каждому повод терзать его? Он станет темой для новых "трагедий", предметом жалости, участия, сочувствия, да и косых взглядов: вот, мол, человек, который заварил всю кашу... И разве не будет его отныне преследовать чувство большой и тяжелой ответственности, везде и во всем, что бы он ни делал? "Ну, дружок, ты своего добился, получил то, что хотел, — что же ты сделал великого и значительного?!" И откуда возьмутся силы нести бремя этой внутренней ядовитой издевки, которое вечно будет мешать, не давать покоя? Нет, так нельзя... А как?..

Встать завтра с рассветом, заглянуть на кухню, выпить кофе и кое-что пожевать, затем идти по знакомой тропинке и топтать свои вчерашние и позавчерашние полустертые следы. Прийти на поле с первыми лучами солнца, а вернуться на закате. А между восходом и закатом — нестерпимый блеск солнца, и мутная вода, Нахум и Давид, каждый со своим, но ты терпи и гни спину... — Чей это приговор? Возможно ли это? Хватит ли сил? Ведь он только человек, и всякому терпению есть предел. Ведь даже осел бунтует и брыкается! Загнать все это вглубь, заковать внутри себя — и страсти, и желания, и мечты, и мысли, и стремления. Всегда откладывать все на завтра, когда судьба тебе улыбнется и все уладится, ты найдешь свое место, и желанное будет в твоих руках. А до тех пор — много хороших и полезных дел для коров, мулов и для людей — для тех, кто добивается своего и всего имеет вдоволь. А ты должен молчать,

будто "ничего не произошло", с трудом добираться до постели и грезить о другой жизни, а потом забывать о ней. Хорошо, не правда ли? А что можно поделаться? Чем можно помочь?

С другой стороны — в твоём положении, в тех же условиях находятся очень многие. И что они говорят? Почему их души не тоскуют о другом, и то, что они имеют, не кажется им малым и жалким? А может, они уже устали? А может, то, что они ищут, есть повсюду? А может, для них уже настала старость? Или наоборот — они слишком сыты и спокойны?

Чепуха! То, что было засеяно, взошло, расцвело и созрело, а теперь увядает. Обеднел их родник. Они свое дело сделали, теперь должны прийти другие. Новые родники должны забить. А тот, у кого не все еще расцвело, у кого внутри что-то бурлит и рвется наружу, будет скован страхом перемен. Боязнью стать исключением, чем-то выделиться. С нами будет, как со всеми. Конечно, не очень-то приятно говорить так о самом себе. Но пусть так и будет. Ведь даже самые честные люди не признаются, что любят себя — они называют это эгоизмом, мелочностью, завистью и т. д. Эти свойства считаются позорными, и даже заподозрить кого-либо в таких грехах — значит нанести ему тяжкую обиду. А все же никто не опровергнет тот факт, что каждому его маленький больной ноготок дороже чужой души, а из-за боязни облысеть человек может возненавидеть весь мир. Любовь к самому себе... Не сделать ли эксперимент, не дать ли возможность каждому из нас, созданному по образу и подобию Божьему, любить себя совершенной и цельной любовью? Дайте нам возможность любить самих себя — и мир будет избавлен и спасен...

Ну, ну, Эфраим, изволь потише и поосторожнее. Легче на поворотах. Не сердись и не будь дураком. А теперь к делу: бросаешь ты люцерну, или нет? Не требуй того, чего нет, не отказывайся от того, что есть, и не пытайся всегда начинать сначала. Но это глупое сердце то жаждет чего-то, то охладевает, и всегда не вовремя; оно мешает принять решение, нарушает обеты, желает ему не принадлежащее и горит неутолимой тоской о том, чего нет. И кажется ему, глупому,

что это еще доступно, и то далекое, недостижимое, как Божья душа, еще вероятно. И глупое, глупое сердце по дешевке, совсем даром, уступает все, что имеет, на чем еле держится, чтобы гнаться, достичь и ухватиться за неуловимый луч красоты.

Вот ты, загадочная, далекая... Казалось, буря уже утихла, и можно в конце концов планировать будущее, там, на тихом горизонте, думать о переменах, о цитрусовом саде, об обновлении, о том и о сем, а не только о тебе. Но вот ты снова, как прежде, восходишь и наполняешь сиянием все вокруг, чтобы я снова не знал, что делать, что говорить. Для чего весь этот шум, и что будет с моим вздорным планом, уже унесенным твоими волнами? Все было ложью. Все одна лишь видимость. Напрасны все утешения. Для всех лучше, если Эфраим успокоится, как забытая в колчане стрела...

Я не забыл ее, Нехаму, не отошел от нее, и то, что должно было заменить отсутствующее звено, заполнить пустоту, не заменило и не заполнило, и она живет во мне, как в прошлом... Вот опять, снова буря тоски, которую надо бы давно забыть; снова горечь, не дающая ни минуты покоя, гневно, с первозданной силой и приказывающая: действуй! Действуй! Не довольствуйся, нищий, тем, что дано, не костеней! Борись за последний исход, за далекий берег, носящий ее имя*, даже если тебе суждено низвергнуться в бездну!

Слушай, Нехама, то, что должно было пройти — не прошло, а то, что должно было остаться цельным, разменено на стертые монеты. Ничего не прошло, ничего не забыто, старые раны еще кровоточат... Что есть человек, и что значат годы и бег времени, если, сидя среди людей, беседуя вокруг привычного стола, окутанного клубами табачного дыма, ты вдруг теряешь связь с окружающим и должен затаить дыхание, когда видишь этот живой, столь полный реальности образ. Она появляется, идет, приближается и равнодушно поднимает глаза, полные очарования, которые сводят тебя с ума (ох, глупое сердце!), спокойно глядит, и прохладное платье облегает ее стан. Проходит, склонив голову, улыбаясь, даже здоровается, и исчезает, не обернувшись.

Что ты за человек, если над тобой так издевается вооб-

*Нехама — на иврите "утешение".

ражение?.. Ничего ты еще не видел и не разглядел толком, а уже нет тебя — вот что сделало с тобой волнение и ребяческая гордость, которая не позволяет повернуть вслед за ней голову... И все это будто вне действительности, хотя ясно была видна ее улыбка, и на ее лице образовались такие симпатичные ямочки, и что-то засветилось в уголках ее глубоких глаз... — Бог ты мой! Эти глаза! А ее походка...

В комнате мало света. Все разговоры вращаются вокруг меня, но они проходят мимо, не задевая чуждого мне моего тела. И это всего лишь бледный отблеск памяти о нереальном, неверном бытии. Все это было. Все, Нехама. Все разрушено... Ничего не хочу больше, ничего на свете, кроме нее. Только бы гнаться за ней, бежать по ее стопам, нагнать и не оставлять никогда...

Скажи, Нехама, как можно сейчас что-то делать, когда тебя нет? Ее нет. Остался Эфраим, который не нашел ее, Эфраим, со своими ранами, источающими скудоумие. Ее нет. Она далеко. И надо снова говорить о старых делах, от которых ты еще вчера пытался отделаться, которые ты, будучи спокойным, ненавидел, из-за которых скрежетал зубами в негодовании. А сегодня, когда все пропало, все рухнуло, ты должен вернуться к ним, вернуться даже не пикнув, не открывая рта.

Что, Нехама, что?.. — Ах, как все печально, Нехама! Трудно всегда быть одному. А может быть, это ты, Нехама, на чью долю выпало не слишком много радости, может быть, это ты одинока там, у светлой стенки, в синих брюках и мягкой блузке? Стоишь и молчишь. Твои теплые волосы собраны, уложены, скреплены шпильками. Ты излучаешь благородную красоту с оттенком тихой грусти. Почему ты молчишь среди множества людей? Послушай, девочка моя, сестричка, самая дорогая на свете, не будь такой, не старайся нести одна тяжкое бремя, которое тебе дано, бремя благородства, гордости, высокомерия, прискорбного упрямства и голой страшной правды. Раздели этот груз со мной! У меня и своего немало, так что твой я даже не почувствую.

Почему мы с ней идем разными путями, и только глядим друг на друга, глядим с любопытством, с удивлением? Мы уже готовы заговорить, приблизиться друг к другу. И...

с подчеркнутой гордостью и подчеркнутым упрямством каждый бредет по своей тропинке, и мы все удаляемся друг от друга в вечерних туманных сумерках. Нет, Нехама. Теперь нет у меня ничего за душой. Ни заманчивых фантазий, ни реальных проектов на будущее. Всюду будни. Всюду суета. Всякая вера — обман. Любая реальность — иллюзия. Надо вернуться, углубиться в суть вещей, и оттуда, из бездны, взывать к спасению. Из палящего зноя люцерны, а не из удобств цитрусового сада, из трудного, длинного и молчаливого дня, полностью отдавая себя тяжким испытаниям, каким бы то ни было, любя их большой любовью. Выйти, вырваться, головой пробить себе путь к желанной цели.

Слышишь, высокомерная! Наша братва пройдет, пробьется! Наша братва всегда идет с гордо поднятой головой, сжав зубы и с сердцем, спрятанным глубоко в груди, так что никому не увидеть, что в нем. То, что для вас в жизни так дорого, далекая моя богиня, этот расцвет, эта песнь кипящей крови и волшебства жаждущей плоти, эти ночи, окутанные благовониями прошлого, эти вина страсти, заглушающие угрызения сердца торжеством пьянящих возгласов — все это достанется вам. А нам — нам суждено идти куда-то вдаль, работать на выжженных зноем полях и очищать для вас дорогу, покрываться пылью ваших карет, с шумом проносящихся мимо, влекомых отборными скакунами, упругие мышцы которых поют вам славу. А наш удел — тихонько свистнуть от изумления и почтительно сплунуть... И шагать изо дня в день с восхода до заката по исхоженным тропам. И даже бледная тень нашего внутреннего "я", взывающего к далекому кумиру, не отразится на нашем лице.

Наш плач, Нехама, не успокоить поэтическими развлечениями и художественной гимнастикой. Мы рыдаем молча, Нехама, нас терзает плач, обжигает нутро, но внешне мы такие, как всегда. Мы подобны ослу, которого хозяин привязал к покосившемуся забору. Он опустил голову, свесил уши и лишь хвост его вздрагивает; у него уже подкашиваются ноги, а он все ждет и ждет, не протестуя и не задавая вопросов.

Смотри, наши души тянутся к великой встрече, как бабочки к огню — и сгорают. Эта предстоящая встреча, согре-

тая теплой, красной, быстро текущей кровью, так радуется, сводит с ума... Лица пылают, пламена румянцем, нежность разлита по телу... И тут же все проходит, исчезает. Конец видению... Вновь тоска предстоящего, оно стократно страшнее того, что есть. И что мы сможем тогда сказать? Как всегда, будем молчать, и пойдем в поле или на птицеферму, ожидая, что скажет нам безмолвие, столь желанное в глубине души, омываемой волнами горьких обид. Может быть, услышим голос мировой скорби, что витает над нами, не зная, какая искупительная жертва ей угодна.

Верно, мы одиноки, мы заброшены, мы оставлены на произвол судьбы. Нас не понимают, нам не сочувствуют. Но ведь уродство надо победить в его самой сути, а не снаружи. Себя не спасешь. Надо вернуться. И всецело отдать работе. Через нее – со всеми ее невзгодами, со всей ее болью, со всем, что есть в ней дурного и возвышенного – возродиться, как феникс из пепла, к новой жизни. Это – победа, это – упрямство и гордыня. Тот, кому трудно пробыть день под палящим солнцем, – пусть потерпит, пока не привыкнет. Надо сжиться со страданиями, но не убегать. Любовно и смело преодолевать себя и быть правдивым к самому себе. Не так ли, Нехама?

Но и это – словесная шелуха, дешевое красноречие и пустые фразы, что запускаются в производство дюжинами, и место которых – в девичьих альбомах. Они не что иное, как увиливание и отступление... Вот сейчас немного упрямства и сопротивления – и ты, Эфраим, увернешься от люцерны и прочих кормовых. Здесь уже говорилось о том, что в случае необходимости найдут тебе замену, и на твое место встанет другой. Другой, не помешанный, подобно тебе. Его не будет грызть тоска. А твое лицо освежит бодрящий ветерок и дела первозданные. Новые горизонты откроются перед тобой...

Итак, Эфраим? Вот сейчас начнут голосовать, время не терпит, скорей решай: да или нет? "Да" – значит перемены, возможность большей ясности. "Нет" – означает, что все остается по-старому, да еще с плакатом, который к тебе прикрепят: "Да будет всем известно, что здесь трудится праведник, гордец и герой". Если он начал, то обязательно кон-

чит. У него правило: сказано — сделано, и он не сойдет с пути вопреки всем преградам и препонам. Итак?

Нехама — молчит. У Авигдора вспотела лысина. Все разгорячены. За окнами — брожение. На улице, как всегда в это время, темно. Электричество тускло мерцает. Да или нет? Требуют, чтоб он высказался. Теперь самый раз. Конец пустословию, конец праздным мечтаниям. Проснись, Эфраим, возьми слово, Эфраим. Вот оно, освобождение, за этой стенкой. Оно стучится, просится, сулит массу свежего воздуха и океан возможностей, Эфраим... Надо лишь встать и запустить свои кандалы в безмятежность этих праведных рож; удрать от иссушающей жары и ежедневного удручающего припева; выйти, бежать наружу. Туда, на простор, Эфраим... Встань и завопи из глубины твоей боли. ... Да или нет?

— Я возвращаюсь на люцерну.

В комнате сгустилось молчание. Усиленно колотится сердце. Минута сочувствия и жалости. Еще стоит в воздухе его низкий голос, еще не растаял. Атмосфера насыщена зарядом высокого напряжения. Люди избегают глядеть друг на друга. Надо, пожалуй, что-то сказать. Что же произошло? Но вот разразилась буря. Все разом заговорили, задвигались стулья. Испуганный дым устремился в окна. Будто лопнул большой кожаный мех, и его содержимое выплеснулось наружу. Слышны возгласы, руки возбужденно жестикулируют, языки строчат, как из пулемета. Шум, гам, пот, движение, говор.

— Мы знали, что так кончится, — слышится знакомая песенка с радостным припевом: "Избавились, слава Богу!" Гнетущее настроение испарилось, кризис миновал. Стало легче на душе.

— Очень мило с твоей стороны, Эфраим.

— Хорошо, что с этим покончили...

— Завтра работаем вместе, а?

Узкая комната. Здесь слишком много стульев.

— Жаль, что уже так поздно.

— Есть еще немного чая?

Нехама глядит прямо, широко раскрытыми глазами, пронизывает взглядом, и в нем слышится вопль. Ее блузку треплет ветер, она укладывает непокорный локон на место и исчезает. Она вышла из комнаты.

Да, он очень устал.

Мнение большинства — приказ для каждого... А страдания и муки что-нибудь значат? Голова идет кругом. И впрямь хорошо, что все уже кончилось. И незачем ковыряться в себе и о чем-то думать. Сейчас все само собой свершится. Само собой. Разве не так? Молитва ничего не приблизит, доброе пожелание — не поможет, проклятие — не удержит. Скромно склони, человеке, голову, дабы не споткнуться и не упасть.

Комната опустела. Каждая из стен погрузилась в молчаливое раздумье. Они молчали в самом начале, молчат и сейчас. Ничего не изменилось.

— Ну, Эфраим, ты еще здесь? Ведь все уже кончилось, ха-ха... Вставай, пойдем.

Ничего нет лучшего, как ни о чем не думать, ничем не морочить себе голову. Сухо в горле.

— Слышишь, — продолжает болтать Шлемка, — говорят, что кругом спокойно, хотя ночь такая темная. Пошли спать. Завтра наша очередь сторожить, надо быть свежими... А хорошо ты поступил, Эфраим. В самом деле, это было трудное испытание. Теперь полегчало на сердце, правда? Пойдем. Были бы мы помоложе, поджарили бы картошку и устроили ночной пир. А?

Светлые стены кругом. Горит электричество. Окна черны. Могут ли каменные стены удержать душу, что не знает границ? Можно ли запереть на замок страсти, если они рвутся к небу? Когда все замкнуто со всех сторон — куда пробиться тоске и томлению?..

— Пойдем, Шлемка... Помнишь старое доброе время?

За ними захлопнулась дверь столовой. Перед ними молчала темнота.

Перевели с иврита И. Быховский, А. Элинсон.

ЦВИ ЛУЗ

ЦВИ ЛУЗ родился в 1930 году в кибуце Дганиа-Бет, членом которого является и поныне. Его отец — Кадиш Луз — один из основателей этого кибуца, впоследствии — председатель Кнесета. Восемнадцатилетним юношей Цви Луз участвовал в Войне за Независимость в качестве офицера бригады Голани. Изучал еврейскую литературу и иудаизм в университете Бар-Илан (где сейчас преподает) и в Нью-Йорке; в 1968 году получил звание доктора. Прозаик и литературовед, опубликовал трилогию "Легенды этого места", два сборника рассказов и два сборника очерков и исследований о современных израильских писателях и поэтах.

ШЛОМИТ

1

Шломит ушла одна. Не вовремя, в конце весны, в самом начале продолжительной и однообразной страды. Дети оставались со мною. Я вынужден оправдываться, хотя убежден — наступающие дни не будут хуже тех, что были.

Во всяком случае, первые годы после женитьбы отнюдь не были лучшими годами нашей жизни.

Сразу родился Узи. Через положенный промежуток времени появилась на свет Божий Анат. Я себя вдруг

почувствовал отяжелевшим главой семьи, и мной овладела какая-то слабость. Особенно я стал бояться перемен. Шломит же, напротив, не могла успокоиться, упорно настаивая на своем. Мы должны покинуть эти места, расстаться с кибуцом и Долиной.

”Эти места” или ”наши места” — понятие довольно неопределенное. Оно у нее меняется в зависимости от настроения. Иногда это понятие охватывает нашу двухкомнатную квартиру с открытой верандой и палисадником (в последнее время запущенным), но не включает ряды одинаковых кирпичных домов, столовую и хозяйственную усадьбу. Особенно неприязненно она относится к столовой, построенной, по ее мнению, без должного размаха и без полета воображения, зданию удручающе будничному и безликому, как все мы. Иногда же в это понятие входят все жилые помещения с усадьбой и даже новый лагерь Нахал*, расположенный по ту сторону ограды. Все зависит от настроения. Я лично не утруждаю себя такими определениями.

Шломит была некогда полной и румяной девушкой. С годами она становилась все тоньше и бледнее, но ее давление на меня все увеличивалось. Был у нас уговор, который мы тщательно соблюдали после неожиданного рождения Анат. Шломит твердо решила не рожать больше детей, пока мы прочно не обоснуемся на новом месте.

О ”новом месте” она говорила убежденно и уверенно. В ней таилось непреодолимое упрямство, причина которого ей самой не была понятна, и железная решимость выполнить задуманное, о чем свидетельствовал наклон ее шеи, тонкой, но отнюдь не хрупкой.

Правда, о том, чтобы уйти из кибуца, мы беседовали давно, еще до рождения детей и даже до того, как решили пожениться. Шломит была до мозга костей горожанкой, в городе выросшей и воспитанной.

*Нахал — военизированная организация, объединяющая молодежь, совмещающую боевую подготовку с сельскохозяйственной учебой.

А я по простоте душевной уговаривал ее: пойдем к нам, если не понравится — уйдем. Всегда можно уйти. У нас хорошо, — убеждал я ее, приводя весьма резонные доводы, — все зависит от нас самих, от тебя и от меня.

И сам я, откровенно говоря, иногда тоже размышлял об уходе из кибуца. Большой мир привлекателен издалика, особенно для деревенского жителя. Но не об этом сейчас речь. Из сердца Шломит мне так и не удалось искоренить этого заблуждения. Я понадеялся, что со временем наши желания будут совпадать или кто-то убедит другого в своей правоте. Пожалуй, я не очень-то углублялся в этот вопрос, считая, что теоретически можно говорить об уходе из кибуца, строить разные планы и взвешивать разные возможности, а практически никогда до этого не дойдет. Тем более, что ничего из того, о чем мы говорили, не осуществлялось, разве только после очередной ссоры. А ссоры эти стали регулярно повторяться каждые две недели.

... Это начинается обычно вечером в нашей комнате, когда ничто как будто не предвещает бури, в атмосфере тягостного ожидания. Но слишком вежливые разговоры таят в себе какую-то неясную угрозу. Я остерегаюсь называть ее ласкательным именем "Шули", впрочем, как и полным именем Шломит. Она, гладкая и холодная, как стекло, демонстрирует хорошее воспитание. Дети в подавленном настроении — видимо, из-за высокого атмосферного давления — спешат пораньше лечь спать. В комнате воцаряется напряженная тишина. Я стараюсь уткнуться в книгу или сосредоточенно слушаю радио. Она внезапно зажигает папиросу (обычно она почти не курит), нервно шагает туда и обратно. Мы оба нервничаем, оба чего-то ждем. Затянувшееся молчание не предвещает ничего хорошего. Мне сейчас уже все безразлично. Напротив, случайно сказанное мною или ею слово приносит неожиданно облегчение. Это — как разрядка атмосферы. Вместе с шипящим шепотом, вылетающим из ее уст, испаряется хорошее воспитание. Губы неопровержимо свидетельствуют о силе ее

ненависти ко мне. С наслаждением я бы дал ей сейчас почувствовать силу своих рук. Но вместо этого я проявляю сдержанность, педантичность, тщательно подбираю слова, которые могут задеть большее, и наслаждаюсь ее обострившимся, побледневшим лицом. Всего легче мне издеваться над ее стремлением покинуть кибуц, напомнить ей обо всем, и на всем поставить крест. Пристыдить и ее, и себя за наши планы, за страх, который мы испытываем, как воры, как предатели, что наши сокровенные мысли станут известны товарищам.

— Ты! — шепчет она (когда Шломит в сильном гневе, то всегда говорит шепотом). — Ты говорил, ты обещал. Ты во всем виноват. Ты! Ты!

К счастью, вечера у нас короткие. Оба мы издерганы и из-за усталости оставляем друг друга в покое. Передышка. Она длится от трех-четырех до шести-семи вечеров. И тогда я начинаю подозревать детей, что они с ней в сговоре. Узи, по-видимому, ко всему безразличен, но Анат в такие ночи мочит простыню и как-то странно пронзительно всхлипывает.

Три-четыре и даже шесть-семь дней забастовки — и тебя начинает одолевать тоска. Безо всякой видимой причины, как бы пробудившись ото сна, мы начинаем что-то говорить. Она или я. И в комнате вдруг подул духом примирения. Все, в действительности, вовсе не так уж страшно. Можно сделать еще одну попытку. Можно жить от одной попытки до другой. Тем более, что во время перемирия каждый старается вознаградить другого. Право, стоило повздорить ради одного последующего примирения. Комната полна голубинового воркования и, само собой, снова всплывает на поверхность первое условие — оставить кибуц и начать новую жизнь. Я, вполне примирившийся, жаждущий отплатить ей добром за добро, делаю широкий жест и обещаю снова во всех деталях изучить этот вопрос. Шломит всегда верит в свою счастливую звезду. У нее уже заранее составлен подробный план.

Я, по ее мнению, — первоклассный механик (это

верно: как никак я уже пятнадцать лет вожусь с тракторами и другими сельскохозяйственными машинами в нашем гараже). Почетная и весьма доходная работа для перворазрядного механика найдется повсюду. И какая мне разница — пытается она выяснить с удивительной легкостью, — где возиться с машинами, здесь или в другом месте. Ведь я буду тем, кем был всегда — первоклассным механиком. А вот для нее — большая разница. Она хочет жить в определенном месте — не в очень большом городе, но и не в пыльной деревне. Она хочет жить в тихом и культурном пригороде, вроде Бейт-ха-Керем или Цахала. Там приятные дома, каждый на одну семью, просторные дворы с палисадниками и фруктовыми деревьями, небольшой чистый торговый центр, хорошее автобусное сообщение и приличная школа для детей. Когда она тихо и неторопливо рассказывает об этом, как бы размышляя вслух, ее узкое лицо преображается. Его выражение трогает меня до глубины души. В эти минуты я с ней полностью согласен и одобрительно киваю головой.

— Ты, Руби, сам будешь счастливее на новом месте.

Она зовет меня Руби, когда мы в мире и согласии. В периоды враждебных действий она расчленяет мое имя на слоги — "Ре-у-вен".

Сознаюсь, что каждый раз, когда она заново воспламеняется своей маленькой мечтой, я тоже немного воспламеняюсь. Ибо, в конце концов, чего она добивается для себя? Не слишком много, лишь того, что полагается каждой женщине, если только в этом заключается ее желание. И когда я одобрительно киваю головой, это не притворство и не мнимое согласие. В эти минуты я грежу вместе с ней. Она уютно устраивается в моих объятиях. Нам хорошо, нам тепло, и вместе с тем я прекрасно знаю (и она понимает это не хуже моего), что вопрос о переезде еще далек от окончательного решения. Мы никогда не договариваемся честно и определенно: тогда-то и тогда встаем и покидаем кибуц. О чем она думает

в моих объятиях, я даже не пытаюсь угадать. А я думаю о том, о чем никогда не решусь ей сказать. И эти мгновения обретают особую остроту. Свернувшись в калачик, она покоится у моего сердца, а я воспаляю ее прикосновением руки. Потом, в постели, она более отзывчива и добра, чем в ту пору, когда была полной и румяной девчонкой. И я очень ценю свои права, которые заслужил легким кивком головы, молчаливым согласием.

Меня радуют также проходящие затем дни. Сам ход времени наполняет меня душевным удовлетворением, как спортсмена во время бега с препятствиями. И это вовсе не хитроумный способ, заключающийся в том, чтобы давать обещания и не выполнять их. Хотя я никогда ей ничего определенного не обещал, я полагаю, что наступит такой день, когда нам надо будет сняться и уйти. Просто, с легким сердцем, ибо что может быть естественнее желания человека найти подходящее место для себя и своей жены (если вообще можно найти такое место). А пока, думаю я, пусть время идет своим чередом, более или менее благополучно.

Но не только этот вопрос, который никогда не сходил с повестки дня, был причиной наших ссор. Они были неизбежны в силу естественного хода жизни.

Все мои желания заключались в том, чтобы выиграть время. Возможно больше времени. Потому что жить в Долине тяжело. Тут трудный климат. Тут трудные люди. Молчаливые, но иногда их прорывает. Казалось, они всегда ищут какую-то внутреннюю правду. Потому трудно знать, когда затевать с ними разговор. И я сам для себя определил время, когда начать действовать, не говоря об этом вслух. Я решил, что пока еще живы ветераны, зачинатели, имя которых неразрывно связано с этим местом, я лично из кибуца не уйду. Не из-за отца, который был одним из его основателей. Отец давно умер, и его могила стала одной из первых на холме, который мы приспособили под кладбище. И не из-за матери, Она никогда

не принадлежала к числу ветеранов, хотя уж состарилась. Только в ветеранах вся загвоздка.

Хорошо сформулированные мысли в моих глазах ничего не прибавляют и ничего не убавляют. Когда другие покидают кибуц, и даже тогда, когда они уходят, оставляя здесь стариков, я не завидую ни уходящим, ни остающимся. Те, кто ушли, меня больше не интересуют. По сути, и я ушел бы, как они, без долгих колебаний, ибо, как говорит моя мама, жена ближе любого друга. Не друзья меня здесь удерживают, а ветераны. Старики, время которых прошло. Может быть, именно время, что прошло, связывает меня с ними.

Некоторые из них еще с нами. Их присутствие напоминает, как все быстро проходит и меняет облик, но оно же требует от меня — только от меня одного! — не уходить и не меняться. Их присутствие требует и моего присутствия вместе с ними. Без меня обесценивается вся их жизнь в этой Долине. И я говорю себе: Пока они здесь, и я должен быть здесь.

Это не значит, что я говорю это вслух. Даже матери, вдове ветерана, этого не объяснишь. Ведь она на стороне Шломит. Мать не боится остаться здесь одна. Так же, как Рути (моя сестра) после замужества покинула кибуц, так и мы можем оставить его, а о ней, о матери, не нужно беспокоиться. Ибо мать убеждена, как и все неветераны: важнее всего не кибуц, а наша молодая жизнь.

Я прикусил язык. И когда это я научился молчать и ждать? В тот день, когда мы предадим земле останки последнего из ветеранов, я буду волен идти в любое место, куда захочет Шломит.

Пусть никто, упаси Господи, не подумает, что я с нетерпением дожидаясь этого часа. Время, кажется, откладывает его со дня на день. С душевным трепетом я издали наблюдаю за нашими ветеранами. В последнее время ряды их сильно поредели. Я всегда вижу их одинокими, и это как раз меня

радует. Полвека они шагали строем, всегда были вместе, и вот в конце концов каждый из них сам по себе. Не муж с женой, а каждый в отдельности. Однажды я наблюдал за старцем, который шагал в одиночестве от дерева к дереву по аллее, а затем уселся на скамью отдохнуть и задремал с застывшей улыбкой на лице. А еще я заметил в углу полутемной столовой, в пустом по-вечернему зале, человека. Он пристально смотрел куда-то, но не заметил, что я прошел мимо. А иногда они стоят у дверей своих домов и как бы медлят войти. Я всегда остерегаюсь сболтнуть лишнее, когда говорю со стариками. Но когда мы время от времени хороним кого-либо из них, я всегда стою у могилы и сбрасываю землю. Удары комьев земли о гроб напоминают звук рвущейся ткани или разрыв корней в глубине, скрытой от дневного света. Я знаю, что скоро все это поколение уйдет в небытие.

2

Итак, Шломит ушла по своему усмотрению. Ушла одна, до намеченного срока. Ушла из-за истории не столь уж существенной. Произошел случай, который сам по себе не может служить причиной того, что женщина покидает дом и уходит. А вот Шломит ушла.

Однажды утром в конце зимы, в тихие дни межсезонья пришла к нам работать во фруктовом саду девушка-солдат. (В последнее время мне надоело мое положение механика первого класса, хотя оно и весьма почетно. На посадках тишина, покой, тут больше чувствуется сельское хозяйство, особенно, когда распускаются почки. А я в последнее время больше всего дорожил тишиной.)

С первого взгляда — солдатка как солдатка. Но Шули в ее возрасте была намного привлекательней. Во всяком случае, молодая девушка, среднего роста, с нежной веснушчатой мордочкой, с кожей, склонной к шелушению от солнца, с крашеными и корот-

ко подстриженными волосами. Серая, плотно прилегающая гимнастерка хорошо подчеркивала ее фигуру. Не скажу, что она меня особенно заинтересовала. Во всяком случае, было приятно.

Звали ее Нира. Она была из подразделения Нахал, которое расположилось лагерем за нашим забором.

Конец зимы, конец сезона, работы немного, и кроме нас двоих здесь не было ни души. Она ранила себе руки садовыми ножницами, но молчала и продолжала работать. Я почти не ощущал ее присутствия. Работая в поле, я испытывал полный душевный покой.

В эти длинные зимние вечера мои отношения со Шломит обострились до предельного состояния. Шломит, сдержанная и упрямая, вынашивала какие-то планы. Хороших дней уже почти не было. Я чувствовал сильную усталость еще до того, как видел Шломит, но не мог, как прежде, спокойно спать. Мне не хватало оздоравливающего сна трудового человека, который застает дома тянущуюся к нему жену и засыпает вместе с ней. В поле, в тишине, на лоне природы я отдыхал от участвовавших ссор.

По влажной земле шагало уверенно. Я ходил вдоль ровных рядов, туда и обратно, и тишина навевала приятное забвение. Деревья удивительно точно подчиняются сезонному циклу: время цветения, время пускания ростков, время созревания плодов, никаких отклонений.

Я уже много дней работал с этой девушкой на посадках. Мы встречались, Нира и я, я помогал ей, когда она возилась с тяжелыми ветками, и случалось, вольно или невольно, я прижимался к ее спине, прикасался к ее рукам, не убирая своих и не отодвигаясь, однако и не испытывая особого влечения. Она всегда хихикала, как чувственная девчонка. Руки у нее были округлые, мягкие, непривычные к работе. Но не очень я ее разглядывал. Если бы мне довелось оглядеться, меня охватили бы грустные мысли: уж очень я постарел. Солдатка, молодая, нежная, она

ждет, она вполне достижима, стоит только протянуть руку, запах ее духов щекочет мне ноздри. Что еще нужно — ранняя весна, теплынь, полевые цветы...

Как я стал равнодушен! Забыл даже спросить, вежливости ради, из каких она мест. Не поинтересовался узнать (и до сих пор не знаю), чем она занималась ранее. Вообще-то, лучше вовсе не думать о Нире. Если уж думать, то о себе самом, дабы выяснить, почему случилось то, что случилось. Со всей серьезностью я начинаю думать, что виной всему судьба. Во всяком случае, по отношению ко мне.

Дождь застал нас на поле врасплох. Мы поспешили под навес. Делать было нечего, и мы присели. Между сельскохозяйственными орудиями и мешками с удобрением. Воздух был какой-то серый, темнело. Дождь однообразно барабанил по жестяной крыше, а я чувствовал себя усталым. Вчера Шломит не позволила мне лечь с нею на нашу двухспальную кровать; я задремал на кресле, закутавшись в одеяла, и мои ноги окоченели от холода. Теперь я задремал под навесом, сам по себе, в уголке.

Вдруг меня разбудил шум дождя. Я присел, потом встал. Запах дождя возбудил меня, защекотал нервы. Из-за усталости мною вдруг овладела какая-то злость. Я остро почувствовал обиду. И этот туман, что окутал навес... Мы оказались в узком, закрытом пространстве, а дождь продолжал лить. И внезапно, совершенно беспричинно и безо всякого умысла, я вскочил и прильнул к Нире, которая сидела, обняв колени, между тяжелыми мешками. Положил руку ей на грудь. Она не шевельнулась. К моему удивлению, она приняла меня, будто все время ждала этого. Она только хихикнула. И я помню, как меня пронзила мысль. Она ждала меня все дни, что мы молчаливо работали вместе, время от времени натываясь друг на друга! И так подумав, я был весь охвачен гневом, я так рассердился, что тут же, на земле, пропитанной машинным маслом, овладел ею. Но после этого я не почувствовал ни радос-

ти победы, ни сладкого вкуса мести. Моя злость куда-то испарилась, как только я отпрянул от нее, и все было так просто и естественно, и я себя чувствовал простодушным ребенком. Я был самым собой. Только какой-то размягченный и как бы пустой. Далекий от жены и детей. Я лежал на земле и вдыхал запахи старой пыли. Мне только мешало тонкое хихиканье солдатки, ее неприкрытое сластолюбие. Она обнимала меня, будто я был ей ровня, молодым парнем из подразделения Нахал. Одним коротким словом я оборвал ее смех.

Весной в поле ко мне вернулись мои юношеские силы. Я никогда с ней долго не беседовал. Хватит с нее того, что я даю ей, а ее мысли и чувства меня не очень интересовали. Чаше всего я заставлял ее в возбужденном состоянии. Среди работы, экспромтом, я валил ее на землю, на весенние травы, которые бурно прорастали. На влажном поле, разрыхленном, плодоносящем. Земля принимала нас охотно, молчаливо, дружелюбно и сочувственно. Не эту девушку я любил, а землю, которая расстилалась под нами.

В конце концов я отдалился от Шломит. Наши ссоры затягивались сверх всякой меры, будто примирение уже потеряло всякий смысл. К своему удивлению я обнаружил, что так мне даже удобнее. Шломит разобрала нашу двуспальное ложе и устроила две кровати у противоположных стен комнаты. Я отреагировал на это снисходительной улыбкой. Когда супруги спят обособленно, между кроватями неизбежно воцаряется атмосфера вражды. Как бы по молчаливому согласию я избегал смотреть в ее сторону, когда она была в прозрачной ночной сорочке. Если случайно наши глаза встречались, я убеждался, что эта женщина, бывшая моей женой, за короткое время очень постарела. Я и на это не обращал внимания, поворачивался на другой бок и засыпал. Спал я хорошо и вставал свежим и отдохнувшим, готовым к новому трудовому дню на поле.

Особенно меня радовало то, что дни идут своим чередом. Эти дни радовали меня больше минувших лет. Я замкнулся в себе. Слухи, которые неслись с поля домой, недоумевающие взгляды, молчание наших добрых друзей — все это не особенно меня задевало. В самом деле, это было именно так.

Но однажды вечером, вернувшись домой, я застал Шломит за упаковкой чемоданов. Два больших чемодана были набиты доотказа. Я с уважением глядел на нее — как ей это удалось, никому не говоря ни слова. Весь вечер на душе у меня было спокойно. Если она что-то затеяла — это меня не трогает. Напротив, при нынешнем расположении духа я даже радовался предстоящим переменам. Вот она сейчас поедет к своим родителям, живущим в городе (ее старики подозревали, и не без основания, что я отношусь с некоторым пренебрежением к их дочери-буржуйке), а со временем все уладится. Время работает на нас, мне торопиться некуда. Я хотел выиграть побольше времени.

Уснуть не удавалось. Я слышал, что она бодрствует в темноте и молчит, она слышала, как я ворочаюсь. Я боялся, что начнутся разговоры, и вышел. На улице было холодно. С крыши пролились на затылок капли росы. А какая стояла тишина вокруг! Ночью в Долине можно почувствовать, как за домами и за хозяйственными постройками созревают почвы, темные и простые в своей сущности; и они требуют тебя, чтобы ты их обрабатывал, чтобы ты их любил, чтобы ты был им предан, как божеству. Трудные здесь места, в Долине. Слишком ярок свет днем и слишком мрачная темень ночью. Небеса здесь ночью застывают, как заколдованные.

Затем, основательно продрогнув, я вернулся домой в свой угол, хорошо согрелся в постели и безмятежно проспал до утра. Это было утро обычного дня. В утреннем сумраке я увидел Шломит. Уже одетую, в лучшем ее платье.

Я встал, чтобы пожелать ей счастливого пути. Ее

глаза встретились с моими, она смотрела прямо, уверенно, не отводя взора, затем повернулась ко мне спиной, замкнутая, как крепость. Я вышел, не сказав ни слова.

Вечером я взял дочку, чтобы немного погулять с ней. Уже давненько мы так не наслаждались тихими вечерами. Когда стемнело, у меня мелькнула новая идея, я посадил девочку на плечи и стал обходить, одну за другой, квартиры ветеранов, как полководец, делающий смотр войскам. Анат могла сосчитать по пальцам ветеранов, которые у нас еще остались.

Арье Нахира, старейшего нашего кибуцника, мы видели за окном его квартиры — высокий асимметричный силуэт. Он глядел в нашу сторону, но не замечал нас, проходящих по освещенной панели. Мы повернулись и снова прошли мимо его окон. Девочка что-то беспечно болтала, и я ей не мешал. У Шмуэля и Ривки Арци дверь и ставни были закрыты, но их квартира светилась изнутри. Мне показалось, что они завершили все счеты с жизнью и сейчас считают оставшиеся дни... Но у Авраама Томера в квартире было темно. Мне стало страшно. "Может быть, он уснул?" — подумал я.

В эту минуту мелькнула мысль, что в лучшем положении был мой отец, который всех опередил и умер раньше других, оставив после себя только вдову и нас. Хорошо, что он не видел, чем это кончится.

По пути мы зашли к моей матери. К счастью, моя мать не принадлежала к ветеранам, и их жизненный путь не был ее путем. Земля не привязывает ее к себе. Поэтому я предпочел вообще не рассказывать маме о том, что ушла Шломит.

Только позднее, ночью в нашей комнате, оставшись в одиночестве, я громко рассмеялся. Я понял, что задумала Шломит. Она училась у меня и поступила так, как поступаю обычно я, возложив все свои надежды на время. Но я, в отличие от нее,

подчинялся времени, вручая ему все свои дела и смиренно дожидаясь своего часа. А вот Шломит решила применить силу, она хочет ускорить желанные перемены. Посмотрим же, кому из нас двоих улыбнется время.

3

Две недели Шломит отсутствовала.

Изредка, только изредка я ощущал ее отсутствие. Несколько раз ловил себя на том, что размышлял примерно так: как хорошо было бы, если бы ее отсутствие безмерно затянулось, и таким образом удалось бы покончить со всей этой осточертевшей историей. Но эту мысль я отвергаю сходу. Эта мысль принципиально противопоказана моим планам. Однако она почему-то все время возвращается все в той же формулировке: как хорошо было бы, если...

С того дня, как Шломит уехала, я расстался с Нирой. Вовсе не потому, что меня одолело чувство раскаяния. Но, когда Шломит отсутствует, это все выглядит по-иному. Этот вопрос тяготил меня несколько дней, пока не разрешился сам собою. Сия девица вдруг стала очень обидчивой и даже позволяла себе дерзить и говорить колкости. В моем возрасте и в моем положении я вовсе не обязан вникать в смысл насмешек легкомысленной девчонки из Нахал. Тем более что мы со всем покончили.

— Если чешется язык — можешь болтать, — сказал я ей, — только тоном пониже.

Но во время работы она стала приставать ко мне, хватать за плечи, лнуть. Однажды она сзади навалилась на меня грудью и начала хихикать мне в ухо. Соблазн был велик...

— Хватит! — отрезал я решительно. — Что я, твой муж, что ли?

Назавтра она не появилась на работе. Это меня огорчило. Выходит, уже вторая девушка за столь

короткое время покидает меня. А я остаюсь торчать, как одинокий столб на дороге. И еще одна мелькнула мысль: с какой легкостью завершилась эта история. Я Нирой больше не интересовался, не заходил даже в лагерь Нахал, чтобы повидать ее. Твердо решил: прочно встать на ноги, обрести самостоятельность. Если я иногда ощущал отсутствие девушки, то это бывали минутные вспышки страсти во время полевых работ. Но в поле я себя чувствовал достаточно прочно и тут мне не угрожала опасность.

В кибуце со мной все очень предупредительны и осторожны. О Шломит никто не заикнется даже, а это само по себе хороший признак: ведь все хорошо разбираются в сути дела. Наши друзья, особенно женщины, оставили меня в покое, они смотрят на меня, как на чудака, за которым лучше наблюдать издали. Меня очень устраивает их молчание, и мне самому приятно молчать. Я как бы замкнулся в своей скорлупе. Моя мать действует осторожно, ощупью и пытливо пронзает меня глазами. Но от нее мне всегда легко увильнуть, хотя мать это мать, и она вправе все знать. Но я неразговорчив. Время покажет и все само решит. Вот моя доченька, кажется, успокоилась. Она сейчас хорошо спит по ночам. А Узи поглощен футболом, и это хороший и обнадеживающий признак, что третье поколение в кибуце вырастет здоровым и простым, избавленным от наших комплексов вины по отношению к родителям.

Все оставили меня и как будто ждут, чтобы я пришел к ним и все им разжевал. А я не обязан идти и исповедоваться ни к кому на свете. Я всех оставил, кроме ветеранов. Мое место сейчас в поле. Только там. Вполне сознательно, по моей доброй воле. И мне надо быть одному.

Я работаю на земле. Деревья пускают ростки, на ветках появляется завязь. Более густая тень падает сейчас на землю. А запахи такие, что мне хочется взять в обе руки комья земли и месить их. Работа

мне по душе, и я остаюсь на поле до позднего вечера. И, не снимая спецовки, иду за доченькой. Мне удастся пройти к детям, не задерживаясь и ни с кем не обмениваясь взглядами. И вместе с моей девочкой я прохожу мимо квартир наших стариков. Иногда я замечаю их лица. Иногда в их квартирах темно, и меня тогда охватывает какой-то сладкий озноб: чувствуешь, что время делает свое, оно неизменно движется вперед.

Я отвык от людей. Единственный, с кем я сблизился, был Арье Нахир. Как-то я стоял у входа в его дом. Моя дочурка звонко рассмеялась навстречу старику. Он легонько пощекотал ее. Мне показалось, что ему хочется, чтобы мы немного побыли с ним. Так я подумал. В последнее время мои чувства обострились.

И когда он стоял предо мной на панели, ниже меня на целую голову, я увидел, какое у него высохшее тело. Его суставы были крепки и жестки, как сучья, лицо замкнуто, а по краям губ шли упрямые складки. Очень странно, что уже в далекие, совсем другие времена, когда Арье громогласно требовал от всех осуществления на практике идей коллективной жизни, он казался мне очень старым. Насколько я помню, Арье всегда был таким, не подвластным времени; он всегда был старым, таким и остался. И еще: хотя я выше его, я смотрю на него снизу вверх. Вовсе не потому, что его слова мне кажутся такими значительными. Арье Нахир был первым, кто стал обрабатывать земли Долины.

И в последующие вечера, когда мы проходили мимо его дома, Арье уже ждал нас, стоя у входа. Он был очень ласков с девочкой и ждал, что я заговорю. И, к своему удивлению, я начинал говорить и рассказывал ему о том, что сейчас происходит на полях. Я знал, что ему это интересно.

А однажды старика не оказалось у входа. Мы зашли к нему в дом. Он лежал, вытянувшись в постели, и удивился, увидев нас. У него была большая

рука и растопыренные пальцы. Сквозь кожу ладони проступала желтизна. Я взял его руку в свою и сказал ему, склонившись к уху:

— Держись, Арье. Ты поправишься. Нет у нас в кибуце другого Арье Нахира.

А он прикрыл свой беззубый рот (протезы были вынуты) и что-то прошептал почти беззвучно. Я нагнулся, чтобы услышать. Он улыбался мне пустым ртом, и улыбка эта была ужасной. И я услышал отчетливый шепот:

— Хватит. Сколько еще можно?

Я научил Анат называть его дедушкой. Было видно, что это его радует. Потому что, состарившись, Арье остался один. Два его сына ушли из кибуца. У него здесь остался только я. А он остался моим.

О, если бы эти дни тянулись подольше! Состояние неопределенности очень отвечало моему нынешнему настроению. Все впереди, все возможно. Можно так продолжать жить одному, молчаливо и без особых огорчений. А возможно, что Шломит вернется, готовая начать жизнь заново. Возможно, я напишу ей письмо. Возможно, что поеду повидать ее. Большое количество возможностей нейтрализуют друг друга, а я остаюсь в прежнем, довольно уравновешенном состоянии.

С другой стороны, множество открытых путей возбуждает мою фантазию. Почему, дивлюсь я, все другие варианты я отбросил, а избрал один, обрекающий меня на одиночество и замкнутость? Ведь все возможно, почему же вышло именно так?

Если напрашивался какой-то ответ, то лишь для того, чтобы отвлечь мое внимание. Я прикидывал разные ответы. Странно, но я успокоился лишь тогда, когда обратился к банальному слову "судьба". И я говорю себе с улыбкой, значение которой мне самому непонятно: так угодно было судьбе. И все тут.

Меня очень устраивало состояние неподвижности, поэтому я и повторял так часто слово "судьба".

Но в это время внезапно приехала Шломит с пустыми чемоданами.

Когда я вечером вернулся с работы, открытые чемоданы стояли посреди комнаты, и Шломит в дорожном платье упаковывала детские вещи. Когда я вошел, она выпрямилась и прервала работу. Меня невольно заставили отпрянуть ее глаза, сухой взгляд, источавший вражду. Может быть, мы и обмолвились несколькими фразами о разных пустяках, а может, и не открывали рта. Не помню. Первую минуту была какая-то неопределенность. Потом она повернулась ко мне спиной, демонстрируя свою ненависть, и занялась чемоданами. Ее движения были резкими, угловатыми, мне слышался в них зубовный скрежет.

Да, я все понял. Но неожиданность меня парализовала. А может быть, дело тут в другом, ведь, по сути, особой неожиданности и не было. Я имел все основания ждать, что случится именно так, и, собственно говоря, хотел этого. Во всяком случае, я мог воспротивиться. Не знаю почему, но я ничего не предпринял. Судьба.

В наших отношениях отныне появилось нечто новое, в конфликт были вовлечены дети. Это, считал я, недостойное отклонение от правил игры. Шломит привезла детям подарки. Анат баюкала большую куклу, а Узи надувал новый футбольный мяч. Я был рассержен не на шутку. Это же открытый подкуп! Но я пожалел детей. Ушел из дома без них и посидел возле Арье. Затем побродил за оградой кибуца и незаметно дошел до лагеря подразделения Нахал. Бараки были освещены, там копошились солдаты. Все были в форме, я не смог распознать среди них мою знакомую и ушел в темноту. В нашу комнату я вернулся поздно ночью.

Эта ночь была тяжелее всех прочих. Она вела себя так, будто я вообще не существую. Проходила мимо в тонкой ночной рубашке, и ее гибкое тело слегка вздрагивало, когда она двигалась. За то время, что Шломит была в городе, лицо ее округлилось, волосы стали пышнее, казалось, что она помолодела, и моя изголодавшаяся плоть болезненно ныла. Я не шевелился в своем кресле. Она прошла мимо и погасила свет. Я слышал, как она дышит. Я слышал, как она задремала. Я подошел к ее ложу, встал на колени и положил голову на подушку возле головы Шломит, не касаясь ее. Я был весь в напряжении. Потому ли, что было темно и ко мне доносились ароматы ее тела, или потому, что наша кровать знала много хороших ночей, но у меня мелькнула счастливая мысль. Правда, пока она была весьма туманной. Новая идея захватила меня целиком. Суть ее — еще один ребенок. О подробностях следовало подумать.

Я был очень сдержан. С открытыми глазами, остерегаясь приблизиться к Шломит, я тщательно обдумывал и развивал новую возможность. Внезапно Шломит повернулась в мою сторону и протянула руку. Я беззвучно ускользнул на свое кресло.

Утром, уходя на работу, я оставил дверь открытой. В эту минуту я услышал чуть хриплый голос Шломит:

— Ты знаешь, Ре-у-вен, где сможешь нас найти, когда захочешь.

Разумеется, я знаю. И, как обычно, спокойно ухожу работать в поле.

Теперь все время было в моем распоряжении. Все зависело от меня одного. Ради душевного равновесия я решительно отклонил всякого рода скороспелые реакции. В Долине наступила пора гнетущего летнего зноя. А у нас летом самый разгар работ. Бесконечно длинная страда, когда на горизонте никаких перемен. Летом, во время изнуряющего зноя,

такой далекой кажется в Долине осень — пора перемен.

Но вот настал сезон сбора фруктов. Работы у меня было невпроворот. На плантации появились наемные рабочие с огрубевшими сердцами, и они, как всегда, предпочитали молчать. Но, когда работа горит под руками, время бежит быстро. Во всяком случае, все меня слушаются и выполняют мои указания, но это само по себе не имеет для меня особого значения. И какую бы я ни делал работу — то ли на уборке фруктов, то ли на сортировке, то ли на упаковке, — я своей новой идеи не забываю. Ни на минуту я не перестаю о ней думать, постепенно мой план обрастает деталями, и в конце концов все начинает казаться мне предельно простым. С одной стороны, предположим, преждевременный уход из кибуца. Но ведь всегда есть возможность вернуться в нужное время. Еще в поле я обдумывал этот вариант с возвращением. Надо лишь дожидаться подходящего часа. Только не идти против течения, а двигаться вместе со временем. В этом направлении я работаю. Тяжело, но спокойно и уверенно; такая забота помогает человеку устоять на ногах, и время проходит быстрее.

А в результате за моей спиной стали шептаться: бедный Реувен, он работает как вол, чтобы забыть-ся. Я ощущал это всеобщее сочувствие и мысленно посмеивался. Когда работаешь физически, ничего не забываешь. Думаешь тогда особенно интенсивно и ничего не забываешь. Иногда, в разгаре зноя, между зыбкими тенями серых деревьев, я вспоминаю себя растянувшимся на земле среди зеленых трав, в тишине, вдыхающим запах влажной земли рядом с разгоряченной девчонкой. И я глотаю слюну и продолжаю работать. Я не грущу и не сожалею. И зной меня не очень тяготит. Мне по душе эта всеобщая медлительность и отягощенность в природе. Я тружусь до самой темноты. Летние вечера занимают добрую четверть ночи, и нет лучшего време-

ни для работы и размышлений. Спокойно и неторопливо я все обдумываю. Наступающая темень застает меня в поле одного среди ящиков с фруктами.

Но вот ночи... Ночью надо кончать работу и идти домой. А комнаты в нашей квартире полны летней пыли, и в них затхлые запахи. И надо еще зайти в столовую. И всюду люди. И эти взгляды... И шепот... И мама... Как избежать встречи с матерью? Проще всего закрыть дверь на ключ, но меня тянет на улицу. И я брожу, прячась в тени домов, и кружу, кружу. Ночи сейчас очень теплые, все высыпали на улицу, и я обхожу их стороной, чтобы повидать моих стариков. Я вижу их всех по ночам в их освещенных комнатах, и все они в ожидании, как и я.

Я знаю, это их последние дни. По лицам ветеранов я вижу, что они хотят умереть этим летом, которому не видно конца. Давно ко всему равнодушные, они бессильно примирились с небытием и в полном сознании готовы уступить смерти. И я заклинаю их в темноте, как чародей, чтобы они не умирали раньше времени, потому что нет у нас других ветеранов, и здесь, в этих местах я призван охранять их во время летнего зноя. Обождите, старцы, до осени, хотя бы до осени. Осень — пора перемен.

В эти ночи я благодарен усталости. Если бы не та огромная работа, что я проделал за день, я не мог бы свалиться обессиленный в этой загроможденной вещами комнате, обретшей вид холостяцкого жилья. В моем возрасте, по-видимому, человек нуждается в душевном покое. Легче притупить ноющую боль здорового и горячего тела, когда ты смертельно устал. Спишь тогда мертвым сном и на холостяцкой кровати не хуже, чем на двухспальном ложе.

5

Нас вызвали в разгар уборки.

Я был молчалив. Когда ничего нельзя изменить,

я предпочитаю тишину. Скончался Арье Нахир, и никого из кибуцников не было в его комнате во время кончины. Я пошел рыть могилу среди маслин на участке кладбища, отведенном для ветеранов.

На похороны пришло много народу. Когда все разошлись, я один остался у могильного холма и собирал лопаты, приглаживал твердые комья. Букеты я разложил в форме венца. Пока я находился на кладбище, я не испытывал особой печали. Напротив, я как бы перестал думать и чувствовать. Я был очень спокоен, и вот доказательство. Там на месте я понял, что настало время действовать, и больше не следует откладывать. Арье скончался, а до осени еще далеко. Я стоял среди запахов разрытой земли, между маслинами и памятниками (среди них был и старый памятник отца), в зеленоватом свете, пробивавшемся сквозь редкие кроны деревьев, в духоте и жаре, что источала земля, и набирался сил для будущих активных действий.

Все продумав, я поспешил домой. Сообщил, что ухожу в отпуск. "На короткое время", — пообещал я. На то время, что буду отсутствовать, найдут мне замену на плантациях. Я не ждал, чтобы кто-то утвердил мой отпуск. Ощущение того, что я выполняю важную миссию, гнало меня в путь-дорогу. Я чувствовал себя примиренным, как после разрядки. Такая уверенность бывает лишь тогда, когда веришь в судьбу и считаешь своим долгом подчиниться ей.

И я прибыл к Шломит — побритый, постриженный, в своем субботнем, выутюженном костюме и с большим, очень солидным чемоданом, свидетельствующим о моем намерении надолго здесь остаться. Я не держал речей, но горячие слова приветия и тоски, которые я излил в тот день на нее и ее родителей, произвели хорошее впечатление. Такие излияния сделали бы честь и большим эрудитам, чем я. Мой замысел подсказывал мне нужные слова. И дети оказали мне большую помощь в осуществлении моих планов. Они очень соскучились по дому,

а я собственной персоной привез им частицу прежнего домашнего уюта, тепла, если можно так выразиться. И в большой, чистой и чужой мне квартире повеяли добрые ветры.

В красивом салоне мы пили кофе. Было пять часов вечера. Прикрытые жалюзи, тройные занавеси и тихое жужжание кондиционера способствовали созданию хорошей семейной атмосферы. Я, не переставая, болтал с ее родителями. Вообще-то говоря, они меня недолюбливают, и я плачу им тем же. На сей раз они превратились в моих верных союзников. Мои личные планы полностью соответствовали их тайным расчетам. А присутствовавшая при этом Шломит не разобралась в обстановке.

Шломит не смягчилась, она только была ошеломлена моим неожиданным появлением. Она сидела на диване прямо, ее ноги в туфлях на высоком каблуке и в темных прозрачных чулках были очень красивы и молодили. И это тоже благоприятствовало моему плану. "Мне явно улыбается удача", — подбадривал я себя. И я стал пространно объяснять ее родителям, почему я так долго ждал и не поспешил за Шломит сразу после того, как она уехала от меня. Ведь они-то хорошо знают, что такое ответственность: время сбора урожая, а я отвечаю за целую отрасль, и как бы тебе ни было тяжело, долг — на первом плане, а уж потом — личное счастье.

Затем, когда нас, как бы невзначай, оставили одних, я сумел польстить и Шломит: очень благородно с твоей стороны, что ты не празднуешь победы. Вот ты добила своего. Я здесь. Я готов.

И что ее так тронуло? Она прыгнула ко мне, как кузнецик. Она мне обещала. Она меня утешала, хотя не преминула упрекнуть. Потом немного всплакнула. Я обрадовался, когда она всплакнула. Плачущая, она была мне ближе, ведь максимально приблизить ее входило в мой план.

Вечером мы вдвоем сидели на веранде, выходившей на улицу. Дул ветерок. Сверкали звезды. Мы

чувствовали запах моря. Более того: на этой улице она росла, тут она играла в классы, тут впервые ощутила вкус поцелуя — иначе говоря, именно тут она была настроена более сентиментально. И это я тоже принял во внимание. Я побудил ее опереться о мое плечо. Потом мы долго и умиротворенно молчали, погруженные в размышления. Затем я тихо начал свою сомнительную исповедь. Я ведь решил полностью примириться. Она вправе была винить меня по своему усмотрению (а она как раз склонна была винить себя. Очень важный момент!). Я отдался в ее распоряжение. Я весь был ее. И когда она торжественно провозгласила изменившимся голосом — "я очень рада, что ты приехал, Руби", — это ласкательное "Руби", несколько раз повторенное, свидетельствовало о многом.

А когда мы ночью уединились в комнате, которую отвели нам ее умные родители, я был мягок и застенчив, как юноша, ни разу не согрешивший. И Шломит поглядывала на меня с опаской. Это была очаровательная скромность. Мы были подобны двум влюбленным в их первую брачную ночь. И тогда с полной несомненностью прояснилась целесообразность всех моих поступков (эту мысль я лелеял долгое время, и я действовал по принципу: если тебе улыбнулось счастье — не упускай мига удачи!).

Мною овладела страсть изголодавшегося мужчины. И я обнаружил, что Шломит голодна и измучена не менее моего.

Назавтра я расположился у ее родителей, как в собственном доме. Содержимое своего огромного чемодана я рассовал по полкам шкафов. Ничего определенного не было сказано, но в отведенной нам комнате мы сдвинули постели и наслаждались вволю. Мы не могли насытиться, у нас разыгрался аппетит после долгого воздержания. И каждую минуту я готов был поддаться соблазну, благо судьба мне благоприятствовала.

Ее добрые родители молча наблюдали за нами, и

в их взглядах чувствовалась озабоченность. Я понимал ее причины и мысленно их успокаивал. Да, я с большим аппетитом поедал их вкусные завтраки, обеды и ужины, чтобы восстановить свои силы. Да, они оберегали нас, своих детей, когда мы отдыхали, закрывшись в прохладной комнате, на своем просторном ложе. Но ведь не здесь, в этом прекрасном доме, я разбил свой шатер. Не иначе, как из-за сильной усталости я так долго спал. Страдная пора истощила мои силы. И Шломит тоже.

Любопытно, что в течение тех семи дней, которые мы провели попеременно в постели, в зоопарке, на берегу моря, на ночных аллеях, обнимаясь и радуясь, как вольные птицы, она ни разу ни одним словом не вспомнила маленькую Ниру. И не интересовалась тем, что я делал во время ее отсутствия. И не спросила ни об одном кибуцнике. Будто я был камнем, который выкопали на поле и откатили в сторону. Не скажу, что я был обижен. В сущности, что от этого менялось? В моем возрасте у меня уже выработался иммунитет против иллюзий. А с другой стороны, я ни на мгновение не забывал выпавшей на мою долю удачи. Уверенно и точно я обхаживал ее, сильный и страстный. Я насыщался ее ласками. Это были семь прекрасных дней и ночей.

В последнее утро, за завтраком, когда мы пили кофе, я вялым голосом прочел родителям краткую лекцию о долге, который лежит на тех, кто стал на путь добродетели. Я напомнил им, что из-за тоски по жене и детям я оставил кибуц в разгаре уборочной страды, и на мне лежит долг и обязанность завершить начатое дело. Глаза у стариков заблестели. Они весьма ценили в людях такое качество, как чувство ответственности.

— А пока я оставляю свою семью у вас, дорогие родители, — продолжал я мягко. Их глаза потускнели. Старушка что-то пробормотала старику попольски, а Шломит внезапно испугалась и попере-

менно глядела то на меня, то на них. Две хорошо мне знакомые упрямые морщинки пролегли от ноздрей по щекам. Как я любил ее в этот час!

Когда я начал паковать чемодан, она вошла. Что-то ее мучило, и она оставалась в растерянности, глядя на меня. Я подошел к ней и нежно разгладил ее горестные морщинки. Не было необходимости много говорить. "До свидания", — сказал я ей. — "До скорой встречи!"

Дети вскочили и хотели ехать домой вместе со мной.

— Нет, дорогие! — я читал им нотацию в присутствии матери. — Мама пока не разрешает. Мама и я знаем, что мы делаем, мы все делаем для вашего блага, дети.

Наши ветераны любят повторять русское выражение — "Это долгая история. Начнем сначала!"

Я вернулся домой, и все начал сначала.

Лето в этом году переливалось через край. Когда стоит такой нестерпимый зной, безо всяких перемен, когда бесконечно чередуются совершенно одинаковые бесконечно длинные дни, все возможности находятся под сомнением. Как еще далеко до осени! И я снова впрягся в работу. А о своих делах даже думать перестал. Я нашел для себя новое утешение — в ожидании.

6

Более месяца я ждал, уповая на свою удачу. Как известно, не следует начинать отсчет девяти месяцев до того, как прошел первый месяц. И когда пришла от нее открытка, я не удивился. Ведь я ее ждал.

Шломит писала со смирением, словно подчиняясь року. Она признавалась, что снова беременна. Это совершенно несомненно. Она меня не обвиняла и не употребляла суровых слов. А в конце был долгожданный вопрос: что теперь с нами будет?

Я был по-прежнему спокоен и словно прислушивался. Долина Иордана — трудное место. Формы жизни здесь определены окончательно. Судьба его жителей движется по замкнутому кругу. И с этой судьбой надо примириться и принять ее смиренно, как земля принимает нестерпимый летний зной. Без особой радости и без пронизывающей печали. Шломит слишком умна, чтобы самой предпринять скороспелые шаги. Если бы она знала, какой она кажется мне соблазнительной по вечерам!

Тревожная сторона полученной вести граничила во мне с утонченной радостью, что не говорит в мою пользу. Но меньше всего меня радовало горе Шломит. Я вовсе не мечтал видеть ее побежденной. Я и не надеялся на то, что она прекратит борьбу. Я радовался удаче, которая откликнулась тому, кто ее звал.

Незаметно пришла осень. Дни стали короче. По стерне прошли тракторы. Шломит все шлет мне письма. Я не отвечаю. Писать — значит еще более отягощать себя. Распалая в себе тоску. Да, тоску. Только работа, как всегда, дает мне удовлетворение. В поле, в обновленной тишине, в уединении, когда осень идет к концу.

Перед сезоном дождей скончался Авраам Томер. Я возился с его могилой и, когда вернулся домой, с большим усилием поборол внезапно охватившее меня сильное желание поехать к Шломит. Мне вдруг страстно захотелось быть с нею, с детьми. Я запер дверь и улегся на нашу неприбранную кровать в нашей аскетически запущенной комнате, свидетельнице превратностей времени. Признаюсь, что я представлял себе Шломит в ее нынешнем состоянии. С большим животом на тонкой фигуре. С лицом в желтых пятнах и с покрасивевшими глазами. Я думал о том, как она приедет ко мне. А если не приедет — пожалуй, я напишу ей, чтобы вернулась. Потому что уж близятся сроки. Потому что ветераны умирают один за другим. Потому что мы не становимся ни моло-

же, ни счастливее. А если она приедет, я не забуду того, что обещал. Пусть она побудет в наших местах только временно. Всегда только временно. А в наши счастливые минуты пусть мечтает о собственном домике в благоустроенном пригороде, и ее печальный голос отзовется в моем сердце. А назавтра, во время текущей ссоры, мы переступим и через это, и перемены, которых мы ждем, все еще будут маячить впереди. Как у репатрианта, что прибыл с грудным ребенком, с женой и еще двумя детьми. Может быть, начнем все сначала. А может быть, и не начнем. Может быть, смиримся с выпавшими на нашу долю тяготами. Может быть, победит Долина.

Я нюхаю воздух и чувствую приближение дождя. Земное притяжение во мне очень сильно, потому я здесь так укоренился. Дни — как гигантские качели, а я — та постоянная ось, на которой они качаются. Но моя сила не истирается. Она лишь закалилась. Потому что эта Долина — трудное место. Она закаляет и делает стойким.

Все это верно, — говорю я себе. Но пока человек верен своей судьбе, перед ним открыты все возможности.

Перевел с иврита А. Белов.

АХАРОН МЕГЕД

АХАРОН МЕГЕД родился в 1920 году в Польше, ребенком приехал в страну с родителями. В молодости был кибуцником. Романист, драматург, рассказчик и публицист. В газете "Давар" еженедельно печатает очерки и фельетоны на темы дня. В русском переводе опубликованы его романы "Хедва и я" (1975) и "За счет покойного" (1977).

МУШАЕВ И СЫН

Странные люди эти отцы и матери, время от времени посещающие наш кибуц. Иная мать слишком уж активна и назойлива, и стоит ей появиться у околицы, как она уже все знает и во все вмешивается. Всюду слышен ее голос, и вскоре она берет здесь всю полноту власти в свои руки. Едва успев броситься на шею дочери с возгласом "Шалом, дорогая", она уже сует свой нос во все, бесцеремонно хозяйничает на кухне и раздает советы направо и налево. "Не так, моя милая, варят горох, сначала надо вскипятить воду... А картошку вы варите в кожуре? Какие вы странные!.."

Не успеешь повернуться, как она уже шурует на складе одежды, наводит свои порядки в "доме малютки" и сюсюкает с детьми в их загончиках... В общественной столовой ее голос заглушает все остальные, и даже на общее собрание кибуцников она считает своим долгом явиться, чтобы дать несколько

ценных указаний, базируясь на своем богатом жизненном опыте... Короче говоря, она заполняет своей персоной весь кибуц, и от ее вмешательства никуда не денешься.

Попадаютя болезненные матери, любящие повздыхать; у них расстроена печень, желчный пузырь или еще что-нибудь. Такая шагает по ферме, опираясь на плечо своей дочери, слегка прихрамывая. Добравшись до столовой, она со вздохом усаживается за стол, ее желтое лицо кривится, и что бы вы ей ни предложили — от всего она воротит нос с громким брзжанием. Она долго кряхтит и ворчит, затем возвращается в комнату дочери и там заваливается в ее постель. Немного полежав, она садится, затем снова ложится... И это длится долго, до тех пор, пока не начнет казаться, что весь кибуц заболел желчнокаменной болезнью... А когда она уезжает, все вздыхают с облегчением: слава Богу, избавились...

Попадаютя, впрочем, тихие и скромные матери с пугливой и печальной улыбкой на устах. Такие на цыпочках подходят к каждой двери, словно боясь помешать, и на их умиленных лицах читаешь: как у вас здесь приятно, какие милые детки! Как хороши ранние посадки, какая замечательная кухня и столовая, какие чудесные тракторы на поле, какое голубое небо, какие белые дома, какие кактусы возле веранды, какой парень с полотенцем на плече — все прекрасно...

А отцы... Вы думаете, они меньшие чудаки? Попадаютя такие папаши, особенно среди разбогатевших и разжиревших, которые въезжают в кибуц, как в собственную вотчину, будто сами его отстроили. Если не сами, то, по крайней мере, на их деньги, а если не на их деньги, то, во всяком случае, под их покровительством и при их содействии. Такой по-хозяйски расхаживает по ферме и всем улыбается, будто не он здесь гость, а все приехали к нему в гости, и он их приветливо встречает. Он вхо-

дит в слесарную мастерскую, в столярку, наблюдает за работой механизмов и людей, осматривает потолок и стены и выражает свое удовлетворение: все делается, видимо, так, как он задумал и запланировал, без каких-либо отклонений. "Но эту яму, что во дворе, да вон ту, надо закрыть, чтобы не воняло, — указывает он рукой. — А там надо построить навес. Высокий, но недорогой, понимаете, чтобы не ржавели машины..."

Другие же едут к нам только ради собственного удовольствия, чтобы вкусно поесть и сладко поспать на лоне природы; утром совершить приятную прогулку по тенистой аллее фруктового сада, под вечер бесцельно постоять на лужайке возле комнаты сына, посматривая вокруг; немного покурить, немного почитать; отложить книжку и присоединиться к детям, играющим на лужайке. Все видят и знают, что такой отец очень и очень доволен.

А есть отцы, которые на все смотрят враждебно, подозрительно и с явным неудовольствием, и в глазах их читаешь: "Что это, черт подери, за кибуц, где краны протекают, в уборных вонь, в душевой все трутся друг о друга, еда невкусная, работники ленивы, нет порядка и дисциплины! Правы те, кто утверждают, что в наши дни кибуцы — анахронизм; они нежизнеспособны, они обречены..."

А сыновья... они тоже разные. Одни принимают Божье наказание, именуемое визитом родителей, с пониманием и любовью. Они их приветливо обхаживают, щедро угощают, оказывая им всяческие знаки внимания — и в свободное от работы время, и даже во время работы, — только бы старики были довольны. Есть такие дети, которые молча страдают и выполняют свой сыновний долг так, будто в них вселился бес. Лица их мрачны, губы сжаты, настроение убийственное, и их трудно узнать. Когда родители уезжают — у них снова приветливая улыбка на устах, и снова они благожелательны и милы, как обычно. Есть и такие, что ведут себя как дикие мус-

танги и открыто бунтуют против своих гостей. Ни тебе сыновнего уважения, ни гостеприимства, нет даже элементарного внимания. Они предоставляют их самим себе, как бы говоря: "Приехали — дело ваше, меня это не касается..." Был у нас и такой парень (его звали Бума): когда ему сообщали — "приехала мама", он ужасно смущался и испуганно говорил: "Скажите, что меня нет"... И куда-то исчезал. Найти его было невозможно.

Странные существа наши родители, но самым странным и диковинным из всех когда-либо побывавших у нас был Мушаев. Он посетил наш кибуц один-единственный раз и больше не показывался. И хотя при этом единственном визите не произошло ничего сверхъестественного, он заслуживает того, чтобы о нем рассказать.

Когда к нам присоединилась группа ребят из "Нахал", был в их числе чудаковатый парень, которого все звали Зюзей. Высокий и тощий, он, казалось, вдруг вырос и вытянулся в течение одной ночи и раньше положенного времени, наподобие папоротников на высоких стеблях, растущих в тени деревьев. Его льняной чуб ниспадал на лоб, но он, видимо, никогда не пытался причесать свою чуприну, отвести волосы назад. Его синие и печальные глаза были всегда прикрыты большими очками, и взгляд их выражал удивление. Он отличался особой небрежностью туалета, какую нечасто встретишь даже среди довольно расхлябанной молодежи "Нахал": брюки явно коротки; большие и неуклюжие ботинки никогда не зашнурованы до конца; гимнастерка наполовину схвачена поясом, а наполовину торчит наружу, один рукав закатан высоко, другой низко. Субботней выходной одежды у него, по-видимому, не было вообще. Чуть было не сказал, что никогда не видел, чтобы он брился, но помню, что он не носил бороды и только мягкий шелковый пушок виднелся над его верхней губой.

Большую часть свободного времени Зюзя находился не в кругу сверстников, а бесцельно и одиноко расхаживал по ферме, лениво волоча ноги и тараща глаза на макушки деревьев, будто разгадывая таинственные сны. В столовой часто останавливался у доски объявлений, засунув руки в карманы, читал газету, висевшую на стене, и прислушивался ко всему, о чем толковали кибуцники, стараясь не проронить ни слова. Понятно, что он не пропускал ни одного общего собрания. Зюзя всегда устраивался в укромном уголке, руки клал на колени и, подавшись вперед всем телом и широко раскрыв глаза, внимал каждому слову. Наш распорядитель работ Хилек, который уже поднаторел в распознавании подобных типов, давал ему всегда случайные работы, как, например, уборка мусора, очистка мест общего пользования, перевозка грузов на телеге, и тот безропотно все делал, будто для того только и создан, чтобы выполнять подобные простые и малоприятные работы.

Он сразу же всем показался чужаковатым, но наше недоумение стократно возросло, когда нам сказали, что Зюзя — сын Мушаева, владельца экспортно-импортной конторы "Мушаев эт Мушаев" в Хайфе. Эта фирма была известна как одна из самых богатых в стране, в ее распоряжении находились мощные холодильные установки, просторные складские помещения, штабеля древесины, большие запасы угля и филиалы различных довольно значительных предприятий.

Во-первых, странно, почему сына Мушаева зовут Зюзя, что более похоже на собачью кличку, чем на человеческое имя, и звучит оно так пренебрежительно, будто владелец его круглый ноль. Во-вторых, судя по фамилии, Мушаев сефард и очень странно, что у него такой светлый сын, голубоглазый, с льняными волосами. В-третьих, удивительно, что сын таких богатых родителей подвизается в бедном ки-

буце и столь плохо и неряшливо одет... Очень, очень странно.

Когда стали расспрашивать его товарищей, они тоже не смогли дать вразумительного ответа. Мы были уверены, что он повздорил с родителями и удрал из дому. На это нам возразили, что никак нет, сам отец послал его в кибуц, и тот выполняет отцовскую волю. Но когда при нем вспоминали отца, Зюзя пожимал плечами и отворачивался, не говоря ни слова.

Однажды в полдень, когда пылало солнце и плавился песок, во двор кибуца въехала шикарная синяя машина и остановилась возле столовой. Из нее вышел тучный коротконогий человек с лицом, похожим на арабский медный чан. Глаза у него были черные и острые, словно мышинные, а под левым глазом красовалась большая и круглая бородавка величиной с чечевицу, на которой росло несколько волосков. На нем был коричневый костюм, на глаза надвинута коричневая шляпа, а на ногах красовались красные ботинки. Широко расставив ноги, он стоял возле своей машины, шарил рукой в кармане пиджака и сердито оглядывался.

В это время из столовой выходил наш Хилек. Увидев парня, приезжий подозвал его кивком головы и сказал, не отходя от машины:

— Послушай, парень, ты из кибуца?

— Да, — ответил Хилек, подойдя поближе.

— Ты знаешь Иосифа Мушаева?

— Кого?

— Иосифа Мушаева из Нахал.

— А... Зюзю?

— Да, Зюзю, — сказал тот, выдавив из себя улыбку. — Скажи ему, пожалуйста, что приехал отец и хочет его видеть.

— Он сейчас на работе... — ответил Хилек уклончиво, дивясь тому, что перед ним предстал собственной персоной сам Мушаев.

— Не важно, — сказал Мушаев бесстрастным голосом. — Скажи ему, что приехал отец.

Хилек помедлил, о чем-то раздумывая, затем ответил:

— Ладно. Сейчас позову.

И ушел.

Мушаев оторвал свои короткие ноги от земли, где стоял неподвижно, и сделал несколько шагов вправо, затем влево, неизменно возвращаясь к своей машине. Он оглядел окружающие постройки, затем снова остановился у машины, слегка сдвинув шляпу назад, и с ожиданием смотрел на дорогу.

Неожиданный приезд отца не особенно обрадовал Зюзю. Он шел к нему не спеша, с ленцой, будто к подошвам его ботинок прилипли комья грязи, и взор его был слегка затуманен. Когда он подошел к отцу и остановился, подобно провинившемуся ребенку, ожидающему наказания, Мушаев-старший вынул правую руку из кармана пиджака и с улыбкой протянул сыну короткие волосатые пальцы.

— Что слышно, Иосиф?

— Все хорошо, — ответил тот почти беззвучно и опустил глаза.

— Хорошо? — допытывался отец, не спуская глаз с сына и как бы раздумывая, что делать дальше. Он вынул левую руку из второго кармана и протянул Зюзе две плитки шоколада.

— Возьми, это тебе.

— Спасибо, — ответил Зюзя тихо и взял шоколад с видом человека, не знающего, что с ним делать.

— Кушай, это хороший шоколад, — сказал отец. — Где ты живешь?

— Там, в бараке, — Зюзя ткнул рукой в сторону новых барачков.

— Ладно, пойдем в твою комнату, — сказал Мушаев и захлопнул двери машины.

Когда они шагали рядом, Зюзя выглядел еще длиннее обычного, и его ноги казались двумя тонкими шестами. А отец, как утка, переваливался с боку на бок, и ноги его тонули в песке.

Нельзя сказать, что комната Зюзи произвела на

отца хорошее впечатление. Когда тот с порога увидел три неприбранных кровати и валявшиеся под ними грязные спецовки, а также ящики, служившие и стульями, и столами, он шумно вздохнул и спросил изменившимся голосом:

— Это что такое?

Не получив ответа, он уселся на краешек одной из кроватей, указал пальцем на пол и спросил:

— Здесь ты живешь?

— Да, — ответил Зюзя растерянно и уселся на другую кровать.

— Я тебе устрою другую комнату, — решительно сказал Мушаев-отец и засунул левую руку в карман.

Зюзя широко открыл свои синие глаза и удивился:

— С кем устроишь?

— Не твоя забота, — решительно отрубил отец. — Я сам все устрою. Ты только скажи, кто у вас главный.

— Нет главного, — промямлил Зюзя.

— Ну, ответственный, секретарь или как он называется. Ты покажи мне его, а я уже сам все устрою.

— Но... нечего устраивать... здесь все так живут, — сказал Зюзя.

— Не ври, — Мушаев поднял руку кверху. — Я видел здесь хорошие дома.

— Это для ветеранов кибуца, — сказал Зюзя.

— Предоставь это дело мне, — Мушаев хлопнул рукой по колену. — Получишь комнату в новом доме. И ковер тебе куплю. Кем ты работаешь?

— Во дворе, — ответил Зюзя.

— Я не спрашиваю, где ты работаешь, — рассердился Мушаев, — я спросил, кем ты работаешь.

— По очистке...

— Что-о?

— Ну... убираю территорию, чищу душевые...

Мушаев смерил сына долгим взглядом, позвякивая монетками в кошельке, затем спросил:

— У вас есть тут слесарная мастерская?

— Угу.

— Там ты будешь работать. Я это устрою, — сказал Мушаев тоном, не терпящим возражения.

— Это невозможно, — ответил Зюзя, испуганно поглядывая на отца. — Невозможно... Мне ведь поручили другую работу.

— Я все устрою. Уже сегодня начнешь работать в слесарной мастерской.

Зюзя опустил глаза. Казалось, он вот-вот расплачется. Когда отец увидел это, выражение его лица немного смягчилось, и он сказал:

— Ты себя здесь плохо чувствуешь? Ничего, тебе здесь будет хорошо.

— А мне и так хорошо, — прошептал Зюзя, и губы его дрожали.

— В чем ты нуждаешься? — спросил Мушаев. — Скажи откровенно, не стесняйся.

Зюзя пожал плечами и не ответил.

Мушаев встал, вынул из кармана брюк ассигнацию, протянул ее Зюзе и сказал:

— Возьми пять лир. Когда чего-нибудь захочется — подойдешь в мошав и купишь.

Зюзя сидел, опустив голову, руки его свисали между колен.

— Возьми, у отца не надо стыдиться брать, — сказал Мушаев и сунул ассигнацию в руку Зюзи. Но она упала на пол.

Мушаев нагнулся, поднял ее, помахал ею перед носом Зюзи и сказал сердито:

— Я не люблю такие фокусы, ты хорошо это знаешь. Возьми пять лир и положи в карман.

Потом тихо добавил:

— Пять лир сегодня это деньги.

Зюзя взял ассигнацию и сунул ее в карман. В это время зазвенел колокольчик.

— Что такое? — спросил Мушаев.

— Зовут на обед, — ответил Зюзя и вздохнул с облегчением.

— Что ж, пойдем пообедаем, — сказал Мушаев

и положил руку на плечо сына. — А ты покажи мне вашего самого ответственного. Я хочу говорить только с ним, а не с кем-нибудь другим. Ты знаешь, я не люблю ходить вокруг да около.

Когда Мушаевы вошли в столовую, все головы повернулись в их сторону, и отовсюду слышался шепот: "Мушаев, это Мушаев". Пока взор Зюзи блуждал по столовой в поисках свободного места, Мушаев указал на одну из скамеек и сказал:

— Садись. Здесь есть место.

Видимо, отец изрядно проголодался. Усевшись на скамью, он положил локти на стол, выхватил из корзины ломоть хлеба и, отрывая от него куски, стал быстро запихивать в рот. Так как дежурная медлила с подачей блюд, он успел проглотить три ломтя хлеба и неисчислимое количество маслин, которые торопливо жевал, выплевывая косточки. Все это время Зюзя сидел неподвижно и глядел в окно, и по выражению его лица можно было предположить, что он видит там нечто очень прискорбное. В действительности же его грызла одна-единственная мысль: как сделать, чтобы не найти секретаря кибуца и избавиться от того страшного позора, который ждет его.

Пока он так размышлял, подошла дежурная и подала две тарелки. В каждой из них было по два блюда — одно светлое с тенденцией к потемнению, другое — матовое с тенденцией к прояснению.

— Что это? — спросил Мушаев с кисловатой миной, указывая пальцем на тарелку.

— Цветная капуста и баклажаны, — сказал Зюзя.

— Это не для тебя, — сказал Мушаев. — Попроси что-нибудь другое. Скажем, яйца.

— Я люблю цветную капусту, — сказал Зюзя.

— Не ври, — сказал Мушаев, — ты не любишь цветной капусты.

Гневно взглянув на сына, он продолжал:

— Вижу, что ты остался, каким был. Иди попроси, чтобы тебе дали яйца. Скажи, что я велел.

— Все у нас питаются одинаково, — сказал Зюзя, побледнев. — Я не могу...

— Я все устрою, — сказал Мушаев. Он поднялся и, решительно шагая между двумя рядами столов, подошел к кухне. Возле плиты стояла Сареле, голова ее была окутана облаком пара, поднимавшегося из огромной кастрюли.

— Простите. Вы повариха? — обратился к ней Мушаев, пытаясь изобразить на лице вежливую улыбку.

— Да, — донесся голос Сареле из густого пара. Мушаев шагнул ей навстречу и представился:

— Я — Мушаев. Попрошу вас, если можно... так как мой сын не ест цветной капусты, приготовить для него яичницу.

Сареле удивилась, затем улыбнулась и чуть даже не фыркнула — ее разбирал смех. Но лицо Мушаева было таким открытым и простодушным, будто он просил: "Ради меня сделай это, милая..." И Сареле, отбросив кое-какие принципы, ответила:

— Хорошо, сейчас приготовлю.

Мушаев заложил руки за спину и терпеливо, чуть скучая, наблюдал, как та ставит на плиту сковородку, наливает масло, разбалтывает яйца, и они булькают, пузырятся и начинают издавать приятные запахи. В эту минуту он напоминал ребенка, который случайно забрел на чужую кухню. Поварихи, когда они колдуют у плиты, обретают материнское превосходство над всеми прочими смертными, даже столь значительными, как Мушаев.

Собственными руками принял Мушаев из рук Сареле тарелку с поджаренной яичницей, поклонился и зашагал к столу. Такое достижение, возможно, вызвало бы победную улыбку на лице другого человека, но не Мушаева, который привык к значительно большим свершениям, чем это. Он пробирался между двумя рядами скамеек со строгим выражением лица, продвигаясь вперед уверенным шагом полководца.

Но, дойдя до стола, он не обнаружил там Зюзю.

С гневом оглядываясь вокруг, он минутку обдумывал, как быть, и, видимо, пришел к выводу, что всего лучше излить свой гнев на яичницу. С этим твердым решением он уселся за стол и в считанные секунды проглотил яичницу до последней крошки. Затем вытащил из кармана брюк большой платок, вытер им рот и пальцы, снова засунул платок в карман и обратился к одному из кибуцников.

— Покажите мне, пожалуйста, вашего ответственного или секретаря.

Тот подвел его к Перецу, который в это время склонился над тарелкой, с аппетитом поглощая ее содержимое. Тут уместно будет отметить, что наш Перец совсем не похож на секретаря кибуца или других руководящих работников с их записными книжками. Это высокий и широкоплечий парень с могучими обоюдоострыми усами, как у турецкого офицера. И голос у него сильный и зычный.

Когда Мушаев его увидел, то спросил с едва скрываемым сомнением:

— Вы секретарь?

— Имею честь быть таковым, — ответил Перец, сердечно улыбнулся и привстал.

Мушаев протянул ему руку, слегка поклонился и представился:

— Нисим-Элияху Мушаев. Хотел бы немного поговорить с вами, если возможно.

— К вашим услугам, — ответил Перец, указывая на свободную скамейку, и добавил: — Мы можем здесь устроиться, если не возражаете.

Мушаев недовольно оглянулся вокруг и сказал:

— Хотел бы с вами побеседовать тет-а-тет. Я предпочел бы выйти на улицу или уединиться в какой-либо комнате, если вам не трудно.

— Совсем не трудно! — произнес Перец, зевая во весь рот, и повел гостя за собой.

Войдя в комнату секретариата, они уселись, один — по одну сторону стола, второй — по другую. Мушаев вынул серебряный портсигар, легким нажатием

невидимой кнопки раскрыл его и протянул Перецу.

— Курите?

— Большое спасибо! — ответил Перец, поднося руку к сердцу. — Я дал себе зарок больше не курить.

— Даже американские? — спросил Мушаев с улыбкой.

— Полный запрет! — ответил Перец.

Мушаев закрыл портсигар, сунул его в карман, положил руки на стол, сцепил пальцы и сказал:

— Я по поводу сына. Вообще-то говоря, хочу отметить, что я доволен его пребыванием у вас. Но мне хотелось бы изменить его статус по двум параграфам.

Черные глаза Переца замигали, а в густых усах спряталась улыбка.

— Какие параграфы вы имеете в виду? — спросил он.

— Я хотел бы, чтобы это осталось между нами, — сказал Мушаев, поиграв пальцами. — Итак, прежде всего жилищный вопрос. Я обнаружил, что он живет в плохой квартире в совершенно неприемлемых условиях. Хочу попросить вас устроить его в другом доме, если можно — в сепаратной комнате.

Перец с удивлением взглянул на него, но так как наш секретарь был тогда в игривом настроении, то покрутив двумя пальцами кончик правого уса, он сказал, как бы размышляя вслух:

— А... это дело трудное... Дело трудное... Вы должны понять... у нас такой порядок, что...

— Я предпочел бы, уважаемый, — перебил его Мушаев, чтобы сейчас мы не затрагивали формальные моменты процедуры. Каждая проблема, как известно, имеет два аспекта — чисто юридический и человеческий. Считаюсь с тем, что я прошу, можно, думается мне, устроить это в виде исключения, ради меня.

— Гм... — сказал Перец, пересаживаясь справа налево... Дело трудное... Вы должны понять, что нель-

зя дать одному товарищу привилегии, которых лишены остальные...

— Да, да, я понимаю, — ответил Мушаев пренебрежительно. — Но не будем обманывать самих себя, — он хитро улыбнулся. — Даже в учреждениях "пар-экселенс"* есть люди, которые пользуются особыми правами, а руководство смотрит на это сквозь пальцы. Я уверен, что такое мелкое и ничтожное дело, как перевод человека из комнаты в комнату, не причинит вам особых осложнений.

— Вы ошибаетесь! — воскликнул Перец. — Будут бо-ольшие осложнения!

— Понимаю, понимаю, — сказал Мушаев. — Вы боитесь общественного мнения.

— Вот именно! — ответил Перец.

— Вы опасаетесь, что это может быть опротестовано другой инстанцией или может возникнуть публичный скандал...

— И поймите, каково будет мое положение, — сказал Перец озабоченно.

— Я понимаю, — сказал Мушаев, опуская глаза на пальцы, которые продолжали свою игру, как ни в чем не бывало. Слегка подумав, он добавил: — В отношении этого я уверен, что очень просто можно избежать неприятностей с чьей бы то ни было стороны.

Перец приготовился внимательно слушать.

Мушаев, немного помедлив, сказал рассудительно:

— В таких делах можно аргументировать состоянием здоровья. Вы, надеюсь, понимаете меня.

— Гм... насколько мне известно, состояние здоровья Зюзи "пар-экселенс"** — сказал Перец.

— Я готов доставить вам справку врача, — сказал Мушаев, положив локти на стол.

Перец улыбнулся и сказал:

— Разве я похож на афериста?

— Никто меня никогда еще не обвинял в жуль-

*Здесь в смысле "лучших, на высшем уровне".

**В данном контексте — "превосходное".

ничестве, — сказал Мушаев твердо. — Моя фирма известна всей стране своей добросовестностью, и мы этим гордимся. Вы можете об этом осведомиться в правительственных учреждениях и в любой уважаемой общественной организации. Если я сказал, что готов привезти справку врача, то лишь потому, чтобы у вас не было никаких неприятностей.

— Я вам весьма признателен, господин Мушаев, — сказал Перец, — но я опасюсь, что сам Зюзя с этим не согласится.

— Иосиф сделает так, как я ему скажу, — сказал Мушаев, глядя на него исподлобья. Понизив голос до шепота, он добавил: — Если нужно уплатить, — я готов. Вопросы денег для меня не существует.

Перец улыбнулся:

— Дело не в деньгах, господин Мушаев.

— А в чем же?

— В принципе.

— Ах, так! — воскликнул Мушаев, теряя самообладание.

— Вот именно, господин Мушаев.

— Выходит, что вы решили ни в коем случае не давать моему сыну другой квартиры.

— Сожалею... Но вы должны понять...

— Да, я понимаю. Вы здесь единственный, который занимается такими вопросами?

— Да. Имею честь быть таковым.

— Вы должны знать, что я имею в виду вашу пользу.

— В этом я не сомневался. Но не могу...

— И это ваше последнее слово?

— К сожалению.

— Ладно, — сказал Мушаев, приподымаясь. — Как бы вы потом не пожалели.

И он вышел из комнаты и решительно зашагал по направлению к барaku, в котором жил Зюзя.

А Мушаев-младший сидел в своей комнате на краешке кровати и смахивал слезы, которые то и дело набегали крупными каплями, а рукавом вы-

тирал нос. И чем больше он старался удержать слезы, тем сильнее они его душили, медленно скатываясь по лицу.

Мушаев остановился у входа в комнату. Увидев плачущего сына, он растерялся, но это длилось считанные секунды. Тотчас оправившись, он сказал тоном приказа:

— Собери, Иосиф, вещи, ты едешь со мной.

Зюзя высморкался, но не ответил.

— Собери свои вещи, ты поедешь со мной! — повторил он громче.

— Куда? — прошептал Зюзя, не поднимая глаз.

— Поедем домой, а там решим, что делать дальше.

— Не поеду, — пробормотал Зюзя. — Не поеду.

— Когда отец говорит, что поедешь, значит, ты поедешь.

Зюзя не отвечал, только сопел носом.

— Поторопись, мне некогда. Собери вещи и пойдем, — сказал Мушаев, смягчив тон.

Зюзя не шевельнулся.

Мушаев подошел к нему, взял за руку и начал уговаривать:

— Пойдем, пойдем, Иосиф. У меня нет времени.

— Оставь меня, — процедил тот сквозь зубы и вырвал руку.

Мушаев гневно взглянул на сына. Казалось, он его сейчас ударит. Но вместо этого он подошел к порогу, сунул руку в карман пиджака и позвенел ключами, которые там лежали. От волнения у него дрожало левое колено. Он сказал:

— Иосиф, пойми, что я все делаю только ради твоего блага.

— Не поеду... — прошептал Зюзя.

— Это твое последнее слово?

Зюзя не ответил.

— Ладно, — сказал Мушаев. — Как бы ты не пожалел об этом.

И он быстро зашагал к своей машине.

Неизвестно, что произошло, но это факт, что, когда Мушаев уселся в своей синей шикарной машине и запустил мотор, она не тронулась с места. Мушаев вышел посмотреть, что случилось, — и обнаружил прокол шины одного из передних колес.

— Ко всем чертям! Экие ослы! — процедил он сквозь зубы, в гневе ударяя ногой по колесу. Сунув руки в карманы, начал ходить вокруг машины, как крыса в мышеловке. Снова ударил ногой поврежденное колесо, но пользы от этого не было никакой. Мушаев совершенно растерялся. Правда, у него имелось запасное колесо, но он не знал, как его поставить взамен вышедшего из строя. Его лоб покрылся капельками пота. — Дикари! Они еще пожалеют об этом! — бормотал он, скрипя зубами.

Он оглядывался, но никого не было поблизости. "Как в пустыне", — подумал он. Песчаный двор накалился от полуденного солнца, кругом все пылало и плавилось. Он посмотрел в сторону ворот, в сторону дороги, идущей вдаль, — но и там не было никого, кто мог бы помочь. "Ко всем чертям!" — прошептал Нисим-Элияху Мушаев и сдвинул шляпу на лоб. Упершись руками в бока, он растерянно смотрел на машину, и чем пристальней он ее разглядывал, тем больше капель пота выступало у него на лбу. В конце концов он решил действовать.

Быстрыми шагами Мушаев направился к комнате Зюзи, а подойдя поближе, замедлил шаг. Тихо вошел, уселся рядом с сыном на постели, коснулся его руки и сказал:

— Не будь, Зюзя, ребенком. Что ты плачешь?

Зюзя не подымал глаз.

— Разве хорошо так плакать? — Мушаев в недоумении развел руками.

Увидев, что Зюзя никак не может успокоиться, он добавил:

— Ради кого я все это делаю? Разве не ради тебя? Пойми, я хочу, чтобы тебе было хорошо. Чтобы ты жил в хорошей комнате, а не так, как живут эти

ослы. Я хочу, чтобы ты не только работал, но и приобрел специальность. У каждого человека должна быть профессия. И зачем ты удрал, когда я пошел на кухню и организовал для тебя яичницу? Разве хорошо убегать от родного отца?

Он долго глядел на затылок Зюзи, покрытый прядями золотистых волос, потом сказал:

— Но если тебе так нравится, — тогда все в порядке. Тогда я тоже доволен. Это все. Между нами не должно быть недоразумений. Нехорошо, когда нет взаимопонимания между сыном и отцом.

Эта фраза как бы повисла в воздухе, и его правая рука вместе с ней. Видимо, он хотел что-то еще добавить, излить то, что накопилось на сердце. Он искал примирения с сыном, но, когда ничего не вышло, Мушаев сказал торопливо:

— Послушай, Зюзя, случился панчер с передним колесом. Сходи-ка к вашему ответственному и попроси, чтобы исправили, и я уеду. В три часа я должен быть в Хайфе.

Только сейчас Зюзя впервые поднял глаза и с удивлением взглянул на отца. Потом снова опустил их и сказал:

— Сам устраивайся. Я не пойду.

Такой ответ ошарашил отца.

— Что значит "сам устраивайся"? — воскликнул он в сильном гневе. — Когда я говорю "иди и устрой", ты мне отвечаешь "сам устраивайся"!

— Ты все устраиваешь,строишь и это, — сказал Зюзя, рассматривая свои ноги.

— Что я устроил? — зарычал Мушаев, замахав руками. — Ничего я не устроил. Ты понимаешь? Он же осел! С ним вообще нельзя говорить! Это же не человек! Легче вести дела с правительством, чем с ним!

— Я с ним говорить не буду.

— Сумасшедший! — закричал Мушаев, схватив Зюзя за руку. — Ты сумасшедший! Ты хочешь, чтобы я остался в кибуце?

— Я с ним говорить не буду, — повторил Зюзя.

Мушаев побледнел. Он встал и протянул ладонь.
— Верни мне пять лир.

Зюзя вынул ассигнацию из кармана и подержал ее минутку в воздухе, не подымая глаз. Отец подхватил ее и вышел из комнаты.

Мушаев мечется по двору, как зверь в ловушке. Глаза его сверкают, губы дрожат от гнева. Он ищет Переца. Был в столовой, но тщетно, искал в секретариате, но того там не было, искал в мастерских, но и там не обнаружил. Вернувшись к машине, он по очереди лягнул ногой все четыре колеса. Давно он не был в таком глупом положении.

Вдруг он увидел Переца. Тот появился среди деревьев и шагал к воротам.

Мушаев торопливо побежал навстречу с вымученной улыбкой на устах и окликнул его:

— Простите, пожалуйста...

— Что с вами, господин Мушаев? — спросил Перец, заметив, как тот побледнел. — Что-нибудь случилось?

— Ничего серьезного... — Мушаев развел руками. — Но так как произошел небольшой инцидент с передним колесом, я хотел попросить... Если вас это не очень затруднит... Исправить. Я, разумеется, уплачу, — добавил он поспешно.

— К вашим услугам, господин Мушаев! — охотно отозвался Перец. — Две-три минуты, и дело будет улажено пар-экселенс!

— Я буду вам чрезвычайно признателен!

И действительно, вскоре Перец вышел из слесарной мастерской в сопровождении двух парней с инструментами в руках. Они с помощью домкрата приподняли машину, сняли переднее колесо, заменили его запасным, и спустя три минуты все было в полном порядке.

Мушаев отряхнул с пальцев песок и, с чувством пожимая руки всем троим, сказал:

— Чрезвычайно признателен за оказанную помощь...
Вот именно...

Не найдя других слов благодарности, он отвел Переца в сторону, вынул из кармана пять лир, всунул их ему в ладонь и сказал:

— Пожалуйста... В знак благодарности...

Перец отпрянул как ужаленный. Он сказал:

— Уважаемый, это самое большое для меня оскорбление!

— Нет, в самом деле... — уговаривал его Мушаев. — Я вас очень прошу...

— Об этом не может быть и речи, господин Мушаев, — сказал Перец.

— Но почему? — спросил Мушаев, и его рука с ассигнацией повисла в воздухе.

— Принцип, господин Мушаев! — улыбнулся Перец, помахал на прощанье рукой и пошел своей дорогой.

Когда Мушаев вернулся к машине и собирался открыть дверцу, что-то упало в песок в двух шагах от него и еще что-то — в пяти шагах. Он обернулся и увидел вдалеке Зюзю. Тот смотрел на него, и было в этом взоре что-то странное, не то смущение, не то насмешка.

Мушаев сделал несколько шагов, поднял с земли обе плитки шоколада и сунул в карман пиджака. Затем сел в машину, запустил двигатель и, подымая клубы пыли, выехал из ворот кибуца на дорогу, ведущую в город.

Перевел с иврита А. Белов.

АМОС ОЗ родился в 1939 году в Иерусалиме в семье, известной своими литературными традициями. Он — член кибуца Хулда. Книги А. Оза "Другое место", "Мой Михаэль" и другие получили широкую известность, переведены на многие языки и удостоились литературных премий.

ЭЛИША ПОМЕРАНЦ*

(18)

...В свободные часы Померанц сидит в своей комнате (в ней шкаф, кровать, подвесная лампа, стол со скатертью, ваза), сочиняет и решает математические уравнения, составляет алгебраические задачи. Из окна видны декоративные цветы, которые кибуцники посадили в расселинах скал; они привились и сильно разрослись. Далее, по склонам холмов, там и сям разбросаны молодые, пламенеющие под солнцем кипарисы. Кажется, что они в состоянии экстаза. Еще дальше, напротив, по ту сторону узкого ущелья глядят на него серые горы, скалы, открытые ветрам маслины. Над всем господствует тишина полудня или дуновение ночи.

Его лицо — не то поэта в изгнании, не то православного святого — вызывало у кибуцников чувство легкого удивления, граничащего с растерянностью.

* Главы из повести.

Но была в этом лице какая-то сила, которая заставляла всех соблюдать дистанцию.

Отстающие ученики взяли за правило посещать его по вечерам, два-три раза в неделю. Он вызвался давать дополнительные уроки по точным наукам. Раз или два свершались в его комнате чудеса озарения. Какой-то из его великовозрастных учеников, прыщеватый парень, грызущий ногти, внезапно "схватил" сущность теоремы Пифагора, и его всегда тусклые глаза на мгновение загорелись. А одна из девушек, быстрая и легкая, как дуновение ветра, нервными, вздрагивающими ноздрями вдыхавшая в себя запахи комнаты Померанца, вдруг прозрела и собственными глазами увидела какой-то дифференциал...

Вместе с Померанцем жил в его комнате большой и облезлый пес, а может быть, гибрид собаки и шакала, который приплелся в кибуц ночью неведомо откуда. Это было старое, уставшее, ко всему равнодушное существо. А может быть, этот пес был просто одержим меланхолией.

Были такие, которые утверждали:

— Наш Элиша — большая духовная сила. Мы должны побудить его активно действовать. Ведь на наших глазах гибнет человек, член кибуца.

Иные же говорили так:

— Но... В самом деле, оставьте его в покое.

Хуже того, были такие, которые добавляли:

— И не удивительно, что он такой... После всего, что ему довелось пережить.

Другие же рассказывали:

— По ночам он не то рыгает по-польски, не то разговаривает. Со своим псом он разговаривает по ночам, но это вовсе не пес.

И в заключение:

— В данных условиях обязана вмешаться наша фельдшерица. Мы же не в лесу живем.

Элиша Померанц жил себе в мире. По вечерам им иногда овладевало беспокойство, смешанное с сомнением, но он со свойственным ему терпением сносил это. Не жалуясь, с кроткой любовью встречал он приближение ночи.

Угасает последний свет. На просторных лужайках нет ни души. Никого нет ни в саду, ни в китайской сирени. Пусты и влажны тени рощиц. С холмов тянет ветерком, нежный зефир кончиками своих пальцев касается верхушек сосен. Он льстит им и разносит поразительные слухи, он пронизан прозрачным и высоким чувством снисхождения. Ветер продолжает изливать на сосны тихие, насыщенные сумерки. Деревьям, кажется, не под силу такая ноша. И тогда, затаив дыхание, Померанц мог своими глазами видеть, что струны сосен натянуты в темноте, вот-вот зазвучат.

Затем при свете настольной лампы с плетеным абажуром он отдавался сложным теоретическим исчислениям и астрономическим расчетам: путаница нарастающих сил закругления... лучистые массы в черном пространстве... противоборствующие потоки энергии между этими массами на участках искривления, которые представляешь не с помощью чувств, а лишь абстрактно. Эти абстракции ставят иногда под сомнение, граничащее с замешательством, окружающие тебя материальные предметы: полку с книгами и ее тень; стол; лампу с ее желтоватым светом; бумагу; перо; шуршание бумаги; руку с карандашом; запах твоего тела; твое тело; твое дыхание. Абсурдную связь между твоими расчетами и клубком белых волокон, серым веществом и какой-то слизью. Какое смешное сочетание! И унижительное.

Короче говоря, Померанц отдавал кибуцу то, что ему было положено, а закончив работу, наглухо замыкался в своей комнате и молчал.

А кибуц жил своей размеренной жизнью: день

соприкасался с днем, а ночь как бы растворялась между ними. Так как ночь всегда насыщена дурными замыслами, следует ее решительно исключить или осторожно обойти. Ведь нет альтернативы, а здесь, в скалистых горах Галилеи, где колючие кустарники пробиваются даже сквозь утесы, ночи несомненно содержат в себе нечто зловеще косматое.

День соприкасается с днем, и уже в семь утра всюду разлит ровный, белый свет. Он на крышах и на верхушках деревьев. Он раскаляет бетонные дорожки, душит и гнетет запущенные лужайки, пылает на черепичных и жестяных крышах. Этот жестокий свет имеет обыкновение вычерчивать четкие и ясные круги вокруг каждой части предмета, которого коснулась тень. Отселе и доселе. Это границы тени. Голубой свет. Линия. Белый свет. Линия. Бело-голубой свет. Линия. И стоящие прямо декоративные растения, аллеи, и газоны — все говорят с тобой однозначно и недвусмысленно... "Взбирайся на горы, покори равнины, все, что увидишь, — твое!"*

Навес для машин — с одной стороны, столовая — с другой. Дом культуры закрыл долину своим широким низким телом. Мы здесь. На страже порядка. Мы пришли прогнать тьму.

У некоторых возникли по отношению к Померанцу странные подозрения:

Это удивительное равнодушие к идеалам, которыми здесь руководствуются.

Упорное нежелание принять какое-нибудь участие в любом виде организованной деятельности.

Безразличное отношение к исправлению недостатков коллектива и его отдельных членов.

Он не читает вечерней газеты даже тогда, когда ему ее суют под нос.

Он ничего не предлагает.

Он никого не критикует.

*Строка из известного стихотворения Шаула Черниховского "Мелодия".

И вообще, у него трудно что-либо понять.
И он все думает. Кто знает о чем.
И его замкнутость.
Как же так?

Отстающие ученики, посещающие Померанца по вечерам, — говорят так:

В его комнате всегда чисто, прямо сверкает. У него ненормальное пристрастие к порядку. Ты пытаешься сесть на стул, Померанц подвигает его так, чтобы он стоял строго перпендикулярно к столу. Ты без всякого злого умысла задираешь край ковра — он тут же становится на четвереньки (и тогда ужасно напоминает длинного и тощего пса) и поправляет ковер под твоими ногами.

— А свет у него неяркий, и всегда в его комнате кофе и цветы, и какой-то тонкий и особый запах, но не аромат цветов или кофе, а трудно сказать какой. Может быть, даже не запах, а что-то такое... другой воздух.

— Как будто с минуты на минуту должен прибыть какой-то важный гость.

— И эта тишина. Даже когда он к тебе обращается, он как бы говорит из тишины.

— Он не совсем того... Есть в нем что-то такое...

— Не вечно так будет. Тут что-то странное. Человек одинокий, возможно, так сказать, с отклонениями и может даже опасный, кто знает. И в один прекрасный день вдруг что-то случится. Мы должны что-то предпринять. Пока не поздно.

— А его пес, это не пес, а какой-то призрак собаки.

— Ужас.

Канун субботы, когда все работы закончены и наступили сумерки. Воздух наполняется звуками свирели, они несутся из домов, где живут дети. Между белыми домиками витает запах дождя. Секретарь кибуца Эрнест вместе с двумя пожилыми кибуцницами входит в комнату Померанца. Не с нюхательным табаком при-

шли они на сей раз, а с цветами. Пожилые женщины, нагнувшись, опустили в вазу изящный букет хризантем — золотистые огоньки. У них натруженные, жилистые руки.

— Шабат шалом, — поздоровался Эрнест.

— Шабат шалом и добрый вечер, — сказали пожилые кибуцницы.

Померанц ответил:

— И вам тоже. Садитесь, пожалуйста.

Эрнест был большой и тяжеловесный мужчина со слегка обмякшим, но приятным лицом, внушавшим доверие. В то же время его лицо откровенно выражало некий скепсис и настороженность — результат разочарований и горького жизненного опыта. В дополнение к этому у него были темные и неправдоподобно густые брови, и одна из них — левая — всегда была чуть приподнята: Эрнест действительно смотрел на тебя с удивлением, недоумевая: как, каким образом ты умудрился сделать ему такое... Умудренный опытом, он не привык даром тратить слова. Лишь удивленно приподнятая бровь нацелена на тебя, а ты, растерянный и будто получивший выговор, начинаешь извиняться и всеми силами стараешься примириться с этой приподнятой бровью. Но напрасно.

Эрнест положил на стол Элиши, под вазу, маленькую поздравительную открытку в белом конверте. И заговорил медленно и внушительно:

— Мы пришли к вам от своего имени и от имени всего коллектива.

Когда гости уселись, хозяин слегка поправил скатерть на столе, и его рука разгладила складку на покрывале, что лежало на кровати. Невысокого роста — он двигался легко. В комнате — ничего, что говорило бы об открытиях или изобретениях. На полках — несколько немецких и английских книг. Эрнест украдкой взглянул на переплеты, будто они могли дать в его руки какой-то ключ к расшиф-

ровке тех козней и подвохов, что рождаются в этой комнате, когда нет свидетелей.

Померанц, склонившись над столом, вскрыл конверт с поздравительной открыткой и торопливо пробежал глазами строки. Товарищи тепло поздравляли его с выдающимися достижениями. "Ваша радость— наша радость", — писали они, — "желаем вам новых свершений" и так далее.

Чтобы прервать затянувшееся молчание, он спросил:

— Какая радость?

Ему ответили:

— Даже во вчерашних передачах Би-Би-Си упоминали ваше имя.

И добавили:

— Весь мир взволнован. Вчера и сегодня утром снимали на пленку жизнь кибуца.

И в заключение:

— Такие открытия приносят огромную пользу Израилю.

Померанц молчал.

И гости не знали, что еще надо сказать.

Воцарилось неловкое молчание. Смущенные кибуцники пытались улыбаться.

Померанц осторожно взял апельсин, выдвинул заветный ящик стола, куда устремились взоры гостей, достал оттуда нож и прорезал на кожуре, почти у самой верхушки плода, ровный круг. Оттуда он с удивительной точностью прочертил лезвием ножа шесть меридианов, идущих к южному полюсу так, что все линии встретились в одной точке. И в результате этих манипуляций апельсин как бы сам очистился от кожуры после пяти легких движений руки. Когда плод был разделен на ровные дольки, он осторожным движением извлек из нутра апельсина белую пленку и разложил эти дольки на стеклянном блюде, соблюдая такую строгую симметрию, будто решил

добавить еще одну хризантему к тем, что были в вазе. Затем подвинул блюдо гостям.

Эрнест поблагодарил хозяина, и пожилые кибуцницы тоже. Каждый из них по очереди, справа налево, выбрали для себя дольку, и Померанц угостился, когда пришла его очередь.

Затем одна из старушек, собрав остатки мужества, обратилась к нему с вопросом. Ей хотелось бы знать, или хотя бы понять, как это можно открыть что-то в науке без опытов, без пробирок, без склянок, без каких-либо инструментов или приспособлений, безо всего... Ведь ученые всегда сидят в особых лабораториях. Однажды она была у своего племянника в институте Вейцмана и видела, что все там в белых халатах. А кроме того, ведь...

Вдруг ее осенила какая-то мысль, и она предпочла замолчать.

Померанц увеличил свет в настольной лампе, и сразу пришли в движение разбуженные тени, но спустя минуту успокоились, найдя новое равновесие. В комнате царило удивительное спокойствие. Его подчеркивали мягкие цвета занавесей и ковер двух оттенков, граница между которыми была простой и понятной. И книжная полка, смиренно несущая свою ношу. Стол. Четыре одинаковых стула. Кресло. Безо всяких украшений. А в углу, напротив окна, еще одна ваза, но большая и высокая, и в ней две сосновые ветки. Возле двери — низенький столик, на нем чайник и кофейный прибор. На узкой кровати — серое длинное покрывало. А из-под него пульсирует что-то черное: нос этой твари, собаки.

Когда молчание стало нестерпимым, Эрнест решил закурить трубку и приступил прямо к делу. Итак, кроме приветствий, поздравлений и радости есть два-три практических вопроса, о которых следовало бы потолковать при первой возможности. А почему бы, собственно говоря, не сейчас, когда такая возможность имеется и она ни в чем не уступа-

ет другим возможностям? Так вот, сегодня хозяйственная комиссия обсуждала этот вопрос, и было решено, по предложению Веры и без чьих-либо возражений, что молодой Шаулик, сын Иехуды Ятома, начнет с будущей недели работать овчаром. Так что можно будет подменять Элишу — на первых порах, может быть, лишь частично, чтобы два или три утра в неделю Элиша мог целиком посвящать научным занятиям.

Затем, окутав себя облаком табачного дыма, Эрнест настороженно задал вопрос. Судя по его внешнему виду, можно было подумать, что именно в эту минуту он испытывает легкую физическую боль. Ему хотелось бы узнать, какую помощь мог бы оказать Элише кибуц.

Подняв левую бровь, он пояснил:

— Материальную помощь или какую-либо иную.

Подбирая слова, Померанц поблагодарил за внимание, поблагодарил за проявление доброй воли, поблагодарил за пожелания. Нет, в данную минуту он не может вспомнить о каких-либо личных нуждах. Но пусть будет ему разрешено все взвесить и подумать об этом несколько дней. Ведь приближается весна, небо уже прояснилось, и каждую минуту можно ждать перемен.

Секретарь кибуца, со своей стороны, после короткого раздумья попросил разрешения высказать еще одну мысль. Он колеблется и не хочет предсказывать заранее... Так вот, согласится ли Элиша доложить о своем открытии товарищам, членам кибуца. Само собой разумеется, не вдаваясь в научные глубины и не залезая в дебри, без лишних подробностей, без научного аппарата, так сказать, в популярном изложении, чтобы мы тоже знали, о чем идет речь. В самых общих чертах, понятно. Ведь для большинства наших товарищей современная наука это нечто вроде иероглифов. Согласится ли Элиша объяснить все это нам в обстоятельном докладе? Скажем так: фон открытия, польза, побудительные при-

чины, результат, время и место, когда его осенила счастливая идея, и его особый вклад в эту проблему. Короче говоря, самую суть. Отчего такой поднялся шум? В чем тут дело?

Померанц некоторое время колебался.

Потом неохотно согласился.

И почти в ту же секунду им овладело сильное волнение. Его захлестнула какая-то волна воодушевления, чего он давно не испытывал.

Он унес со стола вазу и блюдо с оставшимися дольками апельсина, погладил скатерть и угостил гостей кофе. И, как всегда, в комнате стоял тонкий специфический запах — не аромат кофе, не аромат цветов, может быть, даже не запах, а нечто такое, чего не выразить словами.

Они обменялись несколькими замечаниями о воинственности Сирии, о нашей сдержанности, об актах возмездия, а затем беседа снова начала угасать.

Одна из пожилых кибуцниц, сморщенная и энергичная, вдруг решительным жестом поставила чашку и сказала:

— Как известно, великие люди всегда скромны. Иногда они даже застенчивы. Их нужно подбадривать. И вообще следует подбадривать и поощрять каждого.

Она привела пример прославленного скрипача, который жил когда-то в Ченстохове — звали его Абраша Авербух, — а также сослалась на Берла Кацнельсона. Всякая похвальба, сказала она, симптом неправды. И не всегда в таких случаях все хорошо кончается.

Ее подруга, известная тем, что вышивала и художественно вырезала зверей, возразила Вере и сказала, что все не так просто, как кажется.

— Но, с другой стороны, не каждый застенчивый и скромный человек велик. Есть очень много застенчивых людей, у которых их стыдливость ничего не

прикрывает, кроме чувства неуверенности в себе, и Вера это знает лучше других, сам Эрнест это знает, а также, вероятно, Элиша. В субботу вечером мы устроим в честь вас, Элиша, небольшой вечер за накрытыми столами. Тамара сыграет подходящий отрывок, Эрнест скажет вступительное слово, а вы, Элиша, объясните нам раз и навсегда, из-за чего загорелся весь сыр-бор. Если бы вы только слышали, что люди говорят и о чем они думают, вы были бы поражены или обижены. Но нет, зачем обижаться, вы бы, вероятно, просто рассмеялись. Во всяком случае, вывод таков, что и у нас есть право что-то знать. По крайней мере, попытаться понять.

Ходят слухи.

Кибуцники взволнованы.

Извне приходят люди и задают вопросы, а мы готовы провалиться сквозь землю, так как не знаем, что сказать.

Есть мнения.

Гадают.

Хотят вас выслушать.

Довольно замыкаться в своей скорлупе!

Померанц прикрыл рот ладонью, а может быть, он хотел, по старой привычке, погладить усы, которых уже не было. Затем кивнул головой в знак согласия.

Две пожилые кибуцницы изобразили на лицах восхищение, будто им преподнесли чудесный сюрприз. Восхищение было настолько сладким, что граничило с блаженством.

Померанц смутно вспомнил, что кто-то из работников овцефермы как-то рассказывал ему об Эрнесте и его двух возлюбленных, об Эрнесте и его взбалмошном сыне, об Эрнесте и жене британского судьи или британского чиновника, о подпольной боевой организации и еще о чем-то.

Тем временем секретарь кибуца Эрнест обдумывал все здесь сказанное, и выражение Сарры "доволь-

но замыкаться в своей скорлупе” прямо-таки очаровало его. Он выбил содержимое своей трубки в пепельницу, стараясь, чтобы ни одна крошка не попала на стол, тщательно осмотрел ее и заговорил, осторожно подбирая слова.

В его манере говорить было нечто странное. Казалось, что Эрнест медленно и тщательно обыскивает каждое слово, прежде чем выпустить его на волю из своих уст. На сей раз это особенно бросалось в глаза.

Он сказал следующее:

— Эта вестъ была для нас совершенно неожиданной. Мы к ней вообще не были подготовлены. Из газет и радио мы узнали, без какого-либо предварительного намека, о вашем открытии. Такие вещи не случаются каждый день. Вы должны понять, Элиша, что нелегко нам найти подходящие слова, чтобы в точности выразить то, что у нас сейчас на сердце. Мы должны постепенно к этому привыкнуть. Для этого требуется время. Разумеется, будут колебания и даже подозрения. Будут люди, которые откажутся поверить. Там и сям возможны признаки зависти, даже беспричинной вражды, лишенные какой-либо внутренней логики. Даже я сам пока не уверен в своих мыслях и в своих чувствах, потому что не понимаю, о чем идет речь. Я не подозреваю, но я далек и от того, чтобы быть убежденным. Я выжидаю. Мне требуется, так сказать, некоторое время. Это все о моей личной позиции. Само собой понятно, что все мои поздравления остаются в силе. Что же касается общественного мнения, то нашлись среди нас такие, которые сразу были охвачены большим энтузиазмом, и они уже видят себя ваши сотрудниками, своего рода свояками. Но что касается большинства товарищей, их реакции, то они, как и я, нуждаются в резерве времени. Нам надо постепенно привыкнуть. Включить данное событие в комплекс нашей жизни. Ведь немало уже было разочарований. Немало людей попадало в ловушки, и дела прини-

мали дурной оборот. Мы вас плохо знаем, Элиша, почти совсем не знаем, простите меня за откровенность. Но в том не наша вина. Были такие, что интересовали, хотели помочь, пытались сблизиться. Все, разумеется, знают общие данные: Элиша — овчар, одинокий человек, уцелевший после Катастрофы, отличный работник, тихий, аккуратный, предпочитает уединение, ремонтирует часы. Да. И помогает отстающим ученикам по математике. Молчаливый, замкнутый, отдаляется от общества, избегает коллективной ответственности. Как бы это выразиться, может быть, лучше сказать так: неоднократно у нас возникали о вас разные мысли. Наши намерения были хорошими. Вы это знаете. Но кто мог думать именно в этом направлении! Вам не трудно понять, что мы сейчас все очень гордимся вами и в то же время немного растеряны. Пожалуйста, дайте нам немного времени... Вот уже стемнело. Спасибо, Элиша, за апельсин, за кофе, за пироги и за то, что мне представляется весьма откровенным разговором. Если вам что-либо понадобится, вы всегда знаете, где меня найти. Все, что в наших силах, мы сделаем для вас с самыми лучшими намерениями. А теперь пора и честь знать. Вера, Сарра, пойдемте. Шабат шалом. Похлопывание по плечу у нас не принято, но без дружеского рукопожатия мы не сможем расстаться с вами. Вот так. Будьте здоровы. Шабат шалом и... шабат шалом, Элиша.

По прошествии недели со дня визита Эрнеста и двух его пожилых друзей к Померанцу, снова в канун субботы, культкомиссия кибуца организовала скромный вечер за накрытыми столами в честь ученого. Но за час с небольшим до открытия праздничного вечера подох пес виновника торжества: вытянул лапы, окинул блуждающим взором видневшиеся из окна и угасавшие с закатом солнца холмы (а может быть, он смотрел на легкое движение занавесей, колеблемых ветром) и поник, испустил дух,

будто в эту минуту им овладела нестерпимая скука.

Все поняли, что Померанц очень опечален, и деликатно решили отложить вечер.

На востоке блестела пустынная и запыленная луна. И так, как на небе не было ни малейшего движения облаков, луна упрямо и не шевелясь стояла на месте.

В столовой демонстрировали на экране приключенческую драму, какую-то американскую черно-белую ленту о таинственных преступлениях, где правда причудливо сочеталась с небылицами. Померанц одиноко сидел на скамейке в палисаднике своего дома. Далеко в темноте бестолково мычала корова и вдруг перестала. Чужие собаки-волкодавы, большие и темные, стояли в конце рощи. Их носы были влажны, морды задраны кверху, и с них капала на землю слюна, будто их покусала бешеная луна, что за верхушками сосен. Они выли до самого утра.

Галелея была открыта волне весенних запахов. По утрам все вокруг заливал яркий свет. Всегда сдержанные холмы вдруг взбунтовались, охваченные экстазом, на них зажглись анемоны; обезумев, они праздновали весну. Холмы были ошеломлены быстро меняющейся силой света. А вблизи: две-три бабочки, жужжание пчелы, муравьи в каком-то смятении. Капли росы по утрам. Новые птицы, новые песни. Набухали первые почки.

Элишу Померанца можно видеть каждое утро проходящим мимо барака секретариата кибуца. Он в спецовке, не очень ладно сидящей на его коротком теле, в шляпе, бескомпромиссно прикрывающей верхнюю половину головы, с пастушьим посохом в руке.

Эрнест, оставаясь невидимым, глядит на него из окна секретариата, подавляя улыбку и подымая бровь: так ли это на самом деле или одна лишь видимость? И тут же возвращается к ротатору, на котором работает. Да, такова действительность.

Каждое утро, три или четыре раза в неделю, Померанц становится овчаром. А по вечерам сидит в своей комнате. Если к нему приходят гости, он их всегда угощает кофейком и пирожками. Две старые кибуцницы, Вера и Сарра, пожилые любимицы Эрнеста, взяли на себя заботу о том, чтобы у него всегда были эти пирожки. Иногда находятся и другие добровольцы. Померанц ведет с гостями легкую интеллектуальную беседу — о музыке, о перспективах прогресса и тающихся в нем опасностях, о внутреннем положении вообще и о положении здесь в частности. Очень скоро гость переходит на личные темы и начинает говорить о душевных терзаниях, а иной приводит примеры, относящиеся к близким людям. Элиша внимательно всех выслушивает, иногда отвечает, мягко и туманно, намекая на возможность найти душевный покой даже тогда, когда кажется, что нет просвета. Затем умолкает и снова внимательно прислушивается к словам собеседника, даже если тот мелет явный вздор.

Так же внимательно и без усталости он прислушивается к другим звукам, к упрямому биению струй воды в трубах, к плачу ребенка в конце далекой лужайки, к обольстительному шепоту ветра в верхушках сосен. Он внимает льющемуся свету ночных звезд, чует брожение полей, которых коснулся ветер, слышит шорох предрассветной тишины в последний час перед восходом солнца.

И всегда в его комнате — строжайший порядок. Каждый предмет, каждая вещь лежит на своем определенном месте, как будто и не живет здесь живой человек. И стоит в ней тонкий, беспокоящий запах, может быть, чуть кисловатый, а может быть, вовсе и не запах, а просто что-то неосязаемое, какой-то отпечаток жизни педантичного холостяка, к которому приближается старость. Иногда этот запах-незапах вызывал легкое раздражение, потому что по-

сторонний человек не мог привыкнуть к нему и примириться с ним.

То, что полагалось кибуцу, Элиша отдавал ему сполна, а затем замыкался в своей комнате.

Довольно умеренные, но предельно точные принципы определяли его распорядок дня. Просыпаясь, он энергично делал шесть или семь гимнастических упражнений. Это были почти аскетические упражнения индийских йогов, которые профессор Зайчек распространил среди своих друзей и поклонников. Это было тридцать лет назад в польском городе М. Правда, сам профессор никогда не делал такой утренней зарядки: она явно была ему не под силу.

После гимнастики Элиша появлялся на улице в спецовке, которая придавала ему неправдоподобный, почти шутовской вид. Он проходил мимо окон секретариата, где работал Эрнест, и входил в столовую. Толстый ломоть хлеба. Варенье. Маслины. Кофе со сливками. Оттуда он шел в овчарню, а затем со стадом на пастбище.

В шесть утра ранний весенний свет уже лежит на равнине. А холмы кажутся печальными. Тонко и ядовито ускоряется течение изменчивого времени. А напротив, по ту сторону долины, видна усадьба кибуца, окутанная легкими утренними испарениями. Какие-то громады на пустыре, где свален металлолом, постепенно покрываются ржавчиной. Пустырь и усадьба окутаны мотками проволоки, по которым карабкаются, густо их покрывая, ползучие растения, стремясь замаскировать уродство ограды. На равном расстоянии друг от друга вдоль всего забора стоят деревянные столбы с фонарями, и каждый из этих столбов торчит из витков колючей проволоки так независимо, будто он тут один-единственный и невозможны другие фонари.

У подножия строящихся навесов видны большие сельскохозяйственные машины, погруженные в мол-

чание и укрытые промасленной тканью. Они похожи на русских медведей; кто это привел их в эти места, и тут они улеглись на землю, ошеломленные солнцем, и не подают признаков жизни.

Днем в столовой мясные котлеты с картошкой, приправленной чаще всего жареным луком. Женщины. Объявления. Письма и информационные листки, размноженные на ротаторе. На десерт — компот. Красивые парнишки в синих комбинезонах. Старички с чертами лица, напоминающими резьбу по суковатому дереву. Грусть пожилых тонкогубых женщин, которые тридцать-сорок лет назад объявили священную войну законам природы. Эта война для них еще не завершена, и эти пожилые особы всегда на страже, готовые к бескомпромиссной борьбе.

За дальним столом сгрудилось несколько высокоидейных товарищей — лысых или с седой шевелюрой. Они непрерывно дискутируют о статье в газете, о текущих событиях, об идеологических уклонах, о неожиданной и безвременной кончине одного из основателей кибуцианского движения. Особенно волнует их политика — что случилось, почему именно так, куда идет дело, какие надо извлечь уроки, каков сокровенный смысл нашего экономического положения.

С кухни доносится аппетитный запах жирной запеканки на масле и квашеной капусте. Но дискутирующие никак не реагируют на эти запахи.

После обеда Элиша взял за правило бродить по тропинкам, скрытым от солнца переплетающимися верхушками деревьев. В руке у него палка, шагает он медленно. "Духовная прогулка", — говорят те, кто его видит, а некоторые почему-то добавляют: "континентальная". Гуляя, он будто делает какие-то сложные подсчеты.

И ждет.

Вернувшись после прогулки, Померанц некото-

рое время занимается своим садиком. Прополка, обрезка сухих веток, рыхление почвы, поливка. Это миниатюрный садик, нечто вроде символа, но разбит в соответствии со строгим планом: четыре или пять сортов кактусов посажены в расселинах полых камней. Эти камни Померанц расположил в форме симметричных дуг, двух разомкнутых полукружий, которым не дано соединиться. За установленным порядком наблюдают два одинаково подстриженных куста, они стоят на посту, как стражи.

После работы в садике — время недолгого сна. Случается, что сквозь дремоту всплывают в памяти какие-то математические действия, формулируются уравнения и достигается неустойчивое равновесие.

Когда Элиша просыпается, весь мир уже погружен в темноту. Стены комнаты совсем черные, только прямоугольники окон еще сереют.

Кофе. Пирожки. Папироса. Полоскание чашки. Вытирание кухонным полотенцем и возвращение на свое место. Протирание края стола тряпкой из ткани, хорошо впитывающей в себя влагу. Легкое сомнение — а что сейчас надлежит делать с этой тряпкой. Принятие решения: вытереть пыль с подоконника. Развешивание полотенца для сушки. Замена воды в вазе с цветами. После некоторого размышления — замена самих цветов.

Затем чтение газеты. Израиль снова предупреждает, но его враги по-прежнему угрожают. Комментарии. Комментарии враждебной стороны. Колонка курьезов и анекдотов. На внутренних страницах — речи; стихийные бедствия; планы развития. Возобновилась старая полузабытая полемика. Но вот настало время слушать радио. Новости и обзор событий дня. Сдержанное музыкальное интермеццо. Нарастают, подчиняя себе все, вечерние запахи, от которых щемит сердце. Два-три сильных приступа тоски, раздирающих душу, так что хочется умереть, сейчас же, в этот вечер — умереть и разбить вдребез-

ги, одним взмахом руки, какой-то ослепляющий прожектор, орудие пытки. Это становится первым и неотложным желанием. Проверка всех имеющихся возможностей. Всепроникающая память просачивается внутрь, но тотчас выдворяется оттуда железной рукой. Нет, не железной рукой, а остатками сил. И — последняя возможность: если не умереть на месте, то погрузиться в математические размышления.

А вот и сам вечер: желтый электрический свет. В комнате сразу меняется цвет всех предметов. Когда-то был здесь пес, правда, несчастный, правда, сомнительный, правда, такой, что сознанию трудно было с ним примириться. Но теперь нет никого. Тень книжной полки меняет очертания и движется, когда сама полка остается неподвижной. Кто поможет, кто поддержит тебя в эти трудные минуты?

В окно, оставаясь невидимыми, проникают ночные просторы. Горы Галилеи, серые скалы, одинокое оливковое дерево на склоне. С запада дует черный ветер. Непокойно в темных долинах. Что-то там в ночи выгибается, соединяется, бродит, пенится, что-то там происходит в тишине. А что именно? Что эти силы намерены истребить, уничтожить, разбить вдребезги? И кто их направляет?

Человек, одиноко стоящий у окна своей комнаты в кибуце среди гор Галилеи, чувствует и знает, что напротив него, в живой темноте, громоздятся безлюдные холмы. Но они лишь притворяются холмами. В действительности, это не холмы, а абстрактная тоска, которая на короткое время затвердела, покрылась камнями и кипарисами. Но это лишь до поры до времени.

После восьми вечера начинают приходить ученики.

Покончив с уроками в одиннадцатом часу, он снова берет палку и совершает вечернюю прогулку. Четырехугольные световые пятна в домах ста-

рожилов. Звуки радио. Вспышки смеха. Какая-то женщина раздраженно говорит на идиш.

Некоторое время он будет размеренно шагать по тропинке при свете фонарей. Затем опустится на скамейку в конце аллеи и, может быть, на минутку припомнит аллеи Ярослава. Выкурит в темноте последнюю париросу.

Его лицо пасмурно. Ночь посылает ему свои ночные звуки...

Пора возвращаться в комнату. Там он будет искать и найдет на радиоприемнике далекую европейскую волну, транслирующую ночную музыкальную программу. Он сядет за стол и двадцать или двадцать пять минут будет заниматься уравнениями.

И вдруг решит, что хватит.

Он соберет исписанные листки, спрячет их в выдвижной ящик стола и закроет его. А ключик спрячет в складках занавесей. Как бы невзначай выключит радио и начнет приготовления ко сну. Если в это время случится маленькая задержка, скажем, лопнет тюбик зубной пасты или запутается шнурок, так что сразу не распутать, он произнесет вслух две-три коротких фразы по-польски и погасит у изголовья свет.

Глубокий сон и в нем —

воющие волки; ночные вампиры; стук топора; леса и леса; снега; греческая музыка; американские ассигнации. Оказывается, вулканические образования состоят из простых элементов.

И снова в предутренний час пожар солнечного восхода заколдует восточные горы, будто именно в эти минуты где-то завершается печальное празднество. Этот пожар быстро угасает в далекой дали, за горной цепью.

Иногда к стаду овец и к пастуху присоединяются два волкодава. Их хозяин — молодой Шаулик, сын Иегуды Ятома. Шаулик стал теперь ответственным за овцеводство.

Овцы, рассеявшись по склону горы, дремотно, лениво жуют траву. Перестав жевать, они долго стоят неподвижно и тупо глядят на свет Галилейских гор, текущий с края неба.

Случается, что одна из овец ошеломленно поднимает морду и из нутряных глубин горько и продолжительно блеет, будто внезапно услышала из дали какой-то призыв.

В эту минуту шерсть двух волкодавов становится дыбом, по их телу проходит мелкая дрожь, и в двух глотках закипает рычание. В нем — страх. Хриплое, со всхлипом, оно захлебывается и замирает.

Затем, растянувшись на земле, псы успокаиваются.

Перевел с иврита А. Белов.

ЙОНАТ И АЛЕКСАНДР СЕНЕД

АЛЕКСАНДР И ЙОНАТ СЕНЕД родились в Польше; Александр – в 1921-м, Йонат – в 1926-м. Александр Сенеде тринадцатилетним мальчиком прибыл в страну с родителями. Один из организаторов кибуца Ревивим в Негеве. Йонат Сенеде – активная участница боевого сионистского подполья в годы Второй мировой войны. Прибыла в страну в 1948 году и поселилась в кибуце Ревивим. Их перу принадлежат книги "Земля без тени", "Вдвоем", "Дни, открытые ветрам" и другие.

УДЕЛ*

Машина тронулась, подскакивая на ухабах, по направлению к аллее кипарисов, казавшихся карликовыми в неверном свете раннего утра. Широкий барак столовой, крытый красной черепицей, спрятался за песчаным бугром. Люди, стоявшие у ворот кибуца, растворились в утренних сумерках.

Машина была нагружена сверх всякой меры. В кузове громоздились бочки с горючим, сельскохозяйственные орудия, палаточный брезент. В этой гряде тонуло большое тело желтого блестящего трактора. Менашка растянулся на его гусеницах, влажных и холодных. Взгляд его следовал за старым хлебным фургоном, медленно ползущим по своему маршруту в еще сонное селение. Дорога пролегла между группами деревьев, покрытых белесым туманом.

*Отрывок из романа "Земля без тени".

Ненадолго задержались у заброшенного склада на цитрусовых плантациях. Тяжелый диск солнца уже поднялся, предвещая душный день. В проеме выломанной двери показался человек, подошел к машине, протянул Нахуму револьвер, улыбнулся и вернулся на склад. Прежде чем темнота ветхого здания поглотила его, он обернулся, бросив:

— Счастливого пути! — и скрылся.

Нахум сунул револьвер в инструментальный ящик трактора. Его загорелое лицо сосредоточенно и сурово. Таким же видел его Менашка вчера вечером, когда они встретились в секретариате кибуца.

— Когда едем, Нахум? — спросил тогда Менашка, входя. Он догадывался, зачем его вызвали.

— Завтра.

— Кто?

— Только трое. Начнем пропахивать межу.

— Кто?

— Ты, я и Тувия.

Помолчали.

— Оружие?

— Один револьвер. Радиопередатчик доставят.

— Есть в округе полиция?

— Да, в сорока километрах к югу от Безр-Шевы. Дело секретное. Сам знаешь, земельный закон... Англичане могут запретить.

— Оттуда видно какое-либо еврейское поселение?

— Нет.

— До Негбы далеко?

— Более ста километров. Единственная дорога — через Безр-Шеву.

— Вода?

— Бурили, результаты сомнительны. Вода соленая, с хлором.

Помолчали.

— Какое сегодня число, а?

— Седьмое июля девятьсот сорок третьего. Да... — сказал Нахум. Излишняя торжественность голоса резала слух Менашки.

Разговор был окончен. Тотчас же приступили к лихорадочным сборам.

И вот машина едет на юг. Зелени все меньше, пейзаж постепенно сереет. Английский военный грузовик промчался мимо, гремя цепью. Шофер-негр сверкнул на встречу широкой улыбкой.

Перед Газой миновали несколько бедных арабских деревушек. Глиняные домишки, земляные крыши, поросшие кое-где травой, глухие стены без окон. Все погружено в сонный зной, дыша небытием. Безрешевская магистраль пустынна. По обе стороны до самого горизонта — волны серо-коричневой равнины в белесых линиях троп. Одиноким бедуин в черной развевающейся абайе* медленно и неторопливо шагал в этом дремлющем мире. Гудок машины оглашал каждую одинокую хижину, каждый сероватый кустик у дороги.

— Аэродромов и футбольных площадок хоть отбавляй! — бросил Тувия в томительное молчание.

Далеко на горизонте показался одинокий тамариск.

— Не кустик, настоящее дерево! — крикнул Нахум.

Припекало. Тонкое облако пыли стлалось над ними, покрывая все сизой пеленой. Их шевелюры вмиг поседели.

Бескрайние пустынные дали, казалось, издевались над ними. Машина спустилась по склону, взобралась на мост, нависший над вади. В нем кое-где виднелась зелень.

— Вади Шриа, — сказал Нахум, — северная граница Негева.

Остановились. Ступили на бесплодную иссохшую землю. Бесконечные холмы уходили вдаль. С обеих сторон дороги вздымались стены, белые, как мел. Удручающее однообразие вокруг. Нахум вырвал маленький кустик понюхал, попробовал на вкус.

— Да, ребята!.. — бросил Тувия в пространство.

Снова поехали. Дорога вела на юго-восток. Встретили группу бедуинов. Они стояли у обочины с кинжала-

*Абайя (араб.) — верхняя широкая одежда.

ми у пояса, крича что-то. По выражению их лиц, оскалу крупных зубов, блестящих на солнце, Менашка пытался угадать, угрожают они или насмеются, — но не смог. Они казались ему барьером, отделявшим от севера, от кибуца. А вокруг все утомляло, и бесконечные повороты дороги не вносили разнообразия.

Безр-Шева появились внезапно, как мираж, поражая зеленью высоких деревьев, в которых прятались желтоватые домики.

— Ну, что скажете? Поглядите на кроны деревьев! Видите? Будто сам праотец Авраам прохаживается там, — радовался Нахум.

Тувия не отозвался.

— Разве ты не видишь? Вон. Та гордая фигура с длинным мечем у бедра.

Менашка старался проследить за взглядом Нахума и увидеть созданные его воображением образы.

Городок с его улочками и домами был погружен в глубокую дремоту. Только красивая мечеть с великолепным минаретом, стоявшая при въезде в город, словно флиртвала с новым кряжистым зданием полиции, свысока поглядывая на местных жителей, которые лениво плелись в тени домов среди запахов арабского поселка.

Нашли, наконец, квартиру Аминадава — он же хаваджа* Амин-купец с замашками богатого шейха, — который занимался откупом земель в Негеве. Он должен был сопровождать их на место будущего поселения.

Несколько десятков бедуинов из ближайших дворов и лавок окружили машину, подозрительно глядя на необычное зрелище пораженными трахомой глазами.

— Яхуд!**

Аминадав вышел из дома, празднично одетый. Жирное лицо его, лицо преуспевающего купца, самодовольно лоснилось под белой шелковой кефией***. Он шел гордой походкой, пробивая себе путь через толпу, де-

*Хаваджа (араб.) — господин.

**Яхуд (араб.) — еврей.

***Кефия — арабский головной убор.

монстративно подчеркивая свое превосходство. Уселся в свою скрипящую от старости машину и поехал впереди грузовика. Обруч толпы лопнул, развернулся веером, давая дорогу. Бедуины замерли на мгновение, затем набрались смелости и начали забрасывать машины всем, что попадалось под руку: камнями, арбузными корками, комьями земли. Машины продвигались вперед, и люди в них молчали. Бедуины бежали за ними, кое-кто повис сзади, пытаясь стащить что-нибудь из груды странных вещей, нагроможденных в кузове.

Исролик нажал на акселератор, увеличив скорость. Бедуины отставали. Один за другим отваливались от машин, последние падали, соскакивая с грузовика. Менашка слышал их гортанные крики, заполнившие все вокруг, и ему хотелось отвлечься, заняться чем-нибудь, чтобы не видеть и не слышать.

На окраине города машина остановилась. Мотор вдруг заглох. Нахум вынул револьвер. Исролик лихорадочно метался вокруг машины, пытаясь найти причину неисправности. Его светлая мягкая шевелюра, которую он по привычке приглаживал узкой ладонью, потемнела от пота и грязи, прилипла ко лбу. Он мучительно старался понять, почему заглох мотор.

Толпа бедуинов опять приближалась, шумя и волнуясь. Приостановилась в десятке метров от них, не зная, что предпринять. Тувия вытирал нос. Проклятый насморк! Как назло сейчас. Ком земли ударился о гусеницу трактора. Глухой отзвук металла разбился на тысячу частей.

— Закрыли кран карбюратора, гады! — услышал Менашка звучный голос Исролика. Дверь захлопнулась. Теперь мотор жрал горючее с наслаждением. Машина дрогнула и тронулась с места. Ветер унес обрывки разноязычной ругани, звучавшей в кабине. Бедуины прекратили преследование. Нахум положил револьвер на место.

Немая пустыня простиралась перед ними. Росло чувство оторванности от жилья. К понятию "Негев" прибавилось теперь чувство одиночества, страх перед унылой

пустыней, тоска по жене и ребенку. Хава, наверное, улыбается теперь лепетанию малышки, — размышлял Нахум, стараясь побороть нараставшее беспокойство.

Безжалостная пустыня скупно дарила сероватые кусты. Выл сухой ветер, ее бесноватый хозяин. Длинная черная бедуйская палатка напоминала голодную и хищную ночную птицу, распростершую крылья.

Добрались до Бир-эль-Жауда. Несколько одиноких акаций окружали бурое здание полиции. Военный палаточный лагерь, бараки, жалкая мечеть, серые машины и ослепительная белизна меловых холмов на фоне желтого песка — все резало усталые глаза, которые с тоской остановились на большом медном кране, торчавшем у колодца.

— Вот это кран... — сказал Менашка.

К ним подошли полицейские, англичанин и два араба. Долго проверяли багаж; англичанин небрежно и грубо, арабы дотошно и враждебно. Ничего не нашли.

— Что везете?

— Взрывчатку, — пошутил Нахум. Легко шутить, когда револьвер хорошо спрятан.

— Хотите, дадим охрану?

— Спасибо. Не надо.

Обменялись многозначительными взглядами.

Машина свернула с шоссе и начала взбираться по грунтовой дороге, которая вилась между холмами. Нахум указал рукой на холм, — здесь должно было вырасти новое поселение. У его подножия с восточной стороны простиралось длинное ущелье, где можно было видеть темный вход в пещеру.

Груз сняли.

— Я устал, — сказал Тувия. Обе машины ушли на север. Трое остались у вещей. Солнце стояло в зените. Воздух дрожал над раскаленной цистерной с водой, взор мутнел, и свинцовая усталость разливалась по телу.

— Заселить Негев захотелось. Ну-ну... — бормотал Тувия.

Удивленно смотрели они на пустыню, как бы в ней

самой стремясь обрести силы для ее покорения. Стояла вековая тишина. Ни звука, ни цвета. Ни лая собаки, ни даже чертополоха. Под металлически голубым куполом неба простиралась серая, иссушенная, обнаженная, агонизирующая земля. Однако то тут, то там с трудом пробивался сероватый кустик.

”Надо прервать молчание”, — с усилием подумал Нахум, чувствуя, как подкрадывается отчаяние.
— Давайте, ребята, работать.

Занялись вещами.

Ночью сторожили по очереди. Менашка дремал, сидя на жестяном ящике у входа в палатку. Крик ночной птицы нарушил мертвое молчание пустыни. Сова? В конце ночи сгустились тяжелые тучи и туманом опустились на землю.

Цистерна с водой, поврежденная при разгрузке, текла. Звук капель, падающих на землю, менялся по мере того, как увеличивалась лужа. Обрывки дум беспокоили в дремоте: ”Починить цистерну... Если нападут, можно отступить в пещеру и там обороняться... Как идет Хане блузка в клетку... Если бы можно было встать под душ, зная, что тебя ждет чистое полотенце... Спать, укрывшись с головой одеялом...

Нахум появился у входа, чтобы сменить его на вахте. Издалека слышался мужской голос, тянущий монотонный напев пустыни. Видно, одинокий бедуин песней отгонял чертей с дороги.

На рассвете, когда они готовили трактор и плуг к первой пахоте, подъехал на хромой лошаденке Абу-Тарбуш, сторож. Темнокожий, губы мясистые, похож на негра. Редкая бороденка, торчавшая во все стороны, обрамляла лицо, как неудачный грим. Менашка пытался понять странный диалект Абу-Тарбуша. Пришлось довольствоваться его сердечной улыбкой сквозь гнилые зубы.

Перелили воду в бочки и жестянки, заделали дыру в цистерне мылом и вновь наполнили ее водой. Теперь у воды был привкус керосина. Абу-Тарбуш с интересом следил за работой, подбадривал их громкими воз-

гласами, широко улыбаясь. Выходя из пещеры, Менашка увидел, что сторож моет руки в цистерне.

— Утреннее омовение, — сказал бедуин весело.

Менашка поморщился, но вторую кружку воды выпил уже без отвращения.

Он влез на трактор. Направил его к месту пробного бурения. Там граница их земель. Пустыня, чуждая и угрюмая, поджидала его.

— Эй-й, — крикнул он изо всех сил.

Эхо не вернулось. Только мотор трактора стучал монотонно. Плуг вонзился в землю. Менашка старался побороть овладевшее им волнение. "Вот и вернулся я", — улыбнулся он, боясь высокопарных слов, — "пашу удел колена Шимона, Я, потомок Авраама, Ицхака и Иакова, сын Цви и Гитл".

— Ну, друг, как дела? — окликнул его Нахум, стараясь перекрыть шум мотора. — Как пашется после двух тысяч лет?

— Неплохо... — отозвался Менашка, бросив на него озорной взгляд заговорщика...

— Я нашел кувшин прабабушки Ревекки!*

Этим криком разбудил Менашку и Нахума Тувия, входя в палатку, для чего ему пришлось согнуться вдвое. Тувия был неуклюжим парнем, его широкое и плоское лицо покрыто веснушками, и казалось, что их еще больше, когда он улыбается. В руках он держал черепки — возможно, обломки кувшина, а может, куски простой черепицы.

Свет залил палатку яркими волнами. Нахум вскочил с кровати и вышел в прохладное ясное утро. Он видел, что Тувия, наклонившись, внимательно исследует торчащий из земли камень, напевая: "Пей, господин мой, кувшин пред тобою..."**.

— Нашел кувшин и прабабушки Рахили?*** — спросил Нахум.

*Ревекка (Ривка) — жена патриарха Ицхака.

**Парафраз стиха из Библии (Бытие, 24, 18), где говорится о том, как Ревекка поит водой из кувшина Элиэзера, слугу Авраама, приехавшего сватать ее за Ицхака.

***Рахиль — жена патриарха Иакова.

На плоском холме, возвышавшемся над широкой равниной, были рассеяны черепки и камни, — явный след человеческой деятельности. На некоторых были рельефные изображения и надписи — свидетельство того, что на этом месте в далеком прошлом существовало поселение.

Тайны, скрытые в пластах земли, которые наслоились здесь в течение веков, не очень интересовали Тувию. Для него все это было лишь поводом для шуток. То, что здесь происходило, он рассматривал как естественное продолжение своей прежней жизни. За свои двадцать лет ему довелось трижды менять страну проживания и язык. Он почти не помнил первого переезда, но рассказы родителей помогли ему воссоздать картину прошлого его семьи. Ему было тогда три года. Они перекочевали из Польши, из города Лодзь, в Берлин. Торговые дела отца вынудили их к этому, но Тувию это никогда не интересовало. У него не хватало терпения выслушивать все рассказы, особенно воспоминания матери, которые неизменно вели в шикарный магазин тканей. Все это надоело ему до смерти. Но он хорошо помнил переезд из Берлина в Париж, когда к власти в Германии пришли нацисты. Тувии было тогда одиннадцать лет, и ему казалось, что он понимает мир лучше, чем мать, которая никак не могла уяснить себе, почему они должны были покинуть страну, жители которой так хорошо воспитаны и любезны.

В Париже он окунулся в городскую сутолоку, но всегда испытывал мучительный стыд, когда надо было пригласить товарищей домой. Отца из жалости взяли на фабрику, принадлежащую еврею. Вся семья — родители, Тувия, его две маленькие сестренки — жили в одной комнате с темной кухней на четвертом этаже старинного дома в еврейском квартале. В доме всегда стоял запах вареной картошки и непроветренных постелей.

Переезд в Эрец-Исраэль произошел внезапно, скорее по решению его тель-авивского дяди, чем по плану ро-

дителей. Тувию это не особенно волновало, он был рад посмотреть мир и обрести самостоятельность. Тувия легко приспособился к жизни в новой стране. С такой же легкостью надел мундир стражника во время арабских беспорядков. Охранял по ночам еврейское поселение. Там познакомился с членами кибуца и решил вступить в него. С радостью, в числе первых, отправился Тувия в Негев, но и здесь не отрекся от своей философии. Во время бесконечных дискуссий с Нахумом и Менашкой он повторял любимую фразу: "Отец учил меня, что этот мир не стоит серьезного отношения".

Нахум сердился, слыша эту "премудрость". Мир всегда требовал от него самого серьезного отношения к себе. Ничего не давалось ему без труда в этом мире. Обучение, путь из бедного иерусалимского квартала в гимназию, положение в молодежной организации, потом — в семье Хавы, родители которой были из Европы. Жизненный успех научил его верить в привлекательность своего смуглого лица и полагаться на силу своей воли. Они помогали ему до сих пор, привели его сюда, в Негев, на эту суровую землю, которую он победит и покорит. Одержимый страстью раскрыть тайны этой земли, он был готов отдать все для достижения цели. При каждой возможности он расспрашивал Абу-Тарбуша:

— Скажи, Сулейман Абу-Тарбуш, ты родился здесь, и отец твой, и дед. Как тут пахали? Что сеяли? На какую глубину? Откуда брали воду? Что рассказывал твой дед про этот холм? Кто высек пещеру?

Абу-Тарбуш качал головой, обнажая желтые зубы, и молчал. Станные вопросы задает этот еврей.

Пещера тоже молчала. Она была высечена в холме — большой зал с гладким потолком; в центре его подпирала колонна, вырубленная из скал. В прямых, уходящих вверх стенах были ниши, где когда-то хранилась разная утварь. Каменотесы вложили в создание пещеры огромный, поистине муравьиный труд. Всякий раз, когда Нахум входил сюда, ему казалось, что он входит

в музей. И чудилось ему: как только глаза привыкнут к темноте, он увидит в углу пещеры обнаженную мускулистую фигуру каменотеса, который ритмично и уверенно рубит скалу.

— Тут будет архив кибуца! — сказал он Менашке.

— Будет! — кивнул Менашка, чувствуя себя частицей истории.

А до поры до времени в пещере хранили рабочие инструменты. Находили их наощупь, пробираясь вдоль стен. Мрак пещеры был напоен запахами влаги, почвы, старины.

— Архив кибуца "Эйлата"*, — смаковал Нахум. Ему доставляло неизъяснимое удовольствие произносить придуманное для нового кибуца название. За ним словно виделась стрела, ведущая к заливу Соломона, в Эйлат. Менашка не любил символических названий, но уступил Нахуму. Он охотно уступал ему во всем, что не касалось пахоты. Ее он ревностно берег для себя.

Уже шесть дней они пропахивали пограничную борозду. Но она еще не охватила все земли будущего кибуца — несколько десятков тысяч дунамов!** — большой земельный массив, в который кое-где вклинивались участки бедуинов, отказавшихся их продать. Борозда тянулась до места бурения вдоль вадии Жауд, что залегло среди холмов широким оврагом, устланным сероватой галькой. Там и сям росли кустики раkitника и полыни. Иногда путь плугу преграждала ограда, сложенная из гладких, плотно пригнанных камней, предохранявшая почву от вымывания во время ливней, когда потоки воды стремительно и бурно проносились здесь. На это указывали и валуны, издали занесенными в вадии могучими потоками.

Были обнаружены и остатки плотины. Ее открыл Нахум. Он искал колышки, обозначающие межевую борозду, и вдруг увидел, что стоит у высокой разрушенной каменной стены, пересекающей вадии наиско-

*"Эйлата" означает "в Эйлат", "к Эйлату".

**Дунам — мера площади, равная 0,1 га.

сок. Песок и щебень, ил и камешки, занесенные потоками, делали неясными ее очертания. Стена, разрушенная в русло водами, шла от одного склона вади до противоположного.

— Эй, Менашка! Древняя плотина! — закричал Нахум, махая кефией.

Трактор подполз к нему.

— Ты только посмотри, как она построена. По диагонали, чтобы устоять под напором воды! — Нахум перебежал с одной стороны вади на другую.

— Интересно, течет ли здесь вода зимой? — Менашка очистил от щебня один из камней, из которых было сложено тело плотины.

— Конечно течет. А как же иначе?

— Кто знает? Быть может, поток в течение столетий пробил себе новое русло?

Менашка знал, что Нахум яростно опровергнет его безосновательные доводы не менее безосновательной аргументацией.

Был полдень. Обожженное небо побелело. Кефии уже не защищали их от зноя и жгучей пыли. Палатка, их жилище, белела на холме, но ее трудно было назвать "домом". Там жена Абу-Тарбуша готовила пыльные питы*, а Тувия склонялся над горшком.

— Продолжим, а? — проговорил Менашка, обращаясь к самому себе и Нахуму. Он немного охрип. — Нашего прошлого тут хоть отбавляй. А будущее? Каково оно? — Он задумчиво огляделся и неловко полез на трактор.

Трактор продолжал работу. Тройная темная борозда врезалась в склоны дремлющих выжженных холмов. Плуг резал почву пустыни, всю в холмиках и ямках, бесплодную почву, таящую в себе тайны прошлого и будущего.

Странно было увидеть фигуру бедуина, вдруг возникшую на горизонте ("Будто немая статуя, застывшая на фоне раскаленного белесого неба", — мелькнуло в мозгу Нахума). Бедуин шел к ним, издали вы-

*Пита — пресная лепешка.

крикивая приветствия. Отрадно видеть человеческое лицо после долгих дней пути, дней одиночества.

— Ахлан!*

— Что сеял ты в этом году, человек? — подошел к нему Нахум. Лицо бедуина было старым, казалось, старше предельного человеческого возраста.

— Сорго да арбузы, хаваджа, по ту сторону вади, далеко.

— Дождь послал тебе Аллах?

— Аллах акбар**.

— А здесь, в этом вади, текла вода?

— Да.

— В этом вади?

— Текла.

— Твоя земля близко?

— Земля? Здесь? Нет, хаваджа, — сказал он презрительно. — Лишь глупцы здесь пашут. Проклятая здесь земля. Хуже ее нет во всей степи. Обманул тебя шейх. Сухую, проклятую, бесплодную землю он тебе продал. Хорошую себе оставил. — Старик резко махнул рукой. Руки у него были такие же старые, как и лицо, старше предельного человеческого возраста.

Менашка понимал лишь отдельные слова, и Нахум перевел ему все, о чем говорил бедуин. Менашка вспомнил, что утром его борозда обошла низкий обработанный участок — редкое явление в округе. На этом участке можно было кое-где увидеть колосья сорго — свидетельство того, что здесь сняли урожай. Прав ли бедуин? Допустим. Но какая земля хороша для этих кочевников? Что могут они ей дать? И что они от нее могут требовать? "Проклятая земля", — сказал бедуин.

— Нахум, сегодня вечером выдашь мне бидон воды помыться, а?

Это была тема для разговоров, а Менашка должен был о чем-то говорить, лишь бы не молчать, заполнить словами удручающую пустоту. Но Нахум не отвечал.

*Ахлан (араб.) — приветственный возглас.

**Аллах акбар (араб.) — Аллах велик

Он только указал на холм, видимый на севере. Около палатки появился грузовик.

— Видно, приехал Исролик.

Мысли Менашки переключились на грузовик. Гость — это новости, вести из дома, из кибуца, со всего света. Беседа с бедуином отодвигалась на задний план. Гость — значит Менашка увидит нового, интересного человека. Ведь за эти дни красивое правильное лицо Нахума, широкий приплюснутый нос Тувии и узкая, лопаткой, бородака Абу-Тарбуша были хорошо изучены и наскучили.

— На Севере о вас уже легенды складывают, — сказал Исролик. — Да, я привез газеты.

Весть о еврейском поселении распространилась по Негеву. Ее передавали из уст в уста смуглые погонщики верблюдов в глубоких вади, где еще сохранились с зимы остатки зелени и влаги в расщелинах. Нищий со сморщенным лицом передавал эту весть вдоль путей, уходящих за горизонт. В тени деревьев, сквозь кроны которых просвечивало солнце, об этом толковали глубокие старцы, от которых уже пахло могилой. И в женской части шатра, за занавесом, об этом шептались темноликие женщины, сверкая черными глазами, темноликие женщины, которые старились, не успев расцвести. Новость разошлась по шатрам бедуинов во всем Негеве.

Они выходили навстречу медленно ползущему трактору на пограничную борозду, отделявшую их участки от земель кибуца "Эйлата", приносили сухой хлеб и кувшины с водой для заключения добрососедского союза. Пограничных стычек не было. Жители этих необъятных пустынных просторов щедры.

Только раз было нарушено спокойствие. Они пропыхивали борозду на севере земельного массива. Там желтизна проглядывала сквозь серую лессовую почву, свидетельствуя о близости песков. Работа по прокладке борозды проводилась уже по шаблону. Нахум и Абу-Тарбуш разыскивали колышки, обозначающие линию границы, затем вбивали длинные колья с флажка-

ми, чтобы указать трактору направление пахоты (колья были пронумерованы, и Абу-Тарбуш научился разбираться в цифрах. Лишь понятие "ноль" никак не удавалось ему объяснить, несмотря на все педагогические ухищрения). Был ясный день. От борозды и до горизонта тянулась пустынная равнина, погруженная в знойную тишину. Усталый взгляд скользил по ней, не находя опоры, напрасно пытаясь зацепиться за что-нибудь, отдохнуть.

— Ток! — закричал Нахум внезапно.

— Какой там ток? Мираж! — пробормотал Менашка. Но сошел с трактора, снял очки и побежал к Нахуму.

"Мираж" оказался нагромождением копен, которые можно было пощупать руками. Настоящий ток перед молотью. Некоторые колосья уже пересохли, зерно осыпалось на землю. Но большая часть их была налита тяжелым зерном.

— Значит и здесь земля родит! — сказал Нахум и взял в рот горсточку зерна, стараясь найти глазами жилище хозяина этого тока.

— А ты попробуй объяснить это жителям дождливого Севера. Тебя сразу спросят: ну, а калькуляция?

— Убирайся со своей калькуляцией! Такую необъятную страну даровал тебе Господь, а ты не видишь далее своего носа, — сказал Нахум.

И вдруг он увидел группу людей, идущих по равнине.

— Слушай, Менашка. Ты видишь следующий кол?

— Ну?

— Борозда должна пройти через вспаханное поле.

— Ну?

— Послушай, мне это не нравится. Я вижу там толпу бедуинов. Чтобы бедуины бродили по такой жаре... И целой группой... Странно. Полезай на трактор. Я пойду туда с Абу-Тарбушем. Ты подъедешь позже.

До Менашки донесся угрожающий ропот, переходивший в хриплые враждебные возгласы. Он перевел трактор на другую скорость. Пусть пошумит машина,

попугает. Подъехал, увидел их темные лица, лица цвета земли после дождя, и одного из них с волосами цвета соломы (потомок солдат Алленби*, — подумал он), который отделился от группы и побежал к Нахуму, выхватив саблю из ножен.

— Сторонись! — закричал Нахум по-арабски. — Погибнешь! Переедет тебя машина!

Желтоволосый отскочил раньше, чем Нахум пришел в себя, и крики затихли, как по приказу, будто так и было задумано ранее. Бедуины уселись. Нахум и Абу-Тарбуш присоединились к ним. Начались переговоры. Менашка удивленно заметил, что Абу-Тарбуш прекрасно себя чувствует, защищая интересы поселенцев, он уверенно объяснял что-то, кричал и даже угрожал. Серая вспаханная земля поглощала неясные звуки.

— Земля наша, — утверждал старик с морщинистым лицом в седых космах, обращаясь к Нахуму. — Шейх не имеет на нее никакого права. Я ее не продавал; хитер, как старый лис, шейх Салама. Гроши он бросил бедному бедуину за землю, а себе забрал полные пригоршни золота, что получил у евреев. К моей земле не позволю приблизиться ни ему, ни вам ни на шаг. Не позволю пахать. Кровь пролью, но не дам.

Не помогли объяснения. Не убедили их и колья, торчащие из земли, символы чуждых им законов собственности. Они стояли тесной группой, держа обнаженные сабли, бросая испуганные и враждебные взгляды на загадочно шумевшую машину.

Менашка поднял плуг и пересек спорный участок. Бедуины шли за трактором, босыми ногами стирая с земли следы гусениц.

Но и это событие не изменило взглядов Менашки. Он не отчаивался и искал подтверждения своей мысли, что в бедуинских шатрах не боятся прихода евреев. Напротив, они готовы даже помогать еврейским поселенцам. Менашка не хотел питать напрасных иллюзий, но и не желал быть скептиком. В конце концов он

*Алленби — английский генерал, освободивший Палестину от турок.

пришел к выводу, что заселение евреями Негева даст бедуинам новые средства существования взамен тех, которые ныне быстро истощаются. Бедуины степей не могут заниматься торговлей, как безрешевские. Верблюд — "корабль пустыни" — потерял свое бывшее величие, теснимый трассами новых шоссеиных дорог. Законодательство подбирается ближе, преследует разбой, — и все это вместе взятое приносит голод в их шатры.

Нахум сомневался в правильности Менашкиных выводов. Он искал симптомы надвигающихся междоусобных стычек и время от времени упрямо повторял: "Подожди, мы еще не то увидим. Я смотрю на дело иначе: если не случится кровопролития, то только потому, что нас боятся".

Между тем они делали свое дело. Лихорадочно исследовали все, что встречали на своем пути. Менашка нашел мышиную норку около палатки и радовался открытию. "Мышь тоже друг, — думал он, — это доказывает, что животные могут жить в пустыне". У лужи, которая образовалась около протекающей цистерны, что-то выросло. Тувия смеялся:

— Мыши замышляют уничтожить наш урожай, а сорные травы вторгаются на наши поля.

Они начали различать цветовые оттенки там, где раньше видели лишь желтизну пустыни. Научились новым словам, характерным для местного диалекта. Внимательно наблюдали, как бедуины чистят харабы*, вытесанные в скалах. Привыкали к пылевым смерчам, которые вдруг появлялись в пустыне, в дикой пляске сверля небо. Изредка они начинали мечтать и строить планы, совсем как в той земле, текущей молоком и медом, откуда они сюда приехали. Тут посадим виноградник, там разобьем фруктовые сады, а здесь будем сеять хлеб. Говорили об этом с легкой насмешкой. Дух их немного сник в продолжительной борьбе с немой пустыней.

Длина пограничной борозды, охватывающей земли

*Харабы — водоемы для сбора дождевой воды.

кибуца "Эйлата", достигла шестидесяти километров. Менашка беспокоился: "Ну, что будем делать потом?" Но в полдень, отупев от усталости и тоски по тени, он вдруг заметил в тракторе течь.

Остановив машину, он начал ее осматривать, проверять каждый узел. У него были медленные движения человека, который более полагается на знания, чем на способности и интуицию. Память отупела, руки отяжелели. Он готов был заранее смириться с серьезной поломкой машины, лишь бы найти ее причину.

Когда Менашка увидел Нахума и Тувию, приближающихся к нему, он прекратил работу. Менашка питал отвращение к притворству и лицемерию, не любил бесплодных и бесполезных разговоров.

— Не уверен, но, кажется, надо менять радиатор, — сказал он.

Тувия пытался помочь — ему казалось, что он разбирается в моторах, — но, измазав руки и лицо землей и машинным маслом (это придавало ему уверенность эксперта), изрек:

— Делать нечего.

Нахум был серьезен и сердит. Он не любил признаваться в слабости даже самому себе. Чувство беспомощности задевало его, как личное оскорбление.

— Это значит пропустить рабочие дни, — сказал он укоризненно.

— А что ты можешь предложить? — спросил Менашка сдержанно.

Он тоже был сердит, хотя это трудно было заметить. Его лицо было невыразительно — круглое лицо, пышущее здоровьем, какое часто можно встретить в зажиточном деревенском хозяйстве. В нем проглядывали серьезность и застенчивость, скромность и мальчишеская неуклюжесть юноши, у которого затянулся период возмужания. Менашка с детства носил очки, но они как-то не запоминались на его лице; и друзья, которые давно не видели его, забывали об этом. Но они всегда помнили о странной выразительности его лица в минуты гнева и волнения. Его открытый и внимательный

взгляд темнел, веки начинали нервно моргать, брови сжимались, а на широких губах появлялась дрожащая и неловкая улыбка, которой он старался скрыть свое настроение.

На этот раз его лицо оставалось спокойным, и это еще больше раздражало Нахума. Ему хотелось втянуть Менашку в спор, но это ему не удалось, зато вдруг разговорился Тувия.

Они устали, их руки и лица потемнели от масла, пота и грязи. В таком состоянии и застал их Камати. Они яростно спорили о причине поломки трактора и заметили машину лишь тогда, когда она подъехала. Сверкающая новым лаком, щеголеватая, она выглядела, как единственная девушка в скучном мужском обществе. И они вдруг осознали, что стоят около Камати, как малые, льнущие к гостю дети, готовые даже расплакаться: первый посетитель приехал к ним, а тут, как назло, испортился трактор! И даже платка нет в кармане, а нос не в порядке... Ведь первый гость!

Камати тоже был взволнован, глядел на них и молчал. Хотя он был представителем официальных учреждений, о нем никогда не говорили пренебрежительно, как обычно говорят деревенские жители о чиновнике, бюрократе. Говорили "Камати обещал", "Камати придет", "Камати устроит", — с редким чувством уважения и доверия. Кличка "старик" к нему не пристала. Он был серьезен, и это обязывало, но когда он смеялся, его смех был заразителен и глаза искрились. И на этот раз его подчеркнутая серьезность никому не мешала. Они были благодарны ему за то, что он был прост и сдержан, как обычно.

— Я нашел борозду, хотел проехать вдоль нее и встретил вас, — сказал Камати.

Пожали руки.

— У меня руки запачканы.

— Неважно.

Камати говорил, приправляя речь бедуинскими словечками и поговорками, которым научился в пустыне.

— Все, как подобает покорителям Негева, — сказал Тувия, пытаясь затушевать волнение.

— Между прочим, секретарь вашего кибуца просил передать, что навестит вас завтра. Я его встретил в Тель-Авиве. Его, кажется, зовут Пинхас, не так ли?

Эти простые слова — "секретарь", "Тель-Авив", прозвучавшие на необитаемом острове робинзонов, связали невидимыми нитями трех пахарей пустыни с внешним миром, шумным и бурлящим.

Показали гостю пещеру, мышиную норку, траву возле лужи. Вместе с ним следили за тонкой женской фигурой, с лицом серым, как камень, которая вела верблюда к холму. Это была Жакад, жена Абу-Тарбуша. Она везла им воду из колодцев Бир-Эль-Жауда.

Машина скрылась в туче пыли. Бедуинка сняла ношу с верблюда и вошла в палатку, немая и исполнительная, как всегда.

После работы приятно было помыться. Система была проста: один взбирался на бочку и поливал водой стоявших внизу.

Вода розовела в лучах заката. Менашка стоял, закутанный в полотенце, и смотрел на заходящее солнце. Ему самому казалось странным, что краски имели такую власть над ним, над всем его существом; цвет, которому нет названия, который нельзя определить, бесконечный пожар заливал небо, в нем щедро и исступленно менялись цвета и оттенки, не давая времени и возможности уловить, когда один цвет переходит в другой, — только уловил новый оттенок, и тут же он исчез.

Менашка замер. Он потерял ощущение времени и места и не знал даже, как сейчас выглядит со стороны, карликом или великаном. Он был поглощен буйством красок заката.

— Караван контрабандистов! — крикнул Нахум (но первым обнаружил его Абу-Тарбуш).

Менашка очнулся и повернул голову. В алом и бурном море медленно-медленно плыла вереница серых верблюдов. Кефии белели, как паруса в детской сказ-

ке. Менашка стоял, прикованный к месту, ошеломленный, очарованный тем, что предстало его взору. Картина казалась слишком красивой для того, чтобы таить угрозу. Им овладело смятение неожиданной радости, он был охвачен желанием бросить вызов всему миру. Он вдруг почувствовал, что он тот же Менашка, каким был много лет назад, когда удивленно и зачарованно смотрел на пожар, охвативший сосновый лес около его родной деревни; огромные страшные тени метались вокруг, казалось, они хотят схватить его; резкие голоса доносились до его сознания издалека, сосны-великаны расщеплялись и падали с глухим и тяжким стоном. Это был пожар, приносящий несчастья, а Менашка с задумчивой и странной улыбкой вбирал в себя чудо огненных красок...

Это состояние длилось лишь несколько мгновений. Менашка внезапно увидел Нахума, выходявшего из пещеры с револьвером у пояса. Нахум посмотрел на него удивленно. В его взгляде было и уважение к его смелости и спокойствию и упрек, что он не осознает, как велика опасность. Менашка очнулся, понял нелепость своей позы — он стоял голый, внимательно наблюдая за приближающимся караваном. Скользнул в пещеру, начал искать одежду и как назло не мог найти рубашки. Наконец, вышел и полез на вершину холма. Закат погас. Небосвод сгорел и начал чернеть. Каравана не было видно, он скрылся за одним из холмов. Нахум и Тувия пристально смотрели в сторону, где скрылась вереница верблюдов, Абу-Тарбуш говорил что-то быстро, городил слова и фразы молящим и жалобным голосом.

— Он хочет, чтобы мы дали ему оружие. Собирается пойти к бедуинам Абу-Самры и узнать подробности о караване, — сказал Нахум Менашке, не поворачивая к нему лица. Абу-Тарбуш смотрел на Менашку преданно и покорно. Подождав немного (он казался таким жалким, он и его хромая лошаденка) и видя, что никто не обращает на него внимания, Абу-Тарбуш толкнул ногой лошадь в брюхо и уехал.

— Что ты ему сказал?

— Что у нас не просто ружья, а "сложные" машины, и что все будет в порядке, мы на страже.

— Слушай, мне хочется открыть ему правду, сказать, что у нас всего один револьвер, — сказал Менашка и уселся рядом с Тувией.

— Не нужно сентиментов, — отрезал Нахум. — Все равно бы он не поверил, и ты бы остался в дураках.

Менашка промолчал. Нахум, конечно, прав, но это не облегчает его страдания на кривых дорогах этого сложного мира, где хитрят и лукавят. Нахуму это нравится, а он предпочитает прямой путь. Борьба за ясный мир — вот еще одно определение революционности. Он был недоволен собой: откуда взялись сейчас все эти бесполезные и ненужные думы, от которых нет никакого проку.

Нахум и Тувия были захвачены спором. Нахум говорил спокойно, короткими рублеными фразами, а Тувия время от времени прерывал его насмешливыми и язвительными репликами. Менашка раздумывал над тем, что убедительная сила, звучащая в голосе Нахума, покоряет его, вызывает в нем напряжение (а может быть это был страх, а не напряжение?), ибо где-то там, за холмами находился караван бедуинов-контрабандистов, для которых эта пустыня была родным домом.

Через два часа, а может быть и позже (Менашке казалось, что прошло очень много времени, а который час, он не мог разглядеть в темноте) вернулся Абу-Тарбуш. Спотыкающиеся шаги хромой лошаденки оповестили о его приезде. Нахум перевел его длинный рассказ, резюмируя его несколькими фразами.

— Это место служит привалом вооруженным контрабандистам, переправляющим товары из здешних портов в Египет. Они останавливаются здесь на привал уже много лет. Пришли сюда и сегодня. Бедуины Абу-Самры рассказали им, что здесь появились евреи-поселенцы. Контрабандисты не остались на ночлег и ушли дальше.

Нахум встал. Темнота поглотила все вокруг.

— Мы передвинули тропу контрабандистов. Неплохо для начала, — подытожил он события вечера и пошел к палатке. Тувия пошел за ним.

”Передвинули тропу контрабандистов”, — размышлял Менашка. Он знал, что этой фразой Нахум начнет отчет кибуцу. Нахум вынесет ее, наверное, в заголовок, напишет большим квадратным шрифтом (слабость у Нахума к еврейским печатным буквам).

Где-то в темноте трещал сверчок, упрямый, как пьяница, навязчиво повторяющий одно и то же слово. Он стрекотал поблизости, но трудно было понять, где именно. Менашка не пошел в палатку, он лег навзничь на холме и глядел в небо, огромное, необъятное. Млечный путь мерцал тихо и мягко. И вспомнился ему треск сверчка, треск, будивший его когда-то по ночам. Это воспоминание часто беспокоило его, возвращалось, приносило с собой запахи деревянного дома, в котором он жил когда-то, ароматы леса, окружавшего его родную деревню в польских Карпатах. Еще и сейчас он гордо улыбался при мысли, что среди всех детей, бегавших на лесопилку, он был единственным евреем, который хорошо различал все породы деревьев, разбирался в качестве древесины и мог сказать, на что она пригодна. Теперь там война, война идет под этим самым мирным небом, на которое он сейчас смотрит. Эта фраза все время звучала в его мозгу, но он напрасно пытался осознать ее значение.

Затем он стал думать о Хане, пытался увидеть ее тело сквозь неизменное синее вышитое платье. ”Если бы ты была здесь!”. Он думал о ней нежно и проникновенно, глядя на высокое и далекое небо, которое простиралось и над комнатой Ханы.

*Перевели с иврита И. Быховский и
Ц. Цефани*

МОШЕ ШАМИР

МОШЕ ШАМИР родился в 1921 году в Цфате. Кроме романов, повестей и рассказов о современниках написал ряд исторических произведений, посвященных значительным событиям еврейской истории: романы "Царь плоти и крови", "Овечка бедняка", пьесы "Война сынов света", "Юдифь" и др. Роман "Он шел по полям" издан в переводе на русский язык. Выдающийся публицист и общественный деятель, депутат Кнесета IX созыва.

ПОКА НЕ ЗАБРЕЗЖИТ РАССВЕТ...

— Не мешай, Моси, хватит!

Ах, так — Амос вскочил и повис на балке, оттолкнулся и начал раскачиваться над грудой пустых мешков. Растрепанные волосы, дикие глаза, смуглые и тонкие руки, на ногах — галоши... Так выглядел ликующий, болтающийся под балкой Амос. Но его пальцы начали затекать, и он уже кусал губы, проверяя силу воли: сколько можно выдержать, не разжимая ладоней? Почувствовав жгучую боль в суставах, он соскочил и шлепнулся на мешки. С ног до головы перепачкавшись в пыли, встал и начал рассматривать затекшие ладони. Тут снова заговорил Гершон:

— Пора идти спать. Выгляни-ка наружу!

Взглянув на Гершона, Амос заметил, что на улице густая темень. Ночь была перемешана с дождем и грязью и кое-где расцвечена слабыми огнями. Он

смотрел на Гершона, который стоял возле широкой пасти веялки, наклонив над ней тяжелый мешок, и чуть подталкивал его, как подгоняют осла, упершись коленом в жестяную стенку, сосредоточенный и серьезный.

Над веялкой горела лампочка. В ее свете металлические грани машины сверкали, а сыпавшиеся зерна казались пылающими огненными каплями, несущимися в сумасшедшей пляске. Когда Гершон поднялся, копаясь в вибрирующих ситах, стали видны его блестящие глаза, обросшие густыми золотистыми волосиками руки и влажные губы.

Над балками, держащими крышу, горела еще одна лампочка. А внизу были пол, мешки зерна, машины, метелки, ведра и Амос с Гершоном.

— Папа сегодня не придет меня укладывать.

Гершон, вытряхивавший мешок, взглянул на Амоса. Да, отец не придет сегодня его укладывать. Разумеется, не придет. Как он может прийти?

Свитер Амоса лежит на мешке, рукава вывернуты на левую сторону. А его пальто, сложенное пополам, — на другом мешке. Когда мальчик пришел сюда, Гершон снял с него пальто и оставил его в свитере, но вскоре увидел, что тот бегаёт в одной сорочке, а свитер валяется в стороне.

— Моси, надень свитер!

Гершон бросил мешок на грудку других, пустых и взялся за полный пшеницы толстопузый мешок, ждавший своей очереди. Сейчас он протянет вторую руку, чтобы покрепче ухватиться за два торчащих из мешка хвостика, приблизит его к колену и одним сильным рывком придвинет поближе к веялке. Сто килограммов в каждом мешке, сто кило хорошей, отборной пшеницы. Но посев — это не разбрасывание зерен. Посев есть посев, и надо снова и снова пропустить все зерно через веялку и распределить его затем по меньшим мешкам — по пятидесяти килограммов в каждом.

Гершон потащил полный мешок к веялке, и тот

оставил на полу склада широкий след. Он придвинул мешок к пасти машины, согнулся над ним и одним движением распорол сверху швы, потом широко раздвинул их. Хлынувшие из отверстия золотые зерна тускло сверкали в клубах бело-коричневой пыли. Гершон погрузил в зерно руку с растопыренными пальцами, роясь в мягком и теплом пшеничном чреве, и задумался.

...Приходили землепашцы из другого кибуца. Пришли прямо в спецовках и сказали: наша веялка приказала долго жить. Разрешите, пожалуйста, пропустить зерно через вашу. Будем работать бригадой днем и ночью! Мы ответили: хорошо. И вот сейчас приходится работать по ночам. Иначе не успеть. И так не успеть, и так каждое утро кажется, что вот-вот вернутся с поля наши ребята и скажут: давайте зерно! А зерно к посеву не подготовлено.

Вечером, в первую ночную смену, пришел Амос. Пришел, постоял вдали, посмотрел, потом подошел поближе. С тех пор и торчит здесь. Он очень мал, ему только шесть. Когда солнце еще висит над лесом, он уже прыгает по двору, ужинает второпях и стоя, а когда спускается ночь, спешит в амбар с зерном, туда, где яркий свет и шум машины.

Гершон приподымает мешок, и он тает на глазах. Ему вдруг очень захотелось узнать, какую очередную проказу затевает сейчас Амос, но он услышал:

— Гершон, Гершон! Зерно идет через край!

Гершон разом опустил мешок и выпрямился. Мешок с чистым зерном, что висел у веялки, можно сказать, под самым его носом, переполнился, и зерно сыплется наружу. Бросившись туда, Гершон кричит:

— Не мог раньше сказать, дурачок!

Амос забрался на груду мешков и смеется, затем умолкает, хлопает в ладоши и отвечает нараспев в ритме своих хлопков:

— А ты велел мне молчать, а ты велел мне молчать!

Гершон прячет улыбку:

— А еще хочешь, чтобы я разрешил тебе одному следить за машиной!

Амос вскочил как ужаленный. Он очень рассержен. Подходит к Гершону, который завязывает полные мешки, стоящие в стороне.

— Что? Не разрешишь?

Весь он — живое воплощение обиды, его дикие глаза пылают. Гершон прочно завязывает мешок, отодвигает в сторону и возвращается к пасти веялки. Машина работает вхолостую.

Вращаются приводные ремни, шумят сита, но в них нет зерна. Гершон высыпал мешок в машину и сгребает руками большие груды зерен. И снова в шум работавшей вхолостую веялки впелась музыка шелестящих зерен, подобно музыке тысячи нежных детских пальчиков. Веялка работала, а Гершон думал уже о следующем мешке. Амос наблюдал за двумя мешками, куда стекало чистое зерно — они висели под самым его носом — чтобы зерно снова не потекло через край. Так каждый из них был занят своим делом.

Прошла уже целая неделя. Каждый вечер приходит сюда Амос. Мамы нет. Что он знает, этот малыш? Что рисуется его воображению? Почему она его оставила? Покинула кибуц? Зачем? Куда она могла уйти? Где вообще она расхаживает весь день? Почему не приходит даже ночевать? Все ходит и ходит?.. Это что, такая прогулка?

Ни разу на этой неделе не пришел Кафри, чтоб уложить его спать. Кафри теперь распределитель работ. Что делал Моси до того, как здесь начали работать в ночную смену? Куда ходил после ужина? Болтался среди взрослых парней, брыкался и проказничал в столовой кибуца, шумел в читальном зале, ходил на конюшню дразнить лошадей.

Гершон снова взглянул на него. Парнишка погру-

жен в наблюдение за мешками, медленно наполнявшимися чистым, отборным зерном.

Эдна ушла из кибуца несколько недель назад. Оставила Кафри, Амоса и ушла. Здесь она работала воспитательницей детского сада, играла на рояле...

Есть на свете большие мудрецы. Прищулив глаза, они говорят: "Положитесь на меня... Я знаю почему... За этим что-то кроется... Не все так просто... Могу сказать по секрету..." Затем они добавляют: "Гершон, ты не знаешь жизни. Гершон, тебя легко водить за нос". И все же он неизменно спрашивал, иногда — в присутствии многих, иногда — у единственного собеседника:

— Но, в конце концов, может быть, кто-нибудь знает, почему она ушла? Мы ведь все ее любили. Дети ее очень любили, она хорошо работала, очень хорошо. У нее была семья. Вы улыбаетесь, но ведь Амос — замечательный мальчишка, и Кафри... достойный человек, не из тех, кого так запросто оставляют! Вот он бродит неприкаянный, этот сорванец Амос, льнет к каждому, отзывается на улыбку, и в глазах каждого ищет ответа на вопрос — где же мама? Моси не страдает, нет, пока что он только в недоумении. А что будет завтра? Живая женщина, преданная, верная, работающая — и вдруг, нате — взяла и ушла.

— Наивен ты, Гершон.

— Почему она ушла?

— Да ты придурок, что ли?

— Мы все ее любили.

— Ничего ты не понимаешь...

Гершон вытряхнул пустой мешок (нет такого мешка, что не опустел бы в конце концов, из которого он не выбивал бы пыль). Бросил его. Амос стоял, руки за спину, и ревностно наблюдал за мешками, наполнявшимися зерном. На этот раз зерно не потечет через край и Гершон сможет спокойно уйти, оставив его одного у машины. Он скажет:

— Моси, последи-ка за веялкой, мне надо отлучиться на пару минут.

Эдна, бывало, сидела с ним за роялем, сажала на колени, так что его голова оказывалась у нее под подбородком, и играла. Говорили, что она балует ребенка.

— Послушай, что я тебе скажу. Самая лучшая воспитательница, когда дело касается ее ребенка, ведет себя жутко. Взгляни на Эдну. Ведь она просто портит малыша... Нужна ему музыка...

Кафри занят распределением работ. Он из числа тех, кто считается образцовыми организаторами. Сидит весь день в диспетчерской, и некому укладывать Моси спать. Кафри курит папиросу за папиросой. Когда он возвращается из города, то всегда курит самые дешевые, и никогда не разживешься у него ни египетскими, ни "плеерсом". Уезжая в город, он заворачивает завтрак во вчерашний номер "Аль-Гамишмар". Он худощав, ростом чуть пониже Гершона, очень любит Моси, но мало видит его в течение дня.

— Послушай, Кафри, надо кое-что выяснить...

Кафри останавливается. Он держит Моси за руку, с плеча свисает полотенце, а сынишка тянет его и сердится:

— Ну, пойдем, папа...

— Папа, чья это машина? Папа, верно, что Кафри пишется через "каф", а не через "куф"? Папа...

Занятый беседой, отец гладит руку сына, даже не повернув головы в его сторону, и говорит собеседнику:

— Подойди ко мне потом. Сейчас я иду в душ.

Моси тащит его изо всех сил, и он идет за ним, спотыкаясь, крича через плечо:

— С восьми я, как всегда, в диспетчерской.

Гершон решил не открывать нового мешка. Он нажал кнопку, машина замедлила бег и, тяжело дыша, остановилась. Амос в недоумении посмотрел на Гершона.

— Зачем остановил? Ведь мешки еще неполные.

— Подойди-ка на минутку.

Амос подошел. Гершон поправил ему сзади воротник.

— Я иду к распорядителю работ. Хочешь пойти со мной?

— Чего это вдруг? А кто останется у машины?

— Машина стоит.

— Зачем? Лучше я останусь и послежу за ней.

Амос обошел веялку, погладил еще не полные мешки.

— Она вдруг может сама заработать. Папа мне сказал...

Он отдернул руку и подошел к Гершону.

— Ладно, так и быть, — Гершон легонько похлопал его по спине. Мальчуган встрепенулся и закусил губу. Это был дружеский хлопок — верный признак крепнувшей дружбы. Гершон оставляет его здесь одного у машины.

Малыш тут останется. Он присядет и будет восторженными глазами смотреть на веялку, — подумал Гершон. Он будет мечтать. Когда же он наконец подумает о маме? К отцу, распределителю работ, он идти не хочет. И вдруг мелькнула посторонняя мысль: "Надо будет как следует повоевать за дополнительный день работы. Кафри в этих делах хорошо разбирается..."

Что это значит — обычная суматоха?

Дверь широко раскрыта, и наружу льется пестрая и причудливая каша из световых пятен, голосов, телефонных звонков и других звуков.

А внутри: белый яркий свет. Контора Кафри переполнена, и он сгибается под тяжестью текущих дел. Здесь все в движении — плечи, субботние наряды, сарафаны девушек, кожаные куртки, шерстяные платки...

А внизу — галоши. С налипшей грязью и чистые, печальные и сверкающие. А над ними: брюки, платья,

трусы, голые ноги — волосатые и черные, гладкие и белые (им не холодно?).

На втором столе сидят люди. За ним — у самой стены — кто-то кричит в телефонную трубку и в отчаянии машет рукой:

— Ничего не слышно! Тут крошечный ад! Ни одного слова. Кто говорит?

На мгновение он поднимает глаза и оглядывает комнату.

Его отчаяние усиливается. С треском он опускает телефонную трубку.

Иные сидят на стульях, иные стоят, опершись о стену, кто-то точит карандаш, какой-то школьник наполняет чернилами авторучку.

Здесь тепло, и поэтому, пожалуй, хорошо. Светло, толпятся люди, трутся друг о друга. Парень, сидящий в углу на стуле, пришел просто так. Ему здесь интересно. Если он подождет до одиннадцати, то уже сегодня вечером узнает, где ему предстоит работать завтра. Вокруг телефонного столика — разговоры о новом тракторе. Кибуцник острит, и вся компания смеется.

Входит Гершон. Он тут, пожалуй, единственный в спецовке. Из-за тесноты и давки он пока не видит Кафри. Может быть, тот тоже в спецовке. Его стол так плотно окружен людьми, что подойти невозможно. "Вот и я явился, — подумал Гершон, — и начну требовать: дай, дай, меня работа ждет. Они рассердятся, начнутся споры, будет еще больше шума в комнате. Кто-нибудь скажет: я ушел с заседания... Кто-нибудь посмеется: радуйся, сможешь отдохнуть в рабочее время..."

Внезапно Кафри приподнялся над окружавшей его плотной людской стеной:

— Нельзя ли попросить успокоиться на минутку? Так невозможно работать! Я прошу: каждый, кто не связан с распределением работ, пусть лучше обождет в столовой. Так невозможно... — на последнем

слове он сделал ударение, и в его голосе звучала мольба.

Кое-кто немного утихомирился. Кое-кто смутился и вышел, а иные заворчали. Гершону все не удавалось подойти к столу. Он было подумал: "Я не виноват. Все мы виноваты, что так треплем ему нервы".

Тут Кафри снова приподнялся, оглядел людей, но Гершона не заметил и сел на место. И тотчас из-за людской стены Гершон услышал его голос:

— Кто-нибудь видел моего Моси? Когда их сегодня укладывают?

Гершон обошел стол и окружавших его людей и подошел к Кафри, который в это время препирался с огородной бригадой:

— У меня нет другого выхода. Я направляю Ривку в ясли... На сколько дней — не знаю...

— Но...

— Как только можно будет ее вернуть, я это сделаю. До сих пор вас, кажется, в обиду не давал.

Гершон положил руку на плечо Кафри. Хотел его успокоить, сообщить, что с Моси все в порядке. Скоро Моси пойдет спать. Он его видел, а сейчас Моси в амбаре с зерном.

Кафри отстранился и взглянул на него:

— В чем дело?

Он был раздражен. Гершон промолчал насчет Моси. Он еще колебался... Может быть...

— Говори, у нас нет времени, — перебил его размышления Кафри.

Гершон почувствовал, как внутри его смялась и скомкалась хорошая и теплая фраза: Кафри, давай спокойно потолкуем. Подумай о Моси, положи папиросу. Повернись ко мне. Попробуй...

Но вслух он произнес, хоть и тихо, совсем другие слова:

— Мне нужен на завтра еще один человек.

— Это зачем?

Второй распределитель работ продолжал тем вре-

менем спор с огородниками.

— Ты же знаешь, что о н и кончили. И вот уже тучи над головой. Машина не обеспечивает. Надо работать в две смены.

— В две смены? — удивился Кафри, и в его голосе звучали подозрительность и неприязнь.

— Да. В две смены. Мне нужен еще один человек.

— Это невозможно.

Гершон умолк. Он был в этом споре слабой стороной. "Это невозможно" — как железная стена. Два слова, а в каждом сила трактора. Ворочай назад...

— Кафри...

— И тебе тоже надо объяснять? Завтра ни у кого не будет выходного. Во всем хозяйстве завтра никто не будет отдыхать.

Эта мысль вдруг словно привязалась к Кафри. Он повысил голос и сказал, обращаясь к огородной бригаде и в то же время ко всем присутствующим:

— Завтра ни у кого не будет выходного! Если я сказал, так и будет!

Он ударил ладонью по листам, на которых был график работ, давая понять, что это решение — твердое и окончательное.

Гершон наклонился, пытаясь заглянуть Кафри в глаза.

— Послушай, Кафри. Мы всегда так делали. Сейчас мы должны работать в две смены. Нет другого выхода. Без этого не будет сева.

— Неверно! — Кафри снова ударил по столу.

Гершон был ошеломлен. Все прислушивались.

— Что значит неверно?

Кафри двумя руками оперся о стол и нагнулся влево, под острым углом к Гершону. Гершон впервые увидел его глаза. В них было что-то страшное, как бы висевшее на тонкой ниточке.

— Это значит, что ты лжешь!

Теперь их головы почти соприкасались. Гершон видел в глазах Кафри красные прожилки. Он заметил капли пота в морщинках над переносицей.

Добрый, кроткий Гершон, тебе сказали, что ты лжешь, тебе предъявили тяжкое обвинение. Тебя, Гершон, оскорбили, над тобой надругались. Тебе сказали, что ты, т ы — лжец. Публично, при всем честном народе. Этот человек забыл, кто перед ним стоит, забыл, с кем он разговаривает. Он забыл, что ты, Гершон, — его товарищ, честный и справедливый человек, который сейчас вернется к его сыну Моси. Гершон — не промолчи! Гершон — нельзя промолчать! Гершон, говорили все (не вслух, но это читалось в их глазах), такого у нас еще не бывало. Это не может пройти без последствий. Гершон, он дошел до точки.

Нет. В помещении снова возобновился шум. Прошло то мгновение, когда следовало реагировать. Прошло уже несколько мгновений. Острота момента притупилась, люди успели опомниться, а Гершон все молчал. Он повернулся и пошел к выходу, прокладывая себе путь среди возбужденных людей. Вышел.

Над головой было ясное небо, но на юге и западе горизонт обложен тучами. Нечего и говорить о более медленных темпах работы. Не может быть речи об одной смене. Надо за два-три дня приготовить все зерно, чтобы люди могли работать на севе как одержимые, использовать все тракторы и все сеялки. Ясно! Теперь надо работать до рассвета. Нет другого выхода. До утренней зари...

Когда он проходил мимо столовой, перед его глазами внезапно встала, как живая, комната секретариата, насупленное лицо Кафри, его сдавленный и глухой голос. Да, все это очень печально. Очень легко обидеться, дать обиде разрастись и взять над собой верх. Это даже приятно, если хотите знать... Дать этому странному жару, этому ощущению, что тебя обделили, этому зудящему ожогу обиды распространиться по всему телу, почувствовать тяжесть в уголках глаз. Смотреть на всех, как на твоих вечных должников, ослабить напряжение мускулов,

опуститься на стул возле машины и молчать. Не отвечать даже Моси. Что, не отвечать Моси? Не уложить его спать?..

Нет, надо работать до рассвета. А вот завтра, завтра утром от поездки не отказываться. Работать, пока не забрезжит рассвет, а с первыми лучами солнца — в город.

Вдруг Гершон остановился. Его осенила непослушная мысль, о которой он и слышать не хотел:

”А может быть, я в самом деле соврал?”

Своим мысленным взором он снова увидел Кафри. Увидел графики работ, взметнувшиеся от удара кулаком по столу.

”Я хотел, да и сейчас хочу, отправиться в город. Верно, надо работать в две смены, мы обязаны работать в две смены. И все же, после всего этого, я хотел бы съездить в город. А после того как вернусь, работать ночью, в ночную смену. Иначе говоря, чтобы другой человек работал днем, а я, когда вернусь, буду работать ночью... Но так или иначе необходимо работать в две смены. Да, это так. Но ты хотел и сейчас хочешь поехать в город”.

Гершон заглянул в окно читального зала. Скоро уже девять. Что с Моси? Он, видно, задремал на мешках. Ясно, что он уже спит. Тучи подымались медленно, подобно густому дыму. Вздыхал ветер, стук захлопнувшейся двери звучал, как выстрел самоубийцы. Гершон снова заглянул в окно. В читальне сидели двое или трое. Он зашел. На столах — утренние газеты. Вот то, что ему нужно. Он перевернул лист, нашел отдел объявлений. Да, все так, как он уже знал: ”Детский театр... Центр воспитательниц детских садов... Декорации... Билеты продаются... У рояля Эдна... Эдна Кафри... Начало в 3.30... В зале... Завтра...”

Он знал, что возьмет с собой мальчика. Кафри об этом, вероятно, и не думал. Видимо, он с ней не встречается. Да, несомненно. Он даже не знает, где она. Кафри не из тех, кто прощает. Кто знает? Так или иначе, решено, что он завтра возьмет с собой ребенка. Выедут

утром. Он зайдет к ней с ним и с ним же вернется... Потом уложит его, захватит спецовку и отработает ночную смену. А днем поработает кто-нибудь другой. В конце концов пропустить зерно через машину может каждый, кто отличает гаечный ключ от мешка с зерном...

Гершон пошел на склад. Уже девять часов! Девять — десять — одиннадцать — полночь. И еще пять часов работы... Зачем? Чтобы отвести Моси в город, чтобы тот увидел маму за роялем, а потом зашел к ней. Администраторы не будут пускать, но потом она скажет ему спасибо. Она его горячо поблагодарит, пожмет руку, подымет Моси и крепко обнимет вместе с галошами, шерстяной шапкой и пальто.

Гершон вошел на склад. Где Моси? Тут он увидел его на мешке, который свалился на пол. Он растянулся на нем, обняв его всем своим крохотным телом, и пытался сдвинуть с места. Он кряхтел, делая огромные усилия, дрыгал ногами.

— Ах ты, дурачок!

Моси лягнул его.

— Отстань!

Моси так рассердился, что вдруг возненавидел Гершона.

— Отстань, говорю!

Гершон одним рывком поставил мальчика на ноги.

— Пошли спать.

— Не хочу.

— Пойдем, пойдем!

— Я сам!

— Разумеется, сам. Я тебя только провожу. Я хочу тебе что-то рассказать.

— Я пойду с а м.

Гершон напялил на него пальто.

— Совсем забыл спросить тебя. Что с машиной?

Амос посмотрел на него подозрительно. Гершон подошел к машине, пощупал ее металлические части, потрогал кожаный ремень привода и сказал небрежно:

— Вижу, что все в порядке. А смазку делал?

— Я не знал, что надо, — Амос окончательно смягчился.

— Ничего страшного. Сделаем потом. Потопали.

Оба вышли. Под ногами поблескивала грязь, над головой темнело небо. Начал накрапывать дождик.

Гершон чувствовал себя усталым. А это было только начало. Надо еще уложить Моси, поговорить с его воспитательницей, затем вернуться под навес к этому яркому желтому свету. Да еще несколько часов месить грязь, пока они доберутся до города.

Дождевые капли превратились в поток. Гершон притянул Амоса, прижал к себе его головку, укрыл своим большим пальто.

Комната секретариата в конце концов опустела, но в ней еще ощущалось недавнее пребывание многих людей. Стулья не были расставлены, на полу чернели следы липкой грязи, на столе горела запыленная лампа. Там и сям валялись растерзанные тетради, окурки, а над пепельницей высилась груда порванных автобусных билетов и апельсиновой кожуры.

Чистый лист с графиком работ брошен поверх прочих бумаг. На стуле полулежа отдыхал обессиленный распределитель работ Кафри. Ноги вытянуты, взгляд обращен к закрытому окну, а рука вновь берет лист с графиком.

Кажется, все. Закончен график на вторник, 24 октября 1945 года... "Кооперативная группа поселенцев..." "Кооперативная группа... группа... группа... гру..."*

Дверь открылась и вошел Нафтали, второй распределитель работ, помощник. Ясно, что Кафри распределитель работ, ясно, что Кафри распре... Ясно, что Кафри... Может, утихнет, наконец, этот шум в голове?

Нафтали берет график работ и говорит:

— Им нужна завтра половинка, а не четверть. При-

* "Кооперативная группа поселенцев" — официальное название, присвоенное кибуцам еще во времена Британского мандата и поныне фигурирующее в документах.

дется завтра изъять четверть из детского склада одежды...

Кафри не слышит.

— Что?

— Я сам это улажу.

Внезапно Кафри склонился над столом и поднес график к глазам, будто хотел разглядеть в нем незаметные издали пятна. Нафтали тоже склонился рядом, что-то вычеркнул карандашом, вписал новое имя возле второго садика, снова зачеркнул, провел несколько линий.

Кафри откинулся на спинку стула и погладил ладонью волосатую руку Нафтали чуть повыше ремешка блестящих наручных часов.

— Нафтали, хочешь сделать мне большое одолжение?

— Ну?

— Перенеси график на чистый лист. Без помарок. Без этой грязи. Мне дурно, когда я на него смотрю. Прямо страшно от этой мазни, бесконечных вычеркиваний, этих четвертушек, половинок и прочих комбинаций, всей этой путаницы.

Нафтали не понял. Кафри чувствовал, что играет в какую-то странную игру, что он готов сделать глупость. Что-то сломалось в нем, как стекло.

— Ведь это карикатуры на нашу жизнь... Сделай мне одолжение!

— Чего это вдруг? — удивился Нафтали. — С каких это пор мы переписываем графики начисто? Завтра же ты его бросишь в корзину для мусора. Что у тебя работы мало?

Кафри очень устал. Он уже не хочет того, о чем только что просил.

— У меня мало работы?.. Который час? Пол-одиннадцатого? Вот-вот у меня заседание. Ясно? А я еще не ужинал.

— Для тебя что-то оставили у ночных сторожей.

— Оставили? Хорошо, что оставили. Тогда дай график — пойду в столовую, повешу его там.

Кафри встал, опершись на стол. Две пачки папирос

валялись на столе среди окурков и пепла. Он знал, что пока дойдет до столовой, зажжет новую папиросу. Одну из тех горьких, дешевых, вонючих папирос, которые он обычно курит.

Он вышел и направился в столовую. Накрапывал дождик. Кафри остановился, чтобы зажечь папиросу. Первая спичка не загорелась, вторая тоже. Когда он выхватил третью, весь коробок был уже мокрый. Где взять огонь? Он оглянулся — никого поблизости. Вдохнул и зашагал вперед.

Значит, дождь. Значит, решение должно быть выполнено, и все тракторы выведены в поле и брошены на сев. Отныне к нему будут приходить люди с цитрусовых насаждений и кормовых трав, полеводы и огородники, будет очень много народа, и ему придется туго. А для веялки и впрямь понадобится вторая смена. Значит, на него будут жать. Как это они называют? Дополнительным усилием.

Выходит, что Гершон кругом прав.

Если говорить начистоту, дорогой Кафри (еще до того, как ты вошел в столовую), — разве то, что случилось, должно было обязательно произойти? Попытайся на минутку взглянуть на это дело со стороны. Распределитель работ разбушевался, вскочил и накричал на товарища... Даже если б это не был Гершон. Они говорят: ведь это Гершон... А я говорю: даже если б это не был Гершон. Ведь каждый из нас, кем бы он ни был, не может жить в кибуце, если он не пользуется полным и абсолютным доверием. На этом ведь все держится. Раздаешь пищу в столовой — и тебе верят, распределяешь одежду — тебе верят. Когда ты танцуешь с девушкой, беседуешь с ней, держишь ее руку в своей — разве ваши отношения не предельно чисты, просты, сердечны, доверительны? Если тебе поручают воспитание детей — значит тебе верят. Тебе дают орудия труда, животных, деньги, счета. Медицинская помощь, поездки, болезни и недомогания, мысли, идеи — верят, верят, верят. А я что сделал? Встал и накричал на Гершона (снова Гершон...), ска-

зал, что он врет! Врет? Да, не ошибается, а врет. Если врет, значит сознательно подводит, значит действует злонамеренно...

Зачем Гершону врать?.. Зачем? Разве он хочет отдохнуть? Разве он может отдыхать? Разве он вдруг потерял всякий вкус к жизни?

Кто потерял? Может, это я потерял? Я, распределитель работ? Член правления "Тнувы"*, отец Моси, друг Гершона? Друг, его друг!

Хватит.

Кафри вошел в столовую. Достал из-за пазухи график, испещренный именами, поправками, пятнами, и положил на стол. Тотчас, со всех сторон столовой, к нему метнулись люди. Все чуть не на плечах у него повисли, нагнулись над графиком, будто прихихиваясь.

— Минутку, минутку (снова рычишь, Кафри?), минутку! Я еще не кончил. Пожалуйста, одну минутку. Посмотрите, когда вывешу. Я очень и очень прошу... (Нервы напряжены и слова выходят какие-то тяжелые). На одну минутку оставьте меня в покое!

Люди переглянулись и отошли. Напротив него на скамейке сидел один чужак и тарасил глаза. Кафри склонился над листом. Долго водил по нему глазами, что-то напряженно искал. Потом что-то приписал внизу. Проглядел его еще раз, снова вынул карандаш, как будто хотел еще что-то приписать или зачеркнуть — и с легким стуком положил его на стол. Повесил график на стену и прошел на кухню взять ужин. Ужин в глубокой эмалированной тарелке, тщательно прикрытый и стоявший на широченной плите. Кафри взял эту тарелку и снял с нее крышку только тогда, когда сел за стол.

Ужин оказался вкусным. Котлеты еще горячие — он сразу почувствовал по запаху. Жареная картошка мягкая, румяная, пропитана жиром, как он любил. Под котлетами — хорошо поджаренный омлет. На плите

*Тнува — Всеизраильская организация по централизованной закупке с лескохозяйственной продукции.

стоял кофейник, над которым вился легкий пар, а на столе — миска со свежими овощами, ломти хлеба, маргарин и творог.

Кто-то о нем позаботился. Кто-то ходил тут час назад или больше, беспокоился о нем, может быть, тоже торопился, но все приготовил, без просьбы и не видя его. Тот, неизвестный, знал, что есть такой Кафри, что он должен поужинать, и надо сделать так, чтобы ужин был приятным, и поставить его на плиту, чтобы не остыл.

А теперь скажи, почему котлеты так вкусны — оттого ли, что горячие, оттого ли, что ты голоден, оттого ли, что их приготовила рука друга? Или, может быть, оттого, что ты очень устал, и разные мысли (гроздя слов, снегопад слов) мечутся, лезут помимо твоей воли?

Кафри встал, сходил на кухню и вернулся с чашкой кофе в руках.

Ночной сторож стоял, покачиваясь с носка на пятку, перед графиком работ. На плече — ремень винтовки, опущенной дулом книзу, чтобы не проникли капли дождя. Он медленно и с интересом изучал график. Теперь он узнает, кто будет ночью в хлеве, кто на кухне. Придется ждать, пока вернется ночная сторожиха, чтобы вместе обойти дома, где спят дети, поболтать и задать ей важный вопрос: "когда пригото^увишь по^есть?"

Кафри поставил чашку на стол, взглянул на стенные часы. Время заседаний. Комиссия по воспитанию, верно, уже отзаседала ("Я всегда ждал, когда они кончат"), и, может быть уже начался секретариат, а сюда никто и не заглянул ("А кого я тогда ждал? Эдну. Да, Эдну"). Эдна была замечательной воспитательницей. Руководила воспитательной комиссией. Она была женой Кафри и матерью Моси. Когда приходила после работы, после заседаний, после обстоятельных выяснений разных вопросов (с бесконечными "ты пойми"), после короткой прогулки с Моси это была очень усталая женщина. Сразу опускалась на диван. Улыбалась,

как бы извиняясь, и много курила. Когда возвращался Кафри — после работы, поездок, бесконечного бега с портфелем по инстанциям, после шумных заседаний, где дым стоял коромыслом, после составления графика работ, после позднего ужина — это был смертельно уставший человек, швырявший портфель на стул, так что звенел его металлический замок. Он становился у окна и говорил: "Проклятый день".

Вот как все произошло.

... Было заседание. Говорили об экономии. Об экономии труда, экономии средств, отпущенных на воспитание. Те, кто подкрепляет свои аргументы ударом кулака по столу, — стучали по столу; те, кто всегда твердит одно и то же, — и на сей раз твердили одно и то же; те, кто без лишних слов переходит к делу, — и теперь были верны себе.

Кафри сказал:

— Разве я не могу поговорить с Эдной начистоту? Откуда этот глупый предрассудок, что муж не может предъявить жене требования коллектива? С каких пор семья у нас замкнулась в круге личных интересов? Муж, говорят, не может требовать чего-то от жены во имя других. Как, мол, может муж представлять интересы, кроме лично своих, семьи и детей? Ирония судьбы, говорите...

Приняли решение — ликвидировать уроки музыки для школьников. Эдна обучала их игре на рояле. Дважды в неделю. Полдня проводила у инструмента, со своими босоногими питомцами, стрижеными, в трусиках. И вот решили: ликвидировать...

Кафри сказал:

— Я это проверну. Я сообщу ей о нашем решении.

Прошло несколько дней — и Эдна покинула кибуц.

Э д н а: Именно на этом вы решили экономить? Немножко музыки, немножко утонченности среди хамсинов для наших маленьких босоногих сабрат — это роскошь? Ты видел когда-нибудь, как девочки становятся совсем другими, когда они садятся, и начинает звучать инструмент? Видел, как успокаив-

ваются нервы, как исчезают страхи, отступает вражда? Я не верю, что этот единственный день в неделю мешает вам правильно вести хозяйство кибуца... Эти две половинки дня...

Э д н а (несколько позже, вечером): Вы полны тайной радости, в голосах звучат победные нотки. Ваш враг, рояль — разбит! Большой кибуц — браво! Какое достижение! — ликвидированы уроки фортепьяно для маленьких детей!

Э д н а (дискуссия продолжается): Я уже устала. Взгляни на себя, взгляни на меня. Где мы? Что светит Моси? Что светит нам за столом?

Э д н а (на следующий день, смертельно уставшая): Да, это вопрос жизни. Да, это вопрос смысла нашей жизни. Это не вопрос двух половинок дня. (С болью). Зачем ты пришел ко мне с этими объяснениями? Десять часов мы спорим с пеной у рта. Почему у нас не было времени посидеть и послушать, как я играю? Посидеть и спокойно послушать твой рассказ о хозяйстве, о мечтах, о трудностях, о рабочих бригадах? А для объяснений время нашлось, для споров с пеной у рта...

И с н о в а Э д н а: Зачем ты взял на себя эту миссию? Зачем называешь это халуцианским характером? Отчего ты такой твердокаменный, отчего ты такой педант?.. Почему у тебя нет недостатков? Почему ты не позволяешь иногда малым, второстепенным вопросам взять над собой верх?

И с н о в а Э д н а: Без этих двух половинок рабочего дня никак не обойтись?

И с н о в а Э д н а: Это неверно!

И с н о в а Э д н а: Это ложь!

... Кафри поднялся по ступенькам и вошел в секретариат. Он опоздал. Густой дым и куртки цвета хаки уже ждали его. Он сел, выслушал краткое сообщение казначея. Слышал, как шелестели записные книжки, скрипели перья.

— Это отложим на завтра. — Позвони ему между

тремя и четырьмя. 49—65. Теперь этим не стоит заниматься.

Шло заседание. На стульях сидели усталые люди... Нет, не люди, а точки зрения, углы зрения, разные подходы. Подход казначея, подход распределителя работ, подход руководителя отрасли. Курили, марали бумагу. В их жилах струился какой-то сок, горький и святой сок желания осуществить, сделать, выполнить. Под их черепными крышками царили маленькие божки, домашние идола: вопросы, выяснения, заседания, комиссии, рынки сбыта, трудовни, тысячи трудовых, кибуц.

Время было поздним. На дворе без перерыва моросил дождь, угрожая предстоящему севу. Кибуц давно крепко спал в сотнях кроватей, уютно укутавшись в одеяла, а здесь все еще сидели под лампочками без абажуров, среди голых стен, вокруг зеленого стола. Они заседали.

Кафри сидел безучастно. Когда он выступает, он подается всем телом вперед, поворачивается и обводит глазами присутствующих. Сейчас он, напротив, откинулся вместе со стулом к стене. Он не выступал и не смотрел на присутствующих.

Неужели все это сказала Эдна?

С н о в а Э д н а: Это неверно!

И с н о в а Э д н а: Это ложь!

Тогда я тихо вышел из комнаты, как выходят от больного ребенка.

Н о я не должен был оставлять ее одну!

Потому что после того, как я вышел, она больше не могла смотреть на меня. Потому что невозможно... Есть взгляд женщины, твоей жены. И если даже он привычен, если даже нет в нем никакой драмы, все же есть взгляд женщины, твоей жены, а она же не могла смотреть тебе в глаза. Так как я оставил комнату, она не смогла туда больше вернуться.

И Гершон не должен был уходить. Он должен был встать и сказать во всеуслышание: "Товарищи, ниче-

го страшного не произошло. Кафри сам понимает, что ошибся. Он вовсе не хотел меня оскорбить и поэтому не оскорбил"... Я должен был остаться с Эдной. Остаться, остаться и не дать ей уйти. Не дать ей вдруг почувствовать, что больше так нельзя... Что все время нельзя... Что боль нестерпима...

Неужели все это сказала Эдна?

Задвигались стулья. Кто-то что-то сказал.

— Что?

— Завтра, Кафри, мы продолжим.

И еще кто-то что-то сказал.

— Что?

— Говорю, пойдем на поля и проверим положение на месте.

Все встали. Только Кафри продолжал сидеть.

— Я не могу...

— Что случилось?

— Меня здесь завтра не будет...

— Что?

— Завтра у меня выходной.

Теперь Кафри подался вперед и обвел взглядом всех стоящих.

Не все из них присутствовали в диспетчерской, когда шло распределение работ, но были и такие, которые хорошо запомнили, как он крикнул:

— Завтра ни у кого не будет выходного. Во всем хозяйстве никто не будет отдыхать!

Он не хотел ничего объяснять. Не хотел, так как вся добрая воля этих людей была из них выжата затянувшимся заседанием. Потому что их добрые глаза смыкались. Они были в состоянии понять лишь то, что у него — вопреки всему — завтра будет выходной.

Люди тихо расходились, обмениваясь малозначащими словами. О предстоящем завтра продолжении заседания больше не упоминали. Кафри остался один.

Он взял из угла веник и начал широкими движениями подметать комнату. Каждый взмах отрывал от грязи прилипшие к ней окурки и клочки бумаги. Он сгреб всю мешанину, что грудой лежала на

столе, открыл дверь, приставил к ней стул, чтоб она не захлопнулась, и быстро вымел весь мусор наружу. В ярком столбе света, падавшем из открытых дверей, сверкали капельки дождя и пыли вокруг человека с веником в руке.

Он сунул веник в угол и потянулся к выключателю, но передумал и подошел к столу. Вытащил ящик, извлек оттуда чистый бланк графика работ, сунул под рубашку и только тогда нажал на выключатель и запер за собой дверь.

Кафри снова пошел в столовую. Никто не стоял сейчас у графика. Там вообще никого не было. Столовая спала, как спит усталый человек, не снявший даже спецовки. Чашки, тарелки на столах, газета. Горела часть лампочек, шторы опущены.

Он снял лист с графиком со стены, расстелил на столе, нетерпеливо вытащил вечное перо, развернул чистый бланк и начал переносить на него график. Пахота, кормовые травы, овощи, цитрусовые... Хлев, курятник... Автотранспорт... Орошение... Общественная работа — выходной (нет, еще рано!)... Кухня... Склад одежды — выходной (повременить!)... Детские учреждения... Конюхам дать выходной (пока отменить!)... Больные... Выздоровливающие... Матери отдыхают (уже? уже взяли выходной? Кто разрешил? Завтра... ни у кого... не будет выходного... Во всем хозяйстве завтра... никто... не будет... отдыхать).

Кафри встал и нечаянно опрокинул скамью. Взглянул на нее и решил не подымать. Повесил новый график, а старый методически разорвал на большие куски, затем на все более мелкие. Он рвал и рвал бумагу, ожесточенно, до боли в ногтях, вышел на улицу и пустил клочки по ветру. Они падали в грязь, как белые снежинки.

Он вошел в комнату, где велись музыкальные занятия, и зажег свет. Рояль стоял на том же месте, он был заперт на ключ. Кафри вынул из кармана брюк блестящий ключик. Она оставила его в ком-

нате с запиской: передать культкомиссии. До сих пор — уже две недели — ключ у него. Каффри перекладывает его из кармана в карман и всегда носит с собой.

Он повернул ключ и приподнял крышку.

Вот лестница с черными ступенями, по которой спускаешься из поднебесья в бездну...

Вот лестница с белыми ступенями, по которой ты поднимаешься выше и выше.

До, ре, ми... до, до самого неба...

Он поднес палец к клавишам. К одному, ко второму, ко многим и уселся на стул. Когда он его придвинул, стул заскрипел. Потом он поднял вторую руку. Левой рукой он опускался по черным клавишам, а правой подымался по белым. До, ре, ми... до, до самых небес.

Потом вдруг вспомнил: надо бы побриться.

Левой — вниз по черным, правой — вверх по белым. До, ре, ми... до. Зачем бриться?

Он перестал подыматься. Только одним пальцем трогал белую клавишу. Пустую, звучащую чисто и прозрачно.

Завтра не успеть?

Поднялся и запер инструмент. Погасил свет и пошел в свою комнату.

Он вошел, не снимая сапог, и каждый шаг оставлял грязный след на полу. Чужая комната, где он, казалось, никогда не бывал. Подошел к шкафу, вынул бритвенный прибор, снял с крючка полотенце, взглянул на часы, стоявшие на столе.

Полвторого. Точнее — тридцать семь минут второго.

По циферблату проворно и плавно двигалась длинная красная секундная стрелка. Большими кругами, паря над цифрами и короткими стрелками. Красная стрелка была тонкой и беззвучной, как игла.

Каффри снова вышел. Это уже третье, нет, четвертое место, откуда он выходит сегодня ночью. Из секретариата, из столовой, из комнаты для музы-

кальных занятий, отсюда. Пошел в душ. Это пятое место, куда он заходит этой ночью. Где еще ему придется побывать?

В душевой висели спецовки на плечиках. Башмаки с деревянными подошвами, в засохшей грязи, стояли на полу. Зеркало в трещинах.

Кафри аккуратно расставил бритвенные принадлежности, пошелестел бумажкой, где было завернуто лезвие, и осторожно установил его на шурупчиках. Проверил, есть ли в кране теплая вода — оказалось, что нет. Сполоснул лицо холодной. Долго мыл и протирал глаза, зачесывал волосы назад, плескал водой на щеки.

Кисточка для бриться легко взбила густую и мягкую пену; она двигалась быстро и проворно. Кафри взял бритву и начал скрести от висков книзу, по жестким щекам, по скулам, до подбородка. Он делал короткие и быстрые движения, время от времени подставляя бритву под струю из крана, чтобы смыть мыльную пену.

Когда он в очередной раз прикрыл кран, вдруг услышал ритмичный шум веялки. Он узнал ее голос и понял, что звуки исходят со склада зерна. Вот как!..

Вдруг он увидел себя в зеркале. Одна щека еще в мыле, другая выбрита; небольшой порез возле подбородка, чуть поцарапана шея. Это был он, Кафри, с темными трещинками под глазами, морщинами на лбу, загорелый, с упрямой, жесткой шевелюрой. Как вы там о нем говорите? Парень лет тридцати, кибуцник, из молодых поселенцев, из тех, кто тянет все на загорбке и всегда спешит... Он сейчас действительно торопится. Быстро завершив бритье, прополоскал прибор, завернул в полотенце и вышел.

Раздавшийся снаружи громкий шум веялки казался жестоким и неуместным среди спокойной тишины и равномерно накапывающего дождя. Еще не видны огни зернового склада, но Кафри знал, что сейчас увидит свет, пролитый на жирную грязь и вет-

ки деревьев, золотящий колеса стоящей рядом телеги. А подойдя ближе, он увидит ярко освещенную, покрытую пылью, непрерывно тарахтящую веялку.

Но, стоя у склада, он видел лишь человека, бывшего там. Гершон волок по полу мешок. Весь в белой пыли, от края брюк до верхушки чуба, до сдвинутой набекрень шапки. Гершон не заметил Кафри, который стоял на пороге и наблюдал за ним. Быстрым движением он распорол верхний шов мешка, поставил его у жерла веялки и побежал сменять мешки, куда лилось очищенное зерно. Потом вернулся к приготовленному мешку, склонил к разверстой пасти машины, приподнял, напрягая силы, и стал сыпать шелестящее зерно, окутанный облаком пыли.

Кафри шагнул в помещение. Гершон все еще его не замечал. Он стоял возле веялки, засунув руки в карманы, смотрел вперед и его не видел.

Значит, Гершон работает здесь двое суток подряд. И в этом действительно есть необходимость. Значит, он не врал. Ему действительно нужен еще один человек. Он поспит несколько часов и вернется к веялке. Он обеспечит землепашцев семенами, даже если все тракторы выйдут в поле и будут работать в три смены — даже если он будет один.

Сейчас только двое бодрствуют в кибуце. Только двое не спят.

— Знаешь, — вдруг заговорил Кафри, — у меня завтра выходной.

Он хотел продолжить и сказать: "Дай мне сейчас поработать вместо тебя. Иди спать". Он хотел настоять на этом. Хотел отправить его спать. Остаться здесь одному, работать в этом ночном шуме, быть единственным, кто бодрствует сейчас в кибуце. Обеспечить всех семенами, работать два дня без передышки. Гершон молчал. Нельзя было даже понять, слышит он его или нет.

Кафри упрямо повторял:

— У меня завтра выходной.

Там, на заседании, были поражены, когда услышали это. Они ничего не сказали, а он не хотел объяснять, так как они слишком устали, чтобы понять. Он только сказал: "У меня завтра выходной", — и в воздухе повисло недоуменное молчание.

Теперь он знал, что произойдет, и потому повторил в третий раз (но Гершон все не отвечал):

— У меня завтра выходной — я еду в город.

Гершон взял новый мешок. Груды, откуда он его извлек, была совсем маленькой. На полу осталось всего три-четыре мешка. Можно ли справиться за ночь?

Кафри хотел, чтобы его выслушали.

— Я еду, чтобы повидать Эдну...

Спина Гершона источала молчание. Может, у него вдруг заболели глаза?

— Получил от нее письмо, что она будет в городе, и решил встретиться с ней, повидать...

Гершон молча кончил возиться с мешком, отбросил в сторону и пошел за новым. Кафри подскочил и помог поднять его с пола. Гершон молчал. Кафри пошел с ним к пасти машины. Он стоял рядом, чувствуя запах и тепло его тела, а тот все молчал. Кафри хотел схватить его за руку, остановить машину и крикнуть: "Почему ты молчишь? Я еду, чтобы привезти Эдну, почему же ты молчишь?" Но вместо этого сказал:

— Нет, я не получал от нее ни слова. С тех пор как она ушла. Я видел объявление в газете. Ты, наверное, не обратил внимания... Она завтра участвует в постановке для детей. Играет на рояле.

Гершон не произнес ни слова. Он поднял мешок, который держал в руках, и высыпал из него последние горсти зерен. Встряхнул его, швырнул и побежал к тому месту, откуда сыпались очищенные семена, чтобы сменить мешки.

Кафри взялся за последние мешки, оставшиеся в куче, и потащил их к веялке. Приволок один, а пока Гершон вспарывал шов, притащил второй;

Гершон еще высыпал пшеницу, а он уже волочил третий.

Кафри тяжело дышал у плеча Гершона. Гершон тяжело дышал над головой Кафри. Веялка была в эти минуты единственным существом в хозяйстве, которое тараторило без умолку: пшеница-пшеница-пшеница... Мешки быстро опорожнялись. Кафри оглядел большие груды, стоявшие в глубине склада. Остановив свой выбор на одной, он подошел и сбросил верхний мешок на землю, собираясь тащить его к веялке.

Тогда Гершон впервые заговорил:

— Не туда. Там кукуруза.

— Значит, конец ночной работе?

— Нет. Возьмем отсюда.

Когда они тащили новые мешки к веялке, Гершон сказал:

— Тебе придется встать рано утром. Грузовик уходит в пять. На дорогах грязь, а шофер хочет вернуться сегодня же.

Вспарывая мешки точными и быстрыми движениями, он продолжал:

— Одежда Амоса и свитер — рядом с кроваткой, на стуле. Можешь одеть его в темноте — не стоит будить детей. Одежда в полном порядке.

Высыпая мешок в пасть машины, Гершон сказал напоследок:

— Не забудь взять дождевик. Наверное, она очень обрадуется, увидев мальчика.

Перевел с иврита А. Белов.

НАТАН ШАХАМ

НАТАН ШАХАМ родился в 1926 году в Тель-Авиве. Член кибуца Бет-Альфа. Сын известного писателя и публициста Элиэзера Штейнмана. Тематика кибуца занимает ведущее место в его творчестве. Его рассказы собраны в сборниках "Хлеб и свинец", "Квартал ветеранов" и других. Автор ряда пьес для детей. Составитель данного сборника рассказов и автор предисловия к нему.

НОВЫЙ ГЛИНЯНЫЙ КУВШИН

Она проснулась до рассвета и теперь ждала утра. Еще не очнувшись, взглянула на картину, висевшую на стене, и, увидев мрачно блестящее темное небо, решила, что глядит в окно. Только протянув в пустоту руку за сигаретой, поняла, что ошиблась, и перевернулась на своем ложе.

На этом небе тоже не было звезд. Тихо качались деревья — было ветрено. Комната, закрытая и изолированная от всего мира, плыла в шелесте листьев, как сквозь тихую и холодную пустыню. Женщина закурила, ее плечи зябко дрогнули. Огонек спички вырвал из темноты угол комнаты и слабо осветил вторую кровать — пустую.

Она снова укуталась в одеяло и неторопливо курила, пуская зыбкие кольца дыма, тускло освещенные красноватым огоньком сигареты. Прошло уже немало времени, а сигарета выкурена лишь наполовину.

Окончательно проснувшись, женщина занялась лечением болей в животе. Она всегда сама себя лечит. Все рекомендуют ей сон, но она-то хорошо знает, что главное лечение — в бодрствовании. Во время сна боли только укореняются в ее теле. Она вспомнила, что, когда рассказывала врачу об отношениях, которые установились между ее телом и болевыми ощущениями, тот подыскивал слова, чтобы ее не огорчать. Тогда она не стала разъяснять ему подробности — есть вещи, понятные лишь тем, кто испытал их на себе.

Многое может узнать человек о своем теле — этом сосуде, которым он вынужден пользоваться всю жизнь — если будет к нему внимательно и нелিপчато прислушиваться. Я и мое тело — как два старых друга, которые не особенно друг о друге думают, но все им и без того ясно, — объясняла она. Врач растерянно улыбался, но она знала, что права. Ее тело с течением времени с ней примирилось. Оно разрешало ей уваливать от болей в минуты душевного подъема, большой радости, особых усилий. А в час душевных терзаний тело давало ей укрытие и защиту, наслаждаясь такими скромными вещами, как чашка кофе, тепло ватного одеяла, горячий душ в зимнюю пору, прохладный воздух летом, мягкая обивка кресла. А этот ученый муж, очкарик, думающий, что он все знает, полагает по своей наивности, что она удручена из-за неприятностей и огорчений, причиняемых телом.

Она никогда не нуждалась во врачах, но всегда опасалась болезней, что приходят к человеку извне. А те безымянные недуги, которые мучают ее во сне, исходят из ее тела и в конечном счете предопределены ее жизнью; они — результат ее дерзаний и ее ошибок. "Тело стареющей женщины, — говорила она себе, гордая тем, что не испытывает огорчений, осознав необходимость подчиняться законам природы, — тело стареющей женщины все меньше отвечает свое-

му предназначению и все больше занимается собственным существованием и своими болями”.

Врачи пытались дать название ее страданиям, но она не испытывала никакой необходимости в таком научном определении, создающем иллюзию принадлежности к кругу товарищей по несчастью. То, что с ней происходит, — это сугубо внутреннее дело, относящееся к ней и ее телу. Где-то нарушено равновесие, и только она сама в состоянии исправить это. Она знала, что столь желанное равновесие надо искать не между физическим усилием и покоем, а между стремлением и примирением, между страстью и капитуляцией. Поэтому она не связывала свое выздоровление с отдыхом и покоем. По мнению многих, ее жажда деятельности была лишь проявлением упрямства старой ”пионерки” и зачинательницы. Но она чувствовала, что активная деятельность для нее — не только тактический ход и хитроумный маневр с целью отвлечь внимание от своего тела, которое хочет побаловаться всякого рода недугами. Нет, это прежде всего средство для высвобождения скрытых сил, отталкивающих и отгоняющих боль — в буквальном смысле слова. Но все это такие понятия, которые невозможно объяснить постороннему человеку.

Внезапно ночь заполнилась тарахтением трактора, и эти звуки связали тишину и одиночество ее темной комнаты с активным бытием. Из темноты выступал новый день, наполненный трудом, но еще не светало.

В далекой комнате зазвенел будильник, и она подумала: заспанная повариха сейчас одевается в темноте, чтобы не разбудить мужа, и через минуту выйдет из дома, направляясь в столовую. Она прислушивалась к постепенно утихавшему шуму мотора, и в ее воображении вставал кибуцник, заливающий горячее в бак трактора, пытаясь что-нибудь разглядеть в темноте.

За пределами ее комнаты пробуждалась жизнь.

Но лишь она одна чувствует свою боль.

Да, лекарство — это работа, — подумала она. Впрочем, нет, работа — не лекарство. Работа — это не занятие для отдельных членов тела, а все человеческое бытие.

Равновесие было нарушено в тот день, когда она оставила полевые работы. Она не должна была этого делать, но недопустимо, чтобы в трудовой распорядок кибуца вторгались ее отношения с ее телом. Когда ей показалось, что она может стать в тягость другим, она, движимая чувством гордости, пошла работать в другое место, где, как полагала, принесет больше пользы. Она была уверена, что действует в соответствии с законами логики хорошо организованного общества. Кажется, этот расчет был ошибочным в своей основе. Люди пожилые и старики — неотъемлемая часть жизни молодого поколения, и нет ничего плохого, если молодой человек предпримет больше усилий там, где старик бессилен. Поколение зачинателей, порвавшее связи со своими предшественниками, стоит ошеломленное перед законом природы, будто не смогло предвидеть этого заранее.

Взошла заря и осветила тяжелое свинцовое небо. Верхушка эвкалипта в окне вспыхнула мрачным блеском.

Шесть часов. Блаженны встающие с радостью, полные сознания значимости своего труда, всецело преданные делу, в котором они отлично разбираются, целиком сосредоточенные на проблемах, которые они должны решать. Она — не в их числе. В свои пятьдесят два года, тридцать три года после того, как впервые почувствовала в просветленную минуту откровения (это было в каменоломне) всю красоту человека, примирившегося с судьбой и любящего свой тяжкий труд, она сейчас встает по утрам как человек, который с нетерпением ждет конца работы, чтобы снова стать тем, кто он есть на самом деле, и очутиться наедине с двумя-тремя старыми книга-

ми, которые полюбил еще в детстве. Как та глупая девчонка из Польши, в глубине сердца убежденная в том, что жизнь делится на две неравные части: одна, большая, связана с материей, и это чуждо и враждебно человеку, другая, меньшая, связана с духом, и это — ее сущность, основа ее бытия.

Она встала, натянула толстые шерстяные чулки, медленно оделась и вспомнила те дни, когда не страдала от однообразия работы на кухне — бездумно-механической, но всегда производимой в страшной спешке, не дающей человеку возможности вложить сердце в приготовление пищи и не оставляющей времени даже для того, чтобы нарезать овощи так, как хочется, проявив свой "почерк". Когда она в молодости работала на той же кухне, то находила удовлетворение, приводя в действие красивые и здоровые члены своего тела, а любовь, ожидавшая ее вечером, опьяняла так, что она не замечала скучных сторон работы. Однообразие сливалось с любовью и счастьем, была надежда, что завтрашний день будет походить на сегодняшний.

А сейчас ее убывающая жизнь пытается оставить свой след на всем, что течет в будущее, будь то деревья или поля, грудные дети или общественные явления, постепенно приобретающие постоянство и прочность. Но у нее уже нет сил быть с ними в одном потоке. На поле она уже не работает и даже от воспитания детей вынуждена была отстраниться. Ей не остается ничего иного, как сидеть под навесом за кухней и готовить овощи и селедку, так как ритм и напряжение самой кухни тоже стали для нее непосильны. Правда, она может гордиться тем, что не отказалась от этой неприятной работы и не жалуется на судьбу (разве что себе самой в бессонные ночи). Но эта гордость не дает пищи ее чувствам.

— Как думаешь, будет дождь? — спросил кибуцник, нагнавший ее у столовой.

Она медлила с ответом, взвешивая его. Разумеется, она заслужила, чтобы спрашивали ее мнения

о погоде. Вот уже двадцать девять лет она ежедневно встает по утрам под этими небесами. Естественно, что она научилась угадывать их капризы.

— Западный ветер может подуть в девять часов, в эту пору года... Понятно... На барометр я не посмотрела... Относительная влажность...

Говоря это, она чувствовала, что от нее вовсе не требовали столь обстоятельного ответа.

У входа в столовую они расстались.

— Сегодня люди довольствуются тем, что слышат по радио, — сказала она кому-то в знак протеста, радуясь возможности завязать беседу на одну из тем, которые когда-то разнообразили и обогащали ее жизнь. — Но радио не может быть точным в прогнозах. Какая польза, когда оно говорит: "В отдельных районах севера пройдут дожди"? В тысяча девятьсот тридцать третьем году, кажется — да, да, в тридцать третьем — четвертого декабря, если я не ошибаюсь, было дождливое утро, и на соседнем холме (вон на том, видишь?) выпало сто миллиметров осадков, а здесь земля была сухая, как...

Пока она рылась в памяти в поисках подходящего сравнения, ее собеседник завязал оживленную и актуальную беседу с товарищем по работе. Она почувствовала себя глубоко уязвленной. Пустяк, конечно, но мог же парень дождаться, пока она кончит фразу!

Когда-то рядом с жилым баракком она оборудовала для себя простейшую метеорологическую станцию. Каждое утро она первая давала прогнозы погоды тем, кто раньше других появлялся в столовой. Были у нее при этом блестящие достижения, но не обошлось и без обидных просчетов, и это наполняло ее жизнь гордостью и печалью. Ее метеостанция была раздавлена шальным трактором, который проходил здесь темной ночью. Так как вскоре она ушла с полевых работ и находилась в подавленном настроении, то увидела в происшествии символ и предупреждение и не восстановила разрушенную станцию.

Проглотив обиду, женщина молча прошла на кухню, опасаясь, что невольно изольет свой гнев на постороннего. Увидев, что картофелечистка разобрана на части, она уже знала, что ее ждет. Она надеялась, что сможет сегодня поработать в одиночестве, так как чувствовала, что нанесенная ей пустяковая обида снова овладевает всем ее существом, и она за себя не отвечает.

Повариха ждала ее с нетерпением, но, беседуя с ней, говорила тихо, дабы та не подумала, что ее торопят.

— Видишь, какая неприятность... И надо было этому случиться именно сегодня... А какое меню! Прямо не знаю, в чем сегодня варить картошку. Сказали "все в исправности". А когда я включила машину — жужжит, но не вертится. Я сразу выключила, а он кричит мне: "Испортила машину!" Это я-то испортила...

Повариха чуть ли не втолкнула ее под навес и сама вошла туда вслед за нею.

— Я помогу немного, чтобы было быстрее.

Некоторое время она стояла, согнувшись, рядом с двумя женщинами, чистившими овощи, и молча работала вместе с ними. Потом, видимо, сообразив, что, желая ускорить работу своих подруг, она действует бестактно, а может быть, вспомнив о другой, более срочной работе, которая ждет ее на кухне, она помчалась туда, испуганно поглядывая на часы.

Обе женщины сидели друг против друга и работали молча. Вторая работала очень медленно, по ее движениям было видно, что она не думает о том, что делает. У нее были потухшие глаза, глубоко сидевшие в глазницах. Синие губы почти не выделялись на очень бледном лице. Время от времени она прекращала работу, смотрела ничего не выражающим взглядом, затем снова брала в руки нож и равнодушно вонзала его в сочный клубень.

... Наша героиня знала, что теперь ее ждут два часа тяжелого молчания, и чувствовала затаенный

страх, свойственный всем людям при виде людей с больной психикой.

Эта женщина прибыла сюда из Германии сразу после войны. Так как только здесь у нее были родственники, она оказалась в кибуце. Спустя некоторое время выяснилось, что женщина помешана, хотя и не опасна для окружающих. Случайный посетитель, который сел бы рядом с ней в столовой и вступил в беседу на несложные темы, мог получить более или менее вразумительные ответы. В минуты просветления она просила дать ей какую-нибудь работу, чтобы не есть даровой хлеб. Иногда все шло благополучно, но случалось, что ею овладевала меланхолия; тогда лицо ее искривлялось, и она глядела на окружающих с таким презрением и ненавистью, что пугались и весьма хладнокровные люди.

Одно дело — выполнять свой долг по отношению к обиженным судьбою, давать им пищу и кров, и совсем другое — находиться с ними в тесном контакте и при том испытывать к ним любовь и братские чувства.

Она съезжилась в своем уголке, пытаясь не привлекать внимание несчастной. А так как сидела согнувшись, то почувствовала боль в спине. Она не могла подвинуть к котлу свою табуретку — та была прикреплена к полу — поэтому протянула руку и слегка подвинула к себе котел. При этом улыбнулась и пробормотала, извиняясь:

— Мне тяжело тянуться... А так и мне, и тебе...

И в эту минуту случилось то, чего она больше всего боялась. Та поднялась, бросила нож в котел и стояла, прислонясь к ящикам с капустой. Ее плечи дрожали: она горько рыдала.

— Она забирает у меня... Она забирает у меня... — безутешно причитала больная.

Работа на кухне прекратилась, все принялись утешать и успокаивать ее. Потом пришла родственница и забрала ее.

Все это время наша героиня сидела на своем мес-

те, опустив голову, ни на миг не прекращая работы. По взглядам любопытных она поняла, что кое-кто осуждает ее. Она была известна приверженностью к порядку, и критики полагали, что даже здесь она не хотела уступить и, как всегда, стояла на своем.

Когда все ушли, оставив ее одну, она почувствовала нарастающее раздражение и гнев, подобный телесной боли. Внезапно захотелось протестовать: зачем ее посадили работать рядом с психической больной? Сознание того, что оснований для протеста нет, только усиливало гнев. Ведь эта женщина хочет работать, чтобы не есть даром хлеб, и, следовательно, должна где-то работать... Внезапно вспыхнула мысль: та не способна к иной работе по одной причине, а она — по другой. Но что из этого? Разве важны причины?.. Главное — они вынуждены работать вместе, рядом. Одна у них судьба. У одной — по свободному выбору, у другой — по сложившимся обстоятельствам. Но это судьба...

Она продолжала работать быстро, осуждая эти мысли, как измену самой себе. Никогда она не признавала, что работа на кухне хуже других работ. Никогда она не говорила, что чистить картошку — унижительно. Это же — азбука идеологии кибуца... И все же она люто ненавидит эту работу. Примириться с действительностью — да, это добрый совет. В самом деле, что она может еще делать — сидеть на складе одежды и пришивать пуговицы?.. Там уже выполнены все нормы. А на кухне она всем нужна. Здесь ведь она работает добровольно, по собственному почину!.. А что она могла бы еще делать? Сидеть сложа руки или делать никому не нужную работу, когда все девушки тяжело трудятся, подчас до изнеможения? Да, надо примириться с действительностью... Этого принципа она всегда придерживалась. Но, черт подери, она же вправе (негласно, наедине с собой) сожалеть о том, что все так сложилось. Она ведь не скажет молодым девушкам:

”Дорогие подружки, в кибуце нет камина, воз-

ле которого вы могли бы уютно сидеть на склоне ваших лет, спокойно вязать носки, внимать тем сладким процессам, что происходят в бутылки со сливовой наливкой, и чувствовать, что у вас есть полное право греть свои окоченевшие ноги возле огня в десять часов утра... Этого нет и не будет. Задумайтесь над этим. Вот и все, что я хотела вам сказать..."

Нет нужды им говорить. Они сами все знают. Они не строят иллюзий и трезво смотрят на будущее.

Она ничего не скажет. Она не будет сеять разочарований из-за того... из-за того, что кто-то недостаточно совершенен. Может быть, когда-нибудь в частной беседе она вежливо скажет:

"Товарищи! Женщина — это домашний очаг! Кибуц станет домом для своих членов только тогда, когда женщина почувствует: она здесь дома. Но кибуц останется лагерем, станом, бивуаком, состоящим из множества комнат, пока женщина чувствует себя дома только в своей комнате".

А может быть, она и этого не скажет, так как вдруг появится умник, который встанет и спросит: "А что ты, собственно говоря, хочешь?" И она не будет знать, что ответить.

Кончив чистить картошку, она решила заняться селедкой, хотя никогда ее не ела и не выносила ее запаха. Потом ей предложили на выбор: резать мясо или мыть посуду, и она выбрала последнее.

Перед самым обедом, когда работницы мыли неровный пол, и вся кухня на несколько минут погрузилась в ожидание, напоминающее затишье перед бурей (вскоре толпы людей в сапогах с налипшей грязью хлынут в столовый зал, где сейчас летают птицы и клюют хлеб с тарелок), заведующая диетстолом (для больных и выздоравливающих здесь готовили особые блюда) попросила ее испечь несколько оладий. И когда она стояла возле сковородки и смотрела на подрумянившиеся оладьи, которые жарились в кипящем масле, — их вкус был как раз такой, как ей хотелось, — она удивлялась,

как много удовлетворения может доставить самая простая работа, если результат налицо и за удовольствие как бы уплачено наличными. Она уже готова была забыть свои огорчения, если бы не тот маленький инцидент с кастрюлей. Больше, чем о самом происшествии, она сожалела о том, что дала себя втянуть в перепалку по совершенно пустяковому делу. Женщина знала, что, если бы не общее напряжение, не огорчения, которые ей причинила история с помешанной, не плохая погода и не обида из-за разговора с тем невоспитанным молодым человеком, она бы не дала втянуть себя в этот спор из-за кастрюли. Но знать — это одно, а переживать и огорчаться — совсем другое.

Возвращаясь в свою комнату после обеда, она встретила Шломит, которая состояла в комиссии по приобретению мебели.

— Знаешь, Геня, мы этот вопрос обсуждали. При нашем сегодняшнем финансовом положении... Ты, вероятно, слышала насчет обзора, составленного казначеем?

— Слышала, слышала. Я такие обзоры слышу уже двадцать девять лет подряд.

— Во всяком случае, мы обсуждали и решили... в этом году столов не приобретать. Ни одного стола. Пойми, это окончательно. Такова ситуация. Мы требовали, но...

— Ясно, я слышала.

— Но почему ты сердишься?

— Я вовсе не сержусь.

— Надо же в конце концов понять, нет никакой возможности выполнять требования каждого. В наших условиях... Ведь мы зависим от многих факторов.

— Я ведь не прошу разъяснений. Я все слышала.

— Не хочу, чтобы ты думала, что я...

— Оставь меня в покое и дай мне думать так, как я хочу.

— Я тебя не понимаю, Геня.

— А что тут понимать? Я тебе ведь ничего не сказала. Только сейчас я кончила работу, устала, хочу домой, а ты меня задерживаешь.

— Пожалуйста, никто тебя не держит. Я только хочу, чтобы люди знали... Нет, значит, нет, а не то, что я не хочу дать.

Говоря по правде, Геня была сердита. Но вовсе не потому, что в этом году не получит нового стола, а из-за оскорбительного выражения лица этой молодой и наглой девчонки, которое она заметила еще до того, как та заговорила. Гене казалось, что та только и ждет от нее непродуманного эгоистического ответа, чтобы обвинить затем во всех смертных грехах. Сказать бы ей примерно следующее: "Послушай, милая, когда человек постепенно отстраняется от дел, уединяясь в своем узком мире, наполненном воспоминаниями и дорогими сердцу сувенирами, и у него все меньше сюрпризов и новых друзей, он хочет быть окружен вещами, которые ему по душе, и это относится и к мебели. Никогда в жизни у меня не было уголка, на котором лежал бы отпечаток моей личности и моей семьи. И когда вы делаете подсчет доходов и расходов, подумайте и об этом. Вот и все. Но если это мое желание, по-твоему, означает эгоистические наклонности, отрыв от коллектива и пренебрежение моральными ценностями — мне жаль тебя... И это все. Нам не о чем спорить".

Обрезая ветку мальвы, нависшую над панелью, она вспомнила о споре, происшедшем много лет назад между ней и другими кибуцниками.

— Красота!.. Пейзаж!.. — кричал Шаул с воодушевлением. — Ни одного куба воды, которую можно превратить в зерно, в молоко, в мясо, не дам я вылить на землю, чтобы растить дикие травы. Маленький участок клевера для меня лучше целого поля с цветами. Красоты захотелось... По мне, нет ничего безобразней, чем видеть, как живительная

влага течет по плодородной земле, дабы выращивать чертополох! Красота!..

Насмешек было столько, что лишь немногие, и она в их числе, осмелились требовать: дайте нам тратить драгоценную влагу для красоты, для пейзажа, для того, чтобы радовать глаз. Многим незрелым мыслям нашли впоследствии оправдание: таково, мол, было время. Кругозор, мол, был еще узок. А она твердила это все время. Требуется изрядное мужество, чтобы назвать узость узостью.

В конце концов упрямые теоретики примирились с человеческой природой. Они уже не отвергали из принципиальных соображений скромные требования людей и не считали их плодами устаревших общественных отношений. Но в прежних заблуждениях они сознавались вполголоса, как принято среди мужчин, вынужденных признать свои ошибки. И в данном случае не обошлось без ханжества. Стремления людей к красоте и опрятности, к личному и частному объявлялись теперь допустимыми, как допустима женская слабость. Ладно, пусть так... Так удобней им, мужчинам, в этой игре: "Ты же знаешь, мне безразлично. Я лично могу прожить еще двадцать лет с этим столом, в этом бараке, с этой печкой, в этих брюках... Дай мне доску на четырех ножках — с меня хватит. Но вот жена, понимаешь..."

Конец этой дискуссии о красоте природы был таков: она своими руками посадила траву и цветы в палисаднике, а через несколько месяцев переехала жить в палатку Шаула... Впоследствии, когда тот изменил свои взгляды на красоту ландшафта, он долго терзался мыслью: как бы товарищи не подумали, будто это — результат ее влияния. Ах, как глупы все мы были в молодости!..

Да, в те дни даже вступление в брак считалось капитуляцией перед условностями. Боже милосердный! И как только мыслимо такое ослепление! Они были уверены, что семейный очаг приведет к расколу общества в жизненно важных вопросах. Толь-

ко женщины своим особым чутьем чувствовали, что семейный очаг не разделяет, а сплачивает и создает общество. В ту пору вопрос стоял не о выборе той или иной жены, а о выборе между настоящей жизнью и скоротечной халуцианской авантюрой. Тот, кто создавал семью, прочно обручался с кибуцнианской судьбою. Вступление женщины в семейную кибуцную палатку превращало теоретический опыт мужчины в зерно новой, цельной жизни.

Да, все это так. А вот дома следует прибраться, — подумала она. Много собралось пыли. Она провела рукой по краю шкафа, который не блестел так, как ей хотелось. И тотчас энергично взялась за дело, со всей решительностью атакуя стекло на столе, с трудом передвигая тяжелую мебель. Ее лицо разругалось: она долго, согнувшись, терла влажной тряпкой укромные уголки под кроватью. Закончив это, постояла у входа, тяжело дыша: никак не могла отдышаться. Вытирая капли пота со лба, она с удовлетворением глядела на гладкий пол, на сверкающую мебель и вдыхала запах чистоты и влаги, наполнивший всю комнату.

Геня чувствовала себя порядочно уставшей. Она долго стояла под душем, опустив и расслабив руки, и позволяла теплой воде нежить ее чуть не до потери сознания. После этого улеглась в постель до того, как вернулись боли, и вздремнула.

Когда она проснулась, в окне виднелось сероватое небо, и в листве ее сада шуршал дождь. Геня вспомнила, что ей что-то снилось, но что именно она забыла. Спohватилась, что уже поздно, а ей нужно сегодня забрать из сада внука: сын на военных сборах, а его жена только вечером приедет автобусом из города.

Со смеющимися глазами и каплями чистого дождя в морщинах лица она стояла возле сада, словно опасаясь помешать, и нетерпеливо ждала минуты окончания ужина. Тогда маленький Рони ринется ей навстречу, протянув руки, а его умные глазен-

ки засветятся любовью. Она возьмет карапуза на руки, принесет в свою комнату, и это будет вечер ее и его, только их одних, целиком посвященный самой нежной любви, какую сотворил Всевышний: любви бабушки к внуку. О, это будет сердечная и волнующая встреча двух поколений, которые ничего друг у друга не берут, а только дают друг другу от всего сердца. Шкаф откроется, и коробка со сладостями перейдет в безраздельное владение очаровательного малыша, а бабушка будет смотреть и радоваться... К черту все теории воспитателей! Она его будет баловать, даже если Рони, как они утверждают, окончательно испортится. Во всем нужна мера, за исключением любви. И если пирожные выражают любовь, то не надо их нормировать... Сколько раз в году на ее долю выпадают такие вечера? Там, в комнате родителей, с ним слишком строги — пусть же он хоть раз почувствует себя совершенно свободным у своей глупой бабушки, которая ничего не смыслит в воспитании и все еще верит, что любовь, да, любовь — именно то, что поставит этого маленького человека на ноги. Должен же маленький человек получить какую-то порцию нарушения распорядка дня... Ох, и поправдуют же они в запертой комнате без постороннего бдительного глаза! А когда-нибудь в далеком, далеком будущем, когда бабушка будет покоиться в рощице под деревьями и камнями, а Рони станет взрослым человеком, отцом семьи, среди всех его смутных детских воспоминаний всплывет с удивительной ясностью один из подобных вечеров у бабушки, заполненный чистой любовью, нежностью и безудержной радостью... Вот оно, незаконное и контрабандное подглядывание в щель толстого и непроницаемого занавеса, отделяющего нас от будущего.

Но не так угодно было случаю. Когда открылась дверь садика и появились дети, каждый с пальцем на плече и с апельсином в руке, послышался голос воспитательницы:

— Дети, вы знаете, что мать Довеле сегодня работает на кухне, а папы нет дома. Кто из вас возьмет его к себе в комнату?

— Я, я, я, — закричали дети.

— Довеле, с кем ты хочешь пойти? — спросила воспитательница.

Геня с трепетом душевным ждала решения малыша. Рука Рони держала его за рукав. Довеле глядел на детей, довольный, что ему предоставлено право выбора, и в конце концов остановил свой взгляд на Рони.

— Хочу к Рони.

Рони был счастлив. Оба вышли, держась за руки и то и дело подсакивая, а за ними поплелась бабушка, и лицо ее больше не улыбалось.

Наш мерин — сивый,
А Итка — плешивый!

распевали два карапуза во весь голос.

Взрослый парень, любящий детей, счел необходимым обратить внимание на допущенную ими ошибку.

— Не Итка, а Гитлер, — поправил он серьезно.

Но малыши отказались признать Гитлера. Этот парень был для них слишком взрослым, чтобы с ним согласиться. Вот если бы им сказал про Гитлера шестилетний мальчик, это прозвучало бы для них, трехлеток, так авторитетно, что им и в голову не пришло бы послушаться его.

Наш мерин — сивый,
А Итка — плешивый!

Прошлое мертво. Не хотят его изучать. Максимум, на что они согласны — это получить немного любви. И потому лишь бабушка останется в памяти как бесспорное доказательство вечности времени, единства прошедшего и будущего. Наши дети росли без бабушек, и поэтому нет у них ощущения времени и нет у них благоговейного отношения к ценностям прошлого.

Так она рассуждала, медленно шествуя вслед за

двумя малышами и пытаюсь мысленно приспособиться к новой действительности — неожиданному вторжению Довеле в тот замкнутый мирок, который она создала в своем воображении для себя и своего внука. Она старалась даже намеком не показать своего огорчения, общаясь с ни в чем не повинными детьми, но чувствовала, что не сможет сдержать себя.

Итак, когда малыши ворвались в комнату в грязных ботинках и перепачкали тот храм чистоты и порядка, который Геня построила с таким трудом, она не смогла сдержать свой гнев и накричала на них. И, видимо, выражение ее лица было столь суровым, что затем не помогли все деликатесы, которыми она щедро угощала малышей, дабы заглушить их горькую обиду, хотя пирожные были поглощены с удивительной быстротой. Радость общения была омрачена. Весь вечер все действия Рони имели целью одно — делать все наперекор бабушке, и она, только она одна знала, что это ему прекрасно удастся. А когда пришла мать Довеле, чтобы забрать его, и снова в ее сердце вспыхнула надежда на примирение с Рони, тот заупрямился и захотел пойти вместе с ним. Но тут явилась и его мать. Рони сразу же прильнул к ней и начал умолять ее скорее уйти из бабушкиной комнаты, всем своим поведением демонстрируя, что до прихода мамы ему приходилось плохо. И Геня была вынуждена не раз откашляться, чтобы скрыть глупые слезы, невольно набегавшие на глаза из-за этого маленького неблагоприятного человечка.

Когда мать с сыном удалились, она легла и попыталась задремать. Теперь, когда все сделано, и даже пол вторично вымыт, и можно о нем уже не думать и не осталось ничего другого, как ждать ужина (он — как шумный островок в потоке одиночества, что течет навстречу ночи), Геня снова почувствовала боли в теле, которые, кажется, только ждали удобного случая, чтобы возобновиться с новой силой. Сейчас они черпают эту силу не только в ее бездельи, но и в ее огорчениях, которые парализуют остат-

ки жизненных соков, столь нужных уставшему телу, чтобы защитить себя от болей.

— Зайдите.

Дверь медленно открылась и показалось тощее лицо Сасона.

— Сасон! — воскликнула Геня. — Это ты? Когда вернулся?

— Давно, еще в пять, — ответил мальчик и неуверенно вошел в комнату.

— Что же ты не зашел раньше сказать, что вернулся?

— Так уж получилось...

— Ну, ладно... Мне кажется, ты должен был вернуться завтра? Ну, как каникулы?

— Не захотелось мне оставаться у тети. Она только кричит на меня все время. Она говорит, что я уже большой, что я уже могу идти работать. У нее в моем возрасте почти уж дети были... Она на меня кричала — и я пошел и уснул в автобусе. А что она о себе думает? Утром пришел дядя и хотел меня убить, сказал, что всю ночь не спал, все искал меня, а теперь нет у него сил работать. Я удрал к сестре, она только что родила ребеночка. Весь день она была очень печальна, ее парня взяли в полицию. Она говорит, что он ничего не сделал. В самом деле, он ничего не сделал, только его товарищи — гады. Два дня я работал в лавке и отдал ей деньги, она мне вернула лиру, и я пошел в кино. Утром пришел сын дяди и взял ее с ребеночком. Я хотел поехать к тете, чтобы забрать свои вещи. Пришла маленькая машина, и я спросил шофера: можно мне ехать с тобой? Он сказал: давай! Потом он сказал, что едет в Хайфу. Я тоже поехал в Хайфу. У меня остались деньги, и я купил для Рони эту игрушку.

Он подошел к ней и извлек из кармана игрушечную собачку. При свете настольной лампы она заметила, что глаза его красны от слез.

— Ты плакал, Сасон?

Он потупился и вдруг горько разрыдался.

— Ко мне ребята пристали и сломали ему хвост.

- Ничего страшного. Есть собаки без хвоста.
- А этот хвост шевелился, когда нажимали здесь.
- Ничего страшного, Рони не заметит.

Но он не переставал плакать.

— Хватит, Сасон, — уговаривала его Геня. — Такой большой мальчик, скоро тринадцать лет, а плачет из-за игрушки.

— А почему они меня избили?

— Кто "они"?

— Ребята сказали, что всыпят мне, и напали на меня.

— Кто?

— Из класса Брахи.

— Дети из класса Брахи! — воскликнула она изумленно. — Ведь ты же старше и сильнее их!

Мальчик промолчал, и она все поняла. Он не осмелился их побить. Он не мог поднять руки на детей тех кибуцников, хлеб которых он ел. Если его дразнили и обзывали, он мог драться, как сумасшедший, с любимым, даже если тот был сильнее и старше его. Но он не мог ответить ударом на удар детям тех добрых людей, которые приютили его. И на мгновение она мысленно увидела это оскорбительное зрелище: группа ребят дает волю своим страстям и, позабыв о всех запретах, издевается над ребенком, потому что он "чужак", не свой... И он сам подтвердил это постыдное право, которое они себе присвоили, не дав им отпора, уйдя от открытой схватки.

— Ты должен был дать им сдачи, — сказала она. — Понятно, не очень сильно.

Он снова заплакал:

— И тогда вышла Браха, она не спросила, кто начал, а сразу на меня рассердилась и сказала, что я вообще не должен тут вертеться. Тогда я сказал ей, что если она не знает, то лучше бы уж молчала. Тогда она сказала, чтобы я не грубил, а я ей ответил, что я не грублю, вы не знаете, а говорите. Тогда она сказала, что не хочет больше слушать мои грубости.

— Она не права, Браха не права, я с ней погово-

рю, — сказала Геня после некоторого колебания, раздумывая, не подорвет ли она веру ребенка в способность взрослых верно обо всем судить, если попытается оправдать подружку. — Она просто не разобралась. А может быть... Ты что-нибудь не так сделал?

— Честное слово, я все делал как надо. Я хотел им только показать собачку, но не хотел, чтобы они ее трогали, чтоб не сломали...

— Надо стараться не дразнить малышей...

— Честное слово, я...

— Дай-ка собачку, может быть, можно ее починить.

Он протянул ей игрушку и отломанный хвост, а она зажгла свечу, и на некоторое время воцарилась тишина, полная дружелюбия и взаимного доверия. Горящими глазами он смотрел на ее чуть дрожащие руки, сосредоточенно делавшие свое дело.

— Вот так, — сказала она, гордая его восхищением, возвращая исправленную игрушку. — Сколько она стоит?

Ей хотелось спросить его: "Разве ты вправе тратить все свои сбережения на подарок для Рони?" Но она понимала, что он очень горд своей независимостью и правом считаться почти взрослым, которое он приобрел благодаря подаренной игрушке, и ничего не сказала. Ее уставшие глаза с любовью ласкали опущенную головку мальчика.

— Приятная собачонка.

— Она стоит этих денег, — сказал он.

— А теперь я должна идти ужинать. А ты посиди пока в кресле и почитай книгу. Я взяла для тебя новую в библиотеке. Но береги ее. Обожди минутку.

Она подошла к шкафу и вынула из него коробку с пирожными. Мальчик взял одно и, немного стесняясь, поднес ко рту.

— Возьми еще, не стесняйся, — сказала она. — Чтобы, когда вернусь, коробка была пустая.

Мальчик уселся в кресло, а она вышла в душевую переодеться. Она знала, что лишь когда она выйдет,

мальчик почувствует себя по-настоящему хорошо. Сейчас он скован, а без нее будет наслаждаться простором и уютом этой комнаты, обильным теплом и светом красивой настольной лампы, звуками радио (сейчас он поймает какую-нибудь восточную мелодию и поставит на максимальную громкость) и свободой от приличий, которые портят вкус этих тающих во рту пирожных.

По закону нельзя считать, что он усыновленный ею ребенок. В Ираке живут его родители, и, хотя они сняли с себя ответственность за его судьбу, их право на него остается в силе. Он по ним очень скучает, и, возможно, в один прекрасный день они сюда приедут и отберут Сасона, чтобы заново включить его в узкие и довольно неприглядные рамки этой семьи. Во всяком случае, сейчас он здесь, а дети его возраста не могут жить только среди сверстников и общаться лишь с детьми. Поэтому некоторые кибуцники открыли перед такими детьми двери своей единственной комнаты и пытаются создать для них в меру своих сил и способностей атмосферу семейного тепла и любви. Но это еще не создает глубокой связи и привязанности между двумя существами, разделенными традициями, обычаями, темпераментом, воспитанием. Так как Сасон, входя к Гене в комнату, чаще всего был преувеличенно вежлив и чуть робок, она сомневалась в своей способности заменить ему родителей. Во всяком случае, для нее он был хорошим объектом для приложения душевных сил, которые уже не находили себе другой цели.

За ужином она заметила Браху, занятую беседой у дверей столовой. Ела торопливо, чтобы поговорить с Брахой о Сасоне, пока та не ушла. Но Браха уже исчезла, и Геня решила зайти к ней. Однако вернулась с полпути. Она не была у Брахи, когда у той родился внук; идти сейчас было неудобно. Она осталась голодной, но не вернулась в столовую. Согреет в комнате чай и съест пирожные, что остались после Сасона.

Когда Геня вернулась к себе, ее ждал сюрприз. С веранды слышался голос Шаула. Заторопилась снять ботинки, но долго возилась с упрямым шнурком. Стоя снаружи и дергая шнурок, она слышала беседу.

— Так что, вообще не надо жать на сцепление? — спросил Сасон с удивлением, отдавая должное владельцу машины, освобождающей водителя от этого действия.

— Только первый раз, — слышался сухой голос Шаула, — и при переходе от медленной на большую скорость.

— Я-а! — восхищенно сказал Сасон. — И само срабатывает? А как?

— Хочешь сразу все знать! — засмеялся Шаул.

— Объясните, пожалуйста, я пойму! — просил парнишка с воодушевлением.

— Представь себе два таких круга. А тут, посередине... — принялся объяснять Шаул.

Геня недовольно прислушивалась к его тону. Нетерпение Шаула выражалось в паузах, пренебрежительном фырканье и возгласах недоумения. Ему это казалось забавным курьезом, и свои чувства он не пытался скрыть: он, Шаул Ярден своей собственной персоной, взялся просвещать этого маленького неуча и беседует с ним о механике. В его иронии и манере говорить замысловато, где достаточно пары слов, чувствовалось высокомерие. Его голос причинял ей боль. Возможно (так, наверное, сказал бы Шаул), что в состоянии депрессии она все видит в темном свете. Во всяком случае, его голос, его ирония есть не что иное, как уклонение от простого, честного и человеческого отношения к людям. Еще много лет назад это огорчало ее. Тем же тоном объяснял он людям основы халуцианской морали или обсуждал расходы на питание — он говорил со всеми так, будто те недостаточно развиты, чтобы верно понять азбучные истины жизни кибуца.

Отдавая себе отчет в том, как огорчают ее недо-

статки мужа, она с болью думала, что ее недостатки вызывают в нем раздражение и неприязнь. Неприязнь и раздражение — с одной стороны, боль и горечь — с другой... В этих различиях — различная природа их любви. Его недостатки для нее — изъязнены, с которыми все же можно ужиться в теплом семейном гнезде. С ними надо обращаться, как с больными или отсталыми детьми. Для него же ее ошибки и капризы — нежеланные гости на пиру для избранных, и надо найти способ как можно скорее избавиться от них. Желательно сделать это в вежливой и корректной форме, но, если не получается — можно и без церемоний...

Разом всплыли в памяти и мелкие, и значительные эпизоды, определившие весь ход их личной жизни и год за годом создававшие особый стиль их отношений. Но и тогда, и сейчас его заряд чувств был беднее, чем ее. Не только потому, что в нем был весь мир ее желаний, стремлений и грез, а он взял ее, как человек, примирившийся с судьбой. Она была для него частью кибуцианского быта. Его долг — искать свое счастье в этом узком кругу. Трезво, рассудочно.

Сколько горечи причинило ей ощущение, что он гордится умением контролировать свои чувства и даже не пытается искать на стороне того счастья, которое она не в силах дать ему. Впоследствии, когда он отдалился от дома, выполняя разные общественные задания, и даже бывал за границей, он тоже не давал воли своим страстям. Не потому, что любил ее и нуждался в ней, а потому, что был верен своим моральным принципам. Если он не изменил ей, то приписывал это своему душевному благородству. И было обидно осознавать, что даже его верность ей была его личным делом и диктовалась лишь заботой о безупречной репутации. Ее же единственная измена мужу была тенью ее страсти к нему, оскорбленной его равнодушием. Это было в тот период, когда его увлечение общественными делами еще не было столь сильным, чтобы отвлекать его

внимание от жены и сына. Правда, эта измена так и не была совершена. Ей хотелось почувствовать вкус экстаза одинокого мужчины, избравшего ее богиней своих отчаянных грез, но она не смогла. И все же много недель спустя чувствовала себя униженной, несчастной и порочной.

С течением времени Шаул научился любить ее по-своему. Может быть, из чувства благодарности — она всегда была с ним ласкова, а может быть, из чувства вины, сознавая свой врожденный эгоизм. Сознательное усилие преодолеть в себе эту черту и найти путь к душе собеседника приводило к тому, что в ироническом тоне его речи часто звучали едва уловимые фальшивые нотки. Ему было нелегко завязать беседу с человеком, которого он ставил ниже себя.

Сунув ноги в тапочки, Геня вошла в комнату. Увидела красивую голову Шаула, склоненную над листом бумаги. Его седеющие волосы падали на лоб, а загорелая рука торопливо выводила геометрические фигуры на глазах восхищенного мальчика. Когда Шаул поднял голову, чтобы поздороваться, в его черных глазах не погасла искра глубокого скепсиса. Взгляд, излучавший ум и силу, внушавший уважение. Ясно, что Шаул не верил в способность мальчугана понять то, что он ему объяснял. Но это было ему безразлично. Какое это имеет значение? Важно то, что он с ним занимается.

— На сегодня хватит, — сказал Шаул Сасону. — В следующий раз расскажу, как действует автоматический переключатель... если еще не забудешь то, о чем я говорил сегодня.

— Не забуду. Хотите, я повторю?

— Не надо. Я тебе верю.

— А в субботу утром покажете это на вашей машине?

— С удовольствием.

Мальчик смотрел на него восхищенными глазами. Геня чувствовала себя уязвленной. Она забо-

тилась о нем всю неделю, заступалась за него перед товарищами, утешала, когда он огорчался. Была внимательна ко всем его прихотям, вела борьбу в его маленьком ограниченном мирке с укоренившимися предрассудками и неоправданными страхами. Радовалась его радостями и печалилась его печалью. Он вырастает в ее жизнь и в ее быт, пускает здесь корни. Но никогда она не удостоится столь восхищенного и доверчивого взгляда, каким он глядит на Шаула. А ведь тот, по сути, бросил ему грошовую подачку, безо всякой душевной привязанности... А в субботу утром, когда Шаул возьмет его в машину и он увидит, как действует автоматическое сцепление, мальчик почувствует себя взрослым человеком, достойным уважения.

— Не ждала я тебя сегодня, — сказала она, и морщинки у ее глаз засветились.

— И я не думал, что приеду, но вот оказался в Хайфе. Во всяком случае, никто не будет в претензии: бензин дешевле номера в гостинице, ужина и завтрака.

Он сказал это не то шутя, не то подчеркивая свою верность принципам. Приехав сюда, чтобы разделить с ней одну ночь ее затянувшегося одиночества, он не тратит на эту поездку общественных денег.

— В Хайфе шел дождь? — спросила она.

— Да.

— А тут и шел, и не шел. Весь день были тучи, а настоящего дождя так и не было. Все было так серо, — сказала она, как бы сожалея о несостоявшемся дожде.

Когда Сасон попрощался и ушел, они долго сидели друг против друга, он — на кресле, она — на кровати. Оба сосредоточенно молчали. Он углубился в газету, она быстро вязала. Потом она подошла к нему с вязанием в руке.

— Дай кулак, хочу измерить.

— Что ты вяжешь? — спросил он ее, когда она окутала его кулак шерстью.

— Шерстяные носки. Для тебя.

— Шерстяные носки? Что, у меня нет шерстяных носков? — запротестовал он. (Зачем она окружает его удобствами помимо его воли?)

Геня не ответила. Подумала о том же, о чем думала после короткой и неприятной беседы о столе... Она должна идти на склад одежды, чтобы отстаивать там его права, а он, такая утонченная душа, постарается не обнаружить своего недовольствия этой заботой об удобствах, неподобающей человеку его кругозора. Она должна делать вид, что не видит и не чувствует его зазнайства и своего унижения, что потом отнюдь не мешает ему наслаждаться хорошо связанным свитером, ватным одеялом, теплыми тапочками.

— Попьем чайку, — сказала она немного погодя. — В столовой чай был отвратительный. Не знаю, что они туда кладут. Говорят, сейчас сахарин стоит не меньше сахара.

От ее внимания не ускользнул его критический взгляд, когда она сказала "отвратительный" — слишком сильный, по его мнению, эпитет, неприменимый к такой мелочи, как чай, который не пришелся ей по вкусу. Его чувствительное ухо уловило в ее фразе едва заметные критические интонации по адресу кибуца в целом. По его мнению, это следствие духовного отступления пожилых людей, уставших от многолетней необходимости терпеть разного рода неудобства. О, долгая совместная жизнь в коллективе... Как она до тонкости изучила его настроения, немую реакцию, тайные опасения!.. Если бы и он был так чуток к ее душевной жизни, то, возможно, попытался бы утаить от нее это оскорбительное движение ресниц, выражающих обидную насмешку над ее маленькими женскими слабостями.

— Устал? — спросила она за чаем?

— Гм... Сегодня выдался тяжелый день. Поездка. Дела...

Он потягивался, как бы освобождаясь от утомительных воспоминаний, пил чай и рассказывал ей

о своих служебных делах. Она взяла шерсть и продолжала вязать.

Геня знала, что он рассказывает ей о своих делах не потому, что хочет узнать ее мнение о том, что его сейчас занимает, а для того, чтобы доставить ей удовольствие и как-то приобщить ее к важным государственным делам, где он себя чувствовал как рыба в воде, выдвинутый кибуцианским движением на высокий государственный пост. И все же она не испытывала удовлетворения. Она чувствовала, что он обходит важные общественные проблемы и рассказывает ей о делах, которые считает второстепенными и несущественными. Ради нее, казалось, он низводит принципиальные разногласия до уровня мелкого спора, незначительного личного конфликта.

— А-а, этот тип... Я всегда чувствовал, что толку от него не будет. Мелкий человечек, он готов расстроить любой хороший план, если сам к нему непричастен. И мне кажется, что наш министр, — сказал он насмешливо, сразу освобождаясь от напряжения, вызванного необходимостью быть в подчинении у политического противника, — большой сторонник системы заколдованного круга дураков. Окружил себя ничтожными людьми, которые ему преданы, так как без него ничего не стоят. Любой дельный совет разбивается об эту непроницаемую стену. А ты должен сотрудничать с ними и работать до изнеможения. А эти поездки, а заседания, а головная боль... О, какая боль... А эти заверения... Ну, скажи, зачем я так, во имя чего?... Иногда я спрашиваю самого себя...

Пауза в его высказываниях как бы приглашала ее включиться в беседу, но она молчала. Геня опасалась, что он никогда не поймет и даже очень обидится, если она выскажет то, что у нее на сердце:

”Мил человек, зачем ты это мне рассказываешь? Кого это интересует? Ты думаешь, что таким путем ты скроишь платье по моим размерам? А о жизнен-

ных вопросах страны ты умалчиваешь, считая, что они недоступны моему пониманию”.

— А что с планом, который ты представил экономической комиссии?

— А, это... Дискутируют о деталях.

Он перевернул стакан и продолжал:

— Есть там один человек — Альдоми. О, это серьезный парень. Изворотливый, ловкий. Можно предсказать: его ждет большое будущее. Он не из тех, которые... Альдоми дело знает! Да, да... ”Я поведу тебя к Самому”, — сказал мне Альдоми. И он это сделает! Он умеет воплощать в жизнь удачные идеи. Ты помнишь Альдоми? Он был здесь год назад.

Она хорошо помнила: впечатляющий мужчина с вежливыми манерами. Одним пронзительным взглядом он ее измерил, оценил, взвесил и вынес приговор. Будучи крайне вежливым и благовоспитанным, он великодушно разрешил ей рассуждать о материях, в которых она, по его мнению, ничего не смыслила, и время от времени изрекал: ”Любопытно, да, любопытно. Можно и так рассуждать. Что касается меня, то я...”

Его жена сидела рядом, воплощение пассивного, застывшего внимания, как человек, знающий свое место — ”всяк сверчок знай свой шесток”. Время от времени она пыталась вовлечь Геню в беседу — сначала по вопросу о воспитании детей, затем — о меблировке квартир и в заключение — о декоративных растениях, и ее поведение могло служить наглядным примером взглядов ее мужа Альдоми на важность мнения жен высокопоставленных деятелей. Ее слова были столь не похожи на неопределенные реплики Альдоми: ”Любопытно, да, любопытно...” Весь вечер она ненавидела его всем сердцем и испытывала чувство благодарности к его жене. Она чувствовала, что сердце Альдоми полно искреннего сострадания к другу, который не получил в личной жизни того, что заслужил по рангу. И не только Альдоми ее раздражал — еще больше огорчал ее Шаул,

который лез из кожи вон, чтобы завоевать симпатию своего друга, и явно опасался, что она испортит всю обедню и сведет на нет его усилия углубить и расширить дружбу с такой выдающейся личностью.

Она с удовольствием так бы и сделала, уязвленная тем, как Шаул тушует и заискивает перед этим человеком. Она не выносила такой дружбы, скоропелой и невыстраданной. Геня видела в этой дружбе союз избранных, жаждущих подняться над массой, людей, которым не приходится заниматься малымя, будничными делами, подобно ей и ее друзьям, строящим большую и настоящую дружбу в повседневной жизни, вопреки всем невзгодам, трениям, недоразумениям и необходимости идти на уступки.

— Полагаю, что после встречи с хозяином, министр будет вынужден принять его предложение. И тогда возникнет необходимость посоветоваться с известным специалистом в Европе. Возможно, что придется съездить к нему и убедить его посетить нашу страну.

Она, не подымая глаз, продолжала вязать. Как мы далеки друг от друга, — думала она. — И не потому, что я здесь, а он — там, но из-за его безграничного преклонения перед такими людьми, как Альдоми. А это, по сути, означает полное согласие с условиями того общества, от понятий и представлений которого мы пытались избавиться еще тридцать лет назад. У него — достойная и содержательная жизнь. К нему все исполнены уважения, я же погружена в дела незначительные и маловажные... Мы отклонились от принципов. Мы всегда утверждали, что нет у нас, в нашем коллективе, работ более значительных и менее важных, что наша взаимная ответственность выходит за рамки материальной жизни, органически включая в себя взаимное уважение. Человек не может и не должен возноситься над другими из-за своей профессии или выполняемой им работы, так как все дела людские гармонично дополняют друг друга, и сила коллектива создает личность. Но сейчас мы уже не можем игнорировать

тот факт, что профессия накладывает свой отпечаток на человека. И необходимость проводить многие годы, скажем, на кухне может превратить жизнь в кошмар, если общество перестает заботиться об уважительном отношении к простому труженику, о создании моральных ценностей и соответствующей атмосферы. За это надо бороться со всей страстью, даже если у таких людей, как Альдоми, такие понятия вызывают лишь ироническую улыбку.

— А что дома? Я спрашиваю, что нового дома?

— А-а, дома... Работа... Дела... Что еще? Все, как обычно.

И она подумала о тех обидах и огорчениях, которые причиняют ей всякие мелочи. Сами по себе они до того ничтожны, что не стоит ему рассказывать — плач той психованной, потрясший ее, неприятный разговор о мебелировке, невзгоды и злоключения Сасона, недомогания ее тела, неожиданный визит Довеле, светлая и чистая радость творчества, когда подрумянились оладьи, которые она жарила на сковороде...

— Ты, кажется, неважно себя чувствуешь, — сказал он, глядя на нее испытующе.

— Да нет, у меня все в порядке.

— У тебя были сегодня неприятности, ты нервничала?

— Каждый день что-нибудь бывает...

— Я давно собирался тебе сказать об этом. В последнее время ты раздражаешься из-за всяких житейских пустяков.

Ей показалось, что она давно ждала этих обидных слов, вызывающих лишь досаду. У нее задрожали губы. Он все высказал прямо и откровенно, и она ему скажет откровенно: "Мой милый, дело не в житейских пустяках, а в обесцененной жизни..."

Понятно, она ему этого не скажет. Потому что это неверно. Да и зачем его зря огорчать? Это не изменит его пренебрежительного отношения к тем,

кто внизу. Его позиция, рожденная высокомерием, прочна и непоколебима.

— Постараюсь поумнеть, — ответила она, тщетно стараясь совладать со своим волнением.

Он озабоченно взглянул на нее. Она пыталась улыбнуться.

— У меня сегодня боли, — пояснила она.

— А-а, — сказал он с пониманием, поигрывая глиняным кувшинчиком, стоявшим на этажерке.

— Осторожно, не разбей!

Он оглядел его.

— Новый?

— Да. Увидела его в магазине и сразу почувствовала, что должна его купить, если не хочу о нем думать всю дорогу. Красивый, правда? И очень дешевый.

— Сколько?

— Пять сорок.

— Так дорого?

— Совсем не дорого за такой кувшинчик.

— Но ведь пять лир и сорок агорот!*

Она поняла, что он хотел сказать. Если взять в расчет только отпускные деньги, которые кибуцник получает ежегодно, станет очевидным, что такие покупки им не по карману. Видимо, ее расчеты базируются на том, что он может сэкономить некоторые суммы из тех статей бюджета его учреждения, которые предназначены для текущих расходов. Его лицо выражало решительный протест: он педантично честен, даже если речь идет о мелочах. Он терзает своих служащих за каждый казенный грош, а она, видимо, думает, что их жалкий семейный бюджет можно будет чудесным образом отрегулировать, если он позволит себе немного отойти от своих строгих принципов. Но если он в сутолоке рабочего дня не успевает пообедать, то считает, что сэкономил не для себя, а для своего учреждения.

Она не была бы так жестоко обижена, если бы

* Рассказ написан в шестидесятые годы, когда это была довольно крупная сумма.

не гневное выражение протеста в его глазах. Они как бы говорили: "А ты из-за этой безделушки хочешь навязать мне другой стиль жизни, который мне органически чужд!"

"Мой бедный муженек, — подумала она. — И все-му этому я виной... Решительные и высокоидейные мужчины задумали свершить переворот всей жизни еврейского народа. И вот явились женщины в домашних туфлях, с шерстяными носками и хрупкими вазами и кувшинчиками..."

Сама того не замечая, она кусала губы. Он это заметил.

— Что с тобой?

— Ничего. Это пройдет.

— Чем я могу тебе помочь?

— Ничего не нужно.

Он, только он может помочь ей. Но может ли она требовать от него такой пронизательности? О, если бы он знал, что у нее на сердце, он бы понял, что его долг — вернуться домой, а не просто наблюдать печальный закат жизни, некогда столь полноценной. Вернуться домой, но не для того, чтобы разделить с ней ее одиночество и слушать ее вздохи бессонными ночами, а для того, чтобы разделить с ней ее судьбу. Чтобы помочь ей утверждать достоинство скромной жизни ветеранов кибуца. Некоторые до последнего дня останутся пионерами — первооткрывателями. "Придать старости величие богатой содержательной жизни, красивой духом, любящей молодежь, расцветающую у нее на глазах...". Так выразился его ровесник, который никогда в жизни не расставался с земледелием. Она вспомнила тот разговор в комнате. В полудреме она слышала:

"Может быть, это бессмысленно — требовать вернуться к истокам, — говорил их друг. — Но вправе ли мы подчиниться ригоризму упрощенной логики? Разве на заре движения не казалось бессмысленным требование, чтобы интеллигентные юноши и девушки мостили дороги и работали простыми землепашцами?"

Но мы тогда говорили: если эти не пойдут — и другие не пойдут. Так что есть порой логика и в иных делах, на первый взгляд бессмысленных. Многое у нас устарело, но старики халуцы* — это нечто новое, дружище — он хлопнул Шаула по плечу. — И если мы это не попробуем на своей шкуре, кто это сделает вместо нас? Да, если это испытание выпадет на долю одиночек, главным образом женщин, то старость обрушится на нас, как поражение, как разгром, и низведет наши седины в печали и огорчениях в мир мелочных удовольствий, унижения и никчемных взаимных обид...”

Верно, его жизнь там, в большом городе, отданная делам значительным, защищена от этих бед, свободна от попыток будущего наложить свой отпечаток на стиль его жизни. Он ревниво оберегает свой стиль, позволяющий ему устоять против мелких искушений, вроде завышенного счета расходов, педантично регистрируемых в его записной книжке. Но, право, смешно, что из-за этого человек держится столь высокого мнения о себе и позволяет себе высокомерно обвинять ее (хотя и негласно) в отклонении от кибуцянских принципов. Из-за какой-то вазочки для цветов, которую она купила за пять сорок. Сомнительно, хватило ли бы у него сил — без страшных душевных терзаний и быстрого физического увядания — примириться со скромной судьбой простого человека, который уже не в состоянии наложить свой отпечаток на полную напряженной жизни кибуца.

Пустые рассуждения. Она никогда не предложит ему вернуться домой. Не настолько этот человек силен, чтобы забросить свои способности и дарования и вторично, на пороге старости, избрать тихую жизнь рядового человека. А если так, то чего она, собственно говоря, добивается? Чтобы он отрешился от высокомерия и научился уважать возвышенную способность чувствовать себя счастливым, делая

* Пионеры, первооткрыватели.

малые, повседневные дела, из которых состоит жизнь простых людей? Может быть, если бы не презрение к ее скромным запросам (со временем он научился это скрывать — своего рода негласный компромисс в их отношениях), она была бы способна получать больше удовлетворения от тех маленьких удовольствий, которые выпадают на долю женщины ее возраста. Правда, он никогда не оскорблял ее откровенными высказываниями, но кто, как она, знает, что у него на сердце! Возможно, она требует того, что он не в состоянии дать ей. Как можно ждать от него внимания к ее маленьким горестям и радостям, если она никогда не делилась с ним своими мнениями и чувствами, даже в самых сокровенных беседах? Неужели она до того была подвластна его представлениям, что не считала возможным вознести их на алтарь их любви? Да, это так, и сейчас, когда она может взять всю вину на себя, видимо, между ними воцарится мир, даже в святилище ее мыслей, куда ему нет доступа.

...Не выпрашивают понимания, как не выпрашивают любви. Этого не исправить, пока сам не поймет. Он будет по-прежнему жить своей полнокровной жизнью вдали от нее, в наивном убеждении, что кое-что какими-то путями перепадает и ей. Он полагает, что лучи его яркой личности освещают и ее жизнь. Право, трогательны его попытки частично приобщить ее к своим делам байками и сплетнями из мира больших свершений. А она будет и далее жить в своем ограниченном мирке. Во всяком случае, она не должна уступать того, что имеет, унижаясь перед зазнайством, милостиво воздающим ей молчанием... Лучше полной мерой черпать радости и огорчения собственной жизни, ибо на них зиждется и его мир. И если он обижает ее своим высокомерием, то это ее личное горе, ибо она не вольна в своей любви к нему до сих пор.

— Опять не в духе? — спросил он дружелюбно и с пониманием.

На нее глядели умные и проницательные глаза под широким лбом.

— А-а... ничего особенного, — ответила она, пожав плечами.

”Как мало он понимает”, — подумала Геня. Она знала: сейчас он будет мягок и безгранично вежлив, чтобы не огорчать ее. Он усвоил особый дружеский стиль для тех случаев, когда она была ”не в настроении”, и никогда не спрашивал о причинах, как и подобает умному и воспитанному человеку, который умеет быстро принаравливаться к обстоятельствам и неожиданно возникающим непредвиденным трудностям.

Она хотела сказать, что никогда не была подвержена ”настроениям”. Все эти перемены чувств — результат размышлений о смысле ее жизни, плоды напряженной душевной работы, которой она ни с кем не делится и которая никогда не получала внешнего выражения. Эти переживания лежат тяжким грузом на ее сердце, и время от времени она должна разгружать его на разных станциях своего существования. Она знала, что жизнь ее становится богаче от тех слов, которые она хотела сказать ему, но не сказала. В них — основа ее бытия.

На веранде неожиданно зажегся свет. Шаул взглянул сквозь стекло.

— Кажется, Сасон. Пойду скажу ему, что ты не совсем хорошо себя чувствуешь.

— Я? С чего ты взял?

— Я думал, что сейчас... когда ты так... Тебе будет не до него.

— Пустяки!

Мальчик смущенно стоял у входа.

— Что случилось, Сасон? — спросила она.

— Никого нет. Там темно. У старших ребят какая-то встреча, до десяти.

— Боишься? — спросил Шаул назидательно.

— Он не боится, — сказала она, протестуя. — Просто скучно в лагере одному, правда?

— Да, — подтвердил он.

— И ты пришел побыть с нами, пока ребята вернутся? Очень мило с твоей стороны. Заходи. Садись. Будешь пить чай? Можешь включить радио. Ну, я тебе включу. Чего ты смущаешься? Нравится мелодия?

Это была монотонная, громкая арабская мелодия.

— Очень! — ответил Сасон.

Она чувствовала на себе недоуменные взгляды Шаула, но не глядела в его сторону. Он, конечно, думает, что такие крайние перемены в ее поведении, вроде этого неожиданного взрыва любви к Сасону, — результат дурного настроения, которое гложет ее душу.

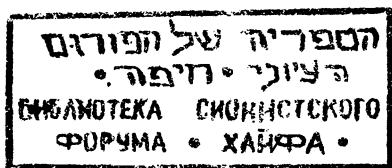
Да, ее высокомерный и убежденный в своей мудрости муж никогда не поймет, что этот мальчик — важное звено, связывающее ее с Шаулом, что воспитание его — одно из самых значительных ее дел. Он полагал, что у нее не хватит сейчас терпения, что мальчик нарушит добрый покой, царящий ныне в их обители. И как это умный человек может быть столь глуп!

И недосыпание — только ее печаль, потому что все ее, от нее и в ней. И нельзя требовать от людей, чтобы они были умнее любви.

Он взял свою газету, она — свое вязание, а мальчик взобрался на кровать и подогнул ноги, покачивая головой в такт арабской мелодии, заполнившей своим шумом всю комнату.

”Вот день, который начался плохо, а кончится хорошо”, — подумала она, внутренне улыбаясь. Причиной улыбки были озабоченность и недоумение, которые она прочла на лице, прикрытом газетой.

Перевел с иврита А. Белов.



עיריית תל אביב
מערכת תרבות תל אביב
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספרייה
מס. מלאי.....

СОДЕРЖАНИЕ

Н. ШАХАМ. Предисловие

АЛИЗА АМИР. Конец... Конец... (Перевел с иврита А. Белов.)	7
ЦВИ АРАД. Маковый холм (Перевел с иврита А. Белов.)	34
ХАНОХ БАРТОВ. Наш товарищ Лахадам возвра- щается с войны (Перевел с иврита И. Быховский.)	63
ЗРУБАВЕЛ ГИЛЕАД. По дороге на холм (Перевела с иврита Ц. Цефани.)	82
АДАМ ЗЕРТАЛЬ. Встреча (Перевел с иврита А. Белов.)	101
С. ИЗХАР. Эфраим возвращается на люцерну (Перевели с иврита И. Быховский, А. Элинсон.)	123
ЦВИ ЛУЗ. Шломит (Перевел с иврита А. Белов.)	147
АХАРОН МЕГЕД. Мушаев и сын (Перевел с иврита А. Белов.)	175
АМОС ОЗ. Элиша Померанц (Перевел с иврита А. Белов.)	195
ЙОНАТ И АЛЕКСАНДР СЕНЕД. Удел (Перевели с иврита И. Быховский и Ц. Цефани.)	216
МОШЕ ШАМИР. Пока не забрезжит рассвет... (Перевел с иврита А. Белов.)	239
НАТАН ШАХАМ. Новый глиняный кувшин (Перевел с иврита А. Белов.)	267

לכבוד הנהלת „ספריית עליה”
תל-אביב, ת.ד. 21650
טל. 256-182

1. Стоимость одной книги серии
“БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ” – 25 изр. лир.

2. Стоимость 12 книг – 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 12 из опубликованных книг.

(Указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных книг.

(Указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 108 изр. лир.

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1 – 2. Леон Юрис. ЭКСОДУС

3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ

4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ

5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ

6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА

7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ

8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ. (Процесс Эйхмана.)

9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии

11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО

12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ

13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ

14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я

16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД МОЙ

17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА

18. Стихи советского еврея. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ

19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ

20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ

22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ

23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК

24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 – 1967)

25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов

26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН

28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1

29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА П

30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ

31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ

32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА

33. КНИГА БРАТЬЕВ

34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА

36. И. Башевис-Зингер. РАБ

37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ

38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ

39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ

40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ

41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Джон Орбах. **РИКША.** Избранные рассказы. Пер. с иврита.

Автор рассказов родился в Варшаве в 1922 году. Ему было семнадцать лет, когда немцы оккупировали Польшу. Его приняли за поляка и вывезли в Германию на принудительные работы. Он становится грузчиком в порту. После освобождения продолжает работать в Европе на судоверфях. С 1948 года живет в Израиле. Приобретенный жизненный опыт и встречи с людьми являются темой его рассказов.

Иосеф Гедалия Клаузнер. **КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ.** Избранные статьи. Пер. с иврита.

Проф. И.Г.Клаузнер (1874–1958) – выдающийся филолог, историк и публицист, сыграл огромную роль в возрождении еврейской культуры на иврите и был одним из духовных лидеров сионистского движения. Сборник исторических статей посвящен разным периодам борьбы за национальное возрождение еврейского народа.

Андрэ Шварц-Барт. **ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ.** Роман. Пер. с французского.

Автор (р. 1928) – французский писатель-еврей. "Последний из праведников" – его первое произведение. Это трагический мартиролог европейского еврейства, начиная с событий 12 века в Йорке и кончая Освенцимом. События разворачиваются на фоне старинной еврейской легенды о тридцати шести праведниках. Роман получил Гонкуровскую премию в 1959 г. Автор его, Андрэ Шварц-Барт, был в 1966 г. удостоен премии Иерусалима.